

«Книга, которая окрыляет»

Радиостанция «Best FM»

# ЕЛЕНА ВЕРНЕР

● САМОЕ ЯРКОЕ ОТКРЫТИЕ 2015 ГОДА ●

Верни мои  
Крылья!

## Annotation

Не зря Римма Корсакова играет роль Елены Троянской – она так же прекрасна и царственна, весь спектакль держится на ней. Но накануне премьеры с Риммой происходит что-то странное: ее преследует призрак пионерки, погибшей в здании театра в 1937 году. То среди вещей Риммы появляется галстук цвета крови, то в гримерной раздаются звуки «Пионерской зорьки»... Даже страстный роман с Кириллом, недавно пришедшим в театр, вот-вот закончится – страх затмевает все! Скромная девушка Ника, безответно влюбленная в Кирилла, пытается помочь сгорающей в огне безумия красавице. Но только зачем ей это надо?

---

- [Елена Вернер](#)
  - 
  - 
  - [Явление первое](#)
  - [Явление второе](#)
  - [Явление третье](#)
  - [Явление четвертое](#)
  - [Явление пятое](#)
  - [Явление шестое](#)
  - [Явление седьмое](#)
  - [Явление восьмое](#)
  - [Явление девятое](#)
  - [Явление десятое](#)
  - [Явление одиннадцатое](#)
  - [Явление двенадцатое](#)
  - [Явление тринадцатое](#)
  - [Явление четырнадцатое](#)
  - [Явление пятнадцатое](#)
  - [Эпилог](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)

- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)



# Елена Вернер

## Верни мои крылья!

© Вернер Е., 2015

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

\* \* \*

*Прежде чем вступить на дорогу мести, вырой две могилы.*

*Конфуций*

*Есть два рода сострадания. Одно – малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья; это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание – истинное, которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их.*

*Стефан Цвейг*

## Явление первое

### Первый звонок

Она всегда уходила последней. Ей нравилась пустота всеми покинутого огромного здания, в тишине которого уже доживали свой краткий бесплотный век человеческие эмоции, всхлипы, смех и гром аплодисментов. Нравилось, как пустеют вешалки в гардеробе, а место шуб и пальто занимают ровные, аккуратные и безликие металлические кружки номерков с острыми краями, как на полку под низкой стойкой возвращаются бинокли, как позвякивает пустое ведро уборщицы тети Веры в темных коридорах.

Ника заперла каморку билетной кассы и вышла в фойе. Шаги заглушал ворс красного ковра. Светильники по стенам и возле фотографий под стеклами погасли, оставшиеся горели только у дверей, и по углам холла клубились тени. Тетя Вера, уже одетая по-уличному, повязывала вокруг головы старенький шерстяной платок, сосредоточенно поджав подбородок.

– Тебя подождать? – спросила она у Ники.

– Нет... – прошелестела девушка едва слышно, как разговаривала всегда, и покачала головой, не зная, какой предлог выдумать, чтобы тетя Вера ушла. – Я тут еще...

– Ладно, тогда я пойду.

За уборщицей хлопнула тяжелая резная дверь, и Ника почувствовала на своем лице резкий порыв выстуженного ветра. Она еще раз обвела глазами фойе, словно ощущая присутствие кого-то незримого. Это чувство всегда одолевало здание по вечерам, словно частички душ тех, кто недавно ушел через эти двери и разъехался во все стороны большого города, все еще витали здесь, объединенные общим переживанием. Ника знала, что к утру это ощущение ослабнет и выветрится, превратившись из воспоминания в ожидание – нового переживания. Завтра, когда она вернется, все будет совсем по-другому.

Девушка заперла двери и вышла на мороз. Ей нравилось ходить одной, точнее, она к этому привыкла. Так было спокойнее и безопаснее. Она специально старалась задержаться подольше, чтобы никто не увязался за ней к метро или не предложил подвезти. Справедливости ради такие провожатые подворачивались крайне редко. Она вообще не была уверена,

что большая часть тех, кого она видит ежедневно, знает ее имя. Это и к лучшему. Быть незаметной стало не просто ее привычкой, это стало самой ее сутью.

Хотя так было не всегда.

Дома она не стала разогревать ужин: плита накалялась долго, а микроволновку Ника недолюбливала, ей казалось, что от пищи из микроволновки как-то неприятно пахнет. Так что она сжевала холодные макароны, запив их горячим чаем, наскоро умылась и забралась в кровать, стараясь не дрожать под тонким одеялом.

Тогда-то и раздался телефонный звонок, которому суждено было все изменить.

Сначала Ника бросила беспокойный взгляд на допотопные, сухо щелкающие ходики. Начало первого – значит, у родителей уже три часа ночи. Вряд ли это они. Девушка замерла, ожидая, что телефонная трель оборвется, но на том конце провода был кто-то очень настойчивый. Или что-то случилось. Ника прижала трубку к уху и спросила несмело:

– Алло?

– Здравствуйте. А можно позвать к телефону Максима? – попросил густой глубокий баритон.

– Вы не туда попали, – с облегчением выдохнула Ника и повесила трубку. Постояла с полминуты, держа в руках старенький, еще дисковый аппарат, потом вернула его на хлипкую тумбочку и шагнула в комнату, но телефон зазвонил опять.

– Алло.

– Это вы... – тот же голос, но с грустной ноткой. – Извините.

– Здесь нет никакого Максима, – без раздражения, даже с сочувствием отозвалась Ника. – Наверное, вы набираете неправильный номер. Проверьте хорошенько.

Она уже собиралась дать «отбой», но услышала вздох и снова поднесла трубку к уху.

– К сожалению, номер правильный.

– Как так? – не сообразила она. – Это ведь мой номер.

– Видимо, теперь он ваш. Видимо, вы снимаете квартиру, которую раньше снимал мой друг Максим.

– Да, наверное. Но... – она замялась. – Я живу здесь уже три года. Вы так давно не созванивались с вашим другом?

Мужчина на том конце провода усмехнулся, и Ника неожиданно для самой себя почувствовала, как от этого мягкого смешка мурашки побежали у нее по спине.

– Всякое в жизни бывает, правда?

– Правда, – согласилась она. – Что ж. Жаль, что не могу вам помочь. Всего доброго.

– Подождите! Подождите, не вешайте трубку.

– У меня был долгий день...

– У меня тоже, – сообщил голос. – Долгий, тяжелый, невыносимый день. Хорошо, что он заканчивается вот так, разговором с вами. Ваш голос меня успокаивает.

«А меня – ваш», – чуть не лягнула Ника. Разговаривать с незнакомцем по телефону было совершенно не в ее характере. Она ненавидела общаться с незнакомыми людьми, даже когда ей самой приходилось звонить им по каким-нибудь официальным вопросам, по работе. Но чтобы так, посреди ночи, переминаясь с ноги на ногу в холодном коридорчике, – безумие чистой воды. И все-таки она медлила и не опускала трубку на рычаг. Этот голос, такой богатый и глубокий, с обертонами и нюансами, будто поставленный педагогом по сценической речи или пению. Уж в этом-то она разбирается, не зря же три года работает в театре. Этот голос чем-то подкупал. Его хотелось слушать. И она слушала.

– Знаете, иногда так бывает... Просто нужно с кем-то поговорить, по-человечески. Без спешки, без каких-то скрытых мотивов и выгод. Просто поговорить и услышать человеческую реакцию, – признался голос. Он, как гибкий весенний вьюнок с бледно-розовыми воронками соцветий, оплетал ее изнутри.

– У вас что-то случилось?

– И да и нет. Жизнь, с ней постоянно такая история – она «случается». Просто порой это довольно утомительно. Правда, недавно я все-таки взял себя в руки. Стал действовать, а не просто плыть по течению, хотя жизнь и упирается, ей такое не по вкусу, кажется, она слишком уж строптивая барышня. Но... я почти вплотную приблизился к тому, чтобы осуществить свою давнюю мечту.

– Это же хорошо... – неуверенно уточнила Ника.

– Это великолепно. Потребуется много усилий, но когда я достигну всего, что задумал, это будет... не знаю... Я наконец освобожусь от всего, что мне мешало. Я буду свободен, после всего! А вы... Простите, не знаю вашего имени...

– Я... Вика, – в последнюю секунду здравомыслие взяло верх, и Ника соврала.

– Вика. Хорошо. У вас есть мечта, Вика?

– Конечно, есть, – засмеялась Ника, все больше удивляясь себе.

Она давно не смеялась, вот так, не своим мыслям, а живому собеседнику. – У всех есть мечты.

– Вы удивитесь, но далеко не у всех. Вика. Виктория, победа. Красивое имя. Знаете, я недавно был в Греции, в Афинах. Там в Акрополе есть храм Ники Аптерос, то есть бескрылой Победы. Слышали про такой?

– Да, – едва слышно пробормотала Ника, чувствуя, что мурашки снова забегали вдоль позвоночника. «Что это, совпадение?» – даже испугалась на секунду она.

– Волшебное место... Афиняне построили его для богини победы, но ее статую сделали бескрылой, чтобы она никогда не покидала город.

– Довольно жестоко обрезать крылья той, которая привыкла летать, – пробормотала Ника, не сознавая, что говорит не совсем о греческой богине.

– Да, мне эта мысль тоже приходила в голову... Я шел туда каждый день на закате. Знаете, этот храм по сравнению с другими маленький, игрушечный. Стройные колонны, и сам он на таком высоком месте, да еще на подпорной стенке. Кажется, будто парит в воздухе. Без крыльев, но все равно парит, представляете? А на закате его стены окрашиваются в розовый. Внизу уже темно, и постамент тоже в тени, а мраморные стены так и светятся...

– Наверное, красиво...

– Не то слово. Я ходил туда один. В одиночестве мне как-то спокойнее. Не надо ждать ни от кого подвоха. Вам это кажется странным?

– Вообще-то нет, – снова засмеялась Ника. – Я и сама такая.

– Тогда вы меня понимаете. Хорошо, когда кто-нибудь кого-нибудь понимает. Хотя бы в чем-то. Иногда мне кажется, что даже пытаться нет смысла. Как театр теней. Мы не видим истинных лиц, мы видим только отбрасываемые на белое полотно экрана тени. И как тогда один человек может понять другого...

– А разве не весь мир таков? Помните платоновский миф о пещере? Мы ничего не видим, и не знаем, и судим по искаженным образам, смутным принципам и зыбким понятиям, тени и отблески которых можем заметить на стенах пещеры, в которой сидим. Кто знает, насколько близки они к правде? Все мы в плену своих теней и... представлений о них.

– И это нормально? – уточнил собеседник.

– Так есть. А дальше мы упрямся в обсуждение того, что есть «норма»... – отозвалась Ника. В трубке улыбнулось мягкое молчание, и девушка на мгновение прикрыла глаза.

– Простите, – зашуршало в динамике. – Вы устали, а я не даю вам спать своей болтовней.

- Вы хотели поговорить. Вот мы и разговариваем.
- Все верно. Спасибо вам, – голос стал серьезным. – Мне стало легче.

Уже.

- Хорошо, если так... – улыбнулась Ника.
- Тогда, наверное, надо пожелать вам спокойной ночи и отключиться?

Но так не хочется. Вика...

– Да? – с трудом отозвалась она на чужое имя и едва не вздумала исправить его. Но не осмелилась.

– Вы не против, если я еще когда-нибудь вам позвоню? Просто так, поговорить. Не бойтесь, я не какой-нибудь псих или маньяк.

Ника зажмурилась. Она знала, какой ответ вообще-то правильный. Но ответила иначе:

- Нет, не против.
- Спасибо. Вы удивительная, есть в вас что-то космическое...

Спокойной вам ночи.

- И вам.

После разговора Ника долго ворочалась в постели и все прокручивала в голове слова – его, свои. Вроде бы ничего особенного. К тому же здравый смысл и тщательно взращенная опасливость твердили, что не стоит разговаривать с незнакомцами. Но ее душе было спокойно и мягко, как в пуховой перине.

У теплотрассы, пролегающей рядом с домами, грелись голуби, целая воркующая стая, и, когда она проходила мимо, птицы взлетели. Наверное, так происходило сотню дней до этого утра, но только сегодня Ника впервые за долгое время заметила их. Заметила, как громко они ворковали и как оглушительно захлопали десятки крыльев. Стая поднялась в воздух и, сделав круг над двором, осела на крыше детского сада. Сегодня утром отчего-то Ника замечала все, даже скрип собственных шагов по снегу, такой свежий и хрусткий звук, и белесый цвет вытравленных морозом и реагентом тротуаров. Обычно ее наблюдательность, рожденная из настороженности, касалась только театра и всего, что происходит в его стенах, а остальной жизни за порогом будто и не существовало. Впрочем, ее и правда не существовало вот уже несколько лет, с тех пор как девушка переехала в Москву с болезненным желанием затеряться и раствориться, навсегда потеряв даже память о прежней Нике Ирбитовой и о том, что с нею произошло. На столичных улицах никому ни до кого не было дела, а в театре Ника оборачивалась серой мышкой, снующей по переходам и коридорам, все примечающей, но остающейся при этом почти

невидимкой.

Театру «На бульваре» недавно исполнилось одиннадцать лет, и большую часть этого времени дела его шли неважно. Когда-то его художественному руководителю и идейному вдохновителю Ларисе Липатовой стоило немислимых нервов выбить у мэрии здание Дворца пионеров. Пионеров там к тому моменту уже давно не водилось, только два раза в неделю собирался кружок фламенко, иногда залом пользовались близлежащие школы, но без крепкого хозяина дворец стремительно переставал соответствовать своему торжественному статусу. Однако Липатова была слеплена из крутого теста, тем более когда дело касалось мечты. А собственный театр был ее мечтой. Так Дворец пионеров на Луначарского превратился в театр «На бульваре» под руководством Ларисы Липатовой-Стародумовой. Ко второй части фамилии, доставшейся ей от мужа, одного из ведущих актеров труппы, она относилась требовательно и ревностно – как и к самому супругу. Нику до сих пор передергивало, когда она вспоминала, как два года назад пришлось переделывать доставленные из типографии афиши: Лариса Юрьевна узрела на них за словами «режиссер-постановщик» только свое родное «Липатова». Сказать, что худрук была в ярости, – значит не сказать ничего. Хорошо еще, она не знала, что в болтовне между собой подопечные также не утруждают себя составными языковыми конструкциями.

Теперь труппа насчитывала тридцать артистов плюс саму Липатову, администратора Реброва, двух осветителей, костюмершу с помощницей, бутафора-реквизитора, билетершу и уборщицу. Муниципальных денег ни на что не хватало, выручка с продажи билетов едва покрывала зарплаты, так что рабочих сцены для монтажа декораций нанимали по случаю, а гримера не нанимали вовсе: с гримом актеры справлялись сами. И еще, конечно, была Ника – чаще всего кассир, но во время спектаклей и гардеробщица, а еще иногда вторая билетерша, хотя первая и главная, Марья Васильевна, требовала, чтобы вместо билетерш их называли, как полагается по-театральному, капельдинерами.

В тихом районе почти на окраине театрик особенно любили, он был сродни домашнему. По понедельникам и четвергам здесь по-прежнему занимался кружок фламенко, а ребята из соседней гимназии два раза в год давали тут школьный спектакль. Несмотря на хорошие отзывы невзыскательных зрителей, критики сюда не заглядывали, и близость и блеск именитых столичных театров довершали дело: театр едва сводил концы с концами. Но Липатова не теряла надежды и даже уверенности, что однажды театр «На бульваре» поразит всех своей новой постановкой.

Или она сама вырастит в этих стенах звезду. Словом, что-то обязательно произойдет – эту мысль она без устали втемяшивала в голову всем обитателям бывшего дворца. И у Ники, например, сомнений не возникало: рано или поздно так будет. Потому что она видела весь репертуар и всех актеров и точно знала: то, что они делают на сцене, определенно заслуживает внимания. И даже гордилась втайне, что причастна к этому. В своем роде причастна.

Она успела привыкнуть к обитателям театра, даже полюбить их издалека, со всеми особенностями, научилась не слишком обращать внимание на то, что простому человеку кажется странностью или чудачеством. Смирилась с их пугающим обыкновением выдавать реплики из спектаклей, на разные голоса, с разными интонациями и совершенно не к месту. А ведь когда-то это напоминало ей почти шизофрению. Парни-актеры могли обсуждать новинку кино и вдруг вызвать друг друга на дуэль, схватить бутафорские шпаги и приняться фехтовать что есть сил, до изнеможения, до хохота. Они могли петь, кричать, вещать загробным голосом или пиццать по-мышьиному противно, декламировать, завывать, пробуя возможности собственных голосов. Ника давно перестала удивляться, что актеры и актрисы порой переодеваются друг при друге без стеснения, хотя приличия ради гримерки и поделены на женские и мужские, или расхаживают с маской из крема «Нивея» на лице. Когда-то Никина мать уверяла ее с негодованием, что все актеры – пьяницы, и, хоть сама Ника не торопилась развешивать оскорбительные ярлыки, теперь она признавала: театралы действительно не прочь выпить. Только сейчас в этом не было ничего удивительного. Труппа не напивалась до чертиков, она просто снимала напряжение от спектакля единственным доступным способом, и в глубине души Ника соглашалась, что это – почти необходимость, неременное условие, чтобы нервная система вернулась в нормальное человеческое состояние. Тяжело предполагать, не испытыв на собственной шкуре, каково это – пережить смерть близкого или самому умереть на сцене, чтобы уже через час трястись в автобусе по темным улицам, набирать код домофона, вынимать из почтового ящика счета за электричество и ворох бесполезных листовок. Актеры делали это ежевечерне и чаще всего не сходили с ума, так что Ника восхищалась ими – и немножко сочувствовала. Потому что отчетливо видела, что в каждом из них существуют двое, обычный человек и некто иной, словно и не человек вовсе, а инопланетянин. Или дух, овладевающий ненадолго знакомым телом. А это было и благословением, и бременем.

Как Ника и ожидала, следующим утром в театре «На бульваре» почти

не вспоминали о вчерашнем спектакле. Сквозь высокие арки окон в фойе проникал дремотный свет, желтовато-молочный, зимний, свет солнца сквозь морозную дымку, и в нем плясали пылинки, беспокойно взвиваясь от портьер и ковров, поднимаясь от батарей с потоками горячего пересушенного воздуха, от которого першит в горле. За все утро только два человека зашли за билетами, остальное время Ника просидела, рассеянно глядя сквозь окошко кассы на входную дверь и часть коридора. «Стало быть, я еще и вахтер?» – вдруг пришло ей в голову. Обычно в такие минуты она с головой ныряла в какую-нибудь книгу, но сегодня читать не хотелось совершенно: Ника неторопливо, словно разматывая моток бечевы, вспоминала ночной разговор, и эти мысли как-то по-особому ее грели.

К полудню стали собираться на репетицию. Первым на пороге возник Даня Трифонов, как всегда экипированный в джинсы, кожаную куртку и приподнятое настроение. Заглянул в полукруглое, как мышинная норка у плинтуса, окошко кассы:

– Наша Ника снова о чем-то размышляет... Плохая привычка, от нее на лбу морщины!

Ника смущенно улыбнулась. Даня, машинально огладив затылок, рыжий, коротко стриженный и оттого мохнатый, словно спинка у шмеля, подмигнул ей и скрылся в коридоре.

Через несколько мгновений дверь распахнул Борис Стародумов и, пропустив вперед супругу, зашел следом. Липатова прошагала быстро, но без спешки, веско и основательно, и, мимоходом взглянув в большое зеркало, поправила рукой тщательно уложенные каре темно-каштановых волос. Ника не знала точного возраста Липатовой, слышала только, что та старше своего мужа на несколько лет, а Стародумов недавно с помпой отпраздновал пятидесятилетие. Красота Липатовой стремительно увядала и вместе с тем будто сгущалась. Возможно, все дело было в темном оттенке ее губной помады и теней для век. В носогубных складках, прорезавшихся со всей очевидностью, таилась горечь. Впрочем, Лариса Юрьевна держалась молодцом, фонтанируя энергией и сотрясая на репетициях стены зрительного зала громким голосом и явно собираясь в будущем «биться в кровь о железную старость». Липатова производила впечатление человека, уверенного, что знает все о происходящем на вверенной ему территории, но это было не так: ее тяжкая поступь (как у княжны Марьи Болконской – раз за разом сравнивала книгоочейка Ника) предупреждала всех о приближении худрука заранее. Невозможно точно сказать, что такого необычного было в липатовской походке: она не грохотала, не топала, не стучала каблуками, но ее увесистый шаг не столько слышался, сколько

чувствовался.

Борис Стародумов имел траурные глаза героя трагедии, седеющие виски, черное кашемировое пальто и синий шарф, обмотанный вокруг шеи и одним краем небрежно переброшенный через плечо. Эдакий монмартрский шик. И хотя сегодня Стародумов был все так же хорош собой и импозантен, как и всегда, привыкший к статусу если не звезды местного масштаба, то хотя бы мужа режиссера, Ника успела уловить напряжение и обреченность, с которой он взглянул на супругу. Кажется, в раю назревали крупные неприятности, и Ника даже предполагала, что могло послужить причиной.

Она вообще много чего предполагала, о многом догадывалась – и многое знала наверняка. Потому что умела замечать детали и делать выводы. Она знала, например, что если Даня Трифонов особенно приветлив и левый уголок его рта ползет вверх – жди беды, он снова с минуты на минуту выдаст что-нибудь на грани фола. Как, например, на той неделе, когда во время спектакля, где ему досталась роль официанта без слов, он взял да и подал на сцену блюдечко с лимоном, аккуратно так, колечками нарезанным, кислейшим лимоном. И Мила Кифаренко с Валерой Зуевым, игравшие в это время душераздирающую сцену любовного расставания, чуть не захлебнулись слюной. И после этого чуть не убили за кулисами Даню... Трифонову минуло тридцать шесть лет, и он до сих пор жил с мамой. Ни одна из многочисленных дам сердца, сперва покоренная легким нравом и обаянием этого мужчины, не выдерживала его своеобразного чувства юмора больше месяца.

Тем временем мимо кассы, кивнув Нике, скользнула Леля Сафина, актриса крепкая и самая серьезная из всех здешних. Нике она нравилась. Никогда не закатывая глаза и не припадая томно к плечу партнера, Сафина умудрялась отыскать в любой роли тот мотив, ту ниточку, которая вытягивала ее на совершенно иной уровень. Леля была невероятно работоспособна и собрана, когда дело касалось театра, на репетиции являлась вовремя и всерьез верила, что незначительных и второстепенных ролей не бывает. Взять хоть ее Кошку Бабы-Яги на детском новогоднем спектакле. Баба-Яга явно халтурила, но Кошка-то была просто загляденье, ироничная и в высшей степени мудрая.

У повседневной, несценической Лели была прямая спина и строгая, почти солдатская выправка. Возможно, поэтому ее высокая грудь, и так немаленькая, выдавалась вперед, словно балкончик на здании эпохи барокко. Лицо, в обычной жизни довольно блеклое и непримечательное, ради роли становилось и пугающим, и испуганным, и отвратительным,

и ослепительным – словом, любим, потому что Леля в отличие от большинства женщин и уж тем более актрис не боялась показаться некрасивой: к своей внешности она относилась как к инструменту. А еще Сафина обладала своим циничным, резковатым и довольно мрачным взглядом на мир, который, возможно, и делал ее хорошей актрисой. Сегодня, заметила Ника, Леля явно не выпалась, потому что явилась на репетицию сильно накрашенной, хотя обычно обходилась минимумом косметики. Впрочем, непривычная мягкость в Лелиной походке заставила Нику предположить кое-что о прошедшей ночи, и девушка улыбнулась своим догадкам. А что до Липатовой... Она с мужем «в контрах» явно после его душевной беседы с одной из зрительниц. Стародумов любил своих поклонниц – поэтому Лариса Юрьевна их не переносила.

Но все это Ника держала при себе. Хотя, даже пожелай она с кем-то поделиться своими соображениями, собеседника бы ей найти не удалось, слишком много усилий приложила она в свое время, чтобы оставаться в тени.

Опоздав к началу репетиции, в театр шумно ввалились Мила и Паша Кифаренко и Римма Корсакова, смеясь и шикая друг на друга. Они на разные голоса кинули Нике свои «привет» и тут же утратили к ней интерес. Римма, с яблочным румянцем, живо блестящими глазами и в облаке распущенных волос, замешкалась у порога, расстегивая дымчатую шубку и постукивая каблукками сапог, чтобы стряхнуть с них налипший снег. Когда она торопливо прошмыгнула в коридор, Ника почувствовала, как через окошко в каморку запоздало вползает сладкий аромат болгарской розы, Риммин запах.

Римма была любимицей – Липатовой и всей мужской половины человечества. От матери-цыганки Корсаковой достались чудесные черносмородиновые глаза, запястья, будто все еще помнящие звон тонких браслетов, охватывавших руки ее прародительниц, и характер – страстный и вздорный. Природа одарила ее сверх всякой меры, расщедрившись и на внешность, и на талант, назвать Римму красивой пустышкой могли только завистницы. Их можно было понять, мало кто способен выдержать появление соперницы, в присутствии которой всех мужчин начинает лихорадить. Особенно магнетически действовала черная родинка над уголком пухлых губ, соблазнительная и даже порочная, отсылающая Корсакову напрямик в компанию Мэрилин Монро и Синди Кроуфорд. По всей видимости, Римма обладала тем, что называют сексапильностью, и хотя, на взгляд Ники, ей не были свойственны ни вульгарность, ни распущенность (пара романов с партнерами по спектаклям не в счет),

именно Корсакова стала однажды героиней надписи на кабинке в женском туалете, краткой и емкой. Увидев это похабное, обидное и довольно спорное утверждение, Ника даже не стала звать уборщицу, а моментально вооружилась тряпкой и «Пемолюксом» и стерла его, надеясь, что остальные еще не успели прочесть.

Сегодня репетировали «Чайку». Спектакль шел уже пару лет, и Липатова хотела обновить кое-какие мизансцены и рисунки ролей. Во время репетиций Ника обычно редко заглядывала в зал, потому что уйти оттуда удавалось с большим трудом, а собственные ее обязанности при этом никто не отменял. Но в обеденный перерыв из соседней типографии доставили отпечатанные программки, и она, тайком вдыхая острый запах свежей краски и бумаги, понесла их Ларисе Юрьевне на утверждение, зная, что может задержаться там на несколько минут.

– Перестань играть наивную дурочку! – зычный прокуренный голос Липатовой прокатывался по залу и уносился в коридор. Она стояла у ступенек, над ней на авансцене возвышалась Римма и в задумчивом молчании кусала губы. Римма, конечно, играла Нину Заречную.

Горстка людей на сцене и в первом ряду не могла наполнить зрительный зал, рассчитанный на три сотни человек, и при потушенном свете он казался зияюще пустым, выстуженным и замершим в ожидании.

– Ты милая и невинная – это правда. Но при этом видишь, как Треплев ходит за тобой хвостом, и это, – Липатова широко жестикулировала, подбирая нужное слово, – тебя заводит. А там еще Тригорин, и ты хочешь попробовать свои зубки и коготки, понимаешь? Поиграть с ним. А чтобы выиграть, мозгов у тебя не хватит. Ферштейн? Давайте с начала сцены. Так, один момент!

Она пробежала глазами подсунутую Никой программку, кивнула и махнула рукой – мол, хорошо, не мешай. Ника примостилась на крайнее кресло в третьем ряду, осторожно положив брошюры на колени, и слилась с интерьером.

За несколько кресел от нее устроились Валера Зуев, игравший Тригорина, и Мила Кифаренко. Ее брат выглядывал из-за кулисы, ожидая своего выхода.

– И как все прошло-то? – прошептала Мила Зуеву.

– Как всегда на пробах, – повел плечами тот. – Дали роль, я прочитал ее на камеру. Дважды.

– Тебе ведь обещали позвонить? Много было народу? – продолжала любопытствовать Мила. Непосредственная, шустрая и маленькая,

она казалась женщиной без возраста, ей всегда перепадали роли подростков и детей, хотя в театре «На бульваре» она была старожилом, устроившись сюда сразу после училища.

– Позвонят, куда денутся, – с нарочитой небрежностью отозвался Зуев. – Они ведь меня сами пригласили.

Валера был весь гладкий, он ласково смотрел, ласково улыбался и даже двигался тоже ласково. И против своей воли Ника в его присутствии напрягалась, натягивалась. Ей не верилось, что внутри Зуев такой же ровный, каким кажется снаружи.

– До сих пор не могу понять, откуда они о тебе узнали... – Мила немного ревниво вздохнула.

– Эй, народ, мы вам не мешаем? – довольно свирепо обернулась на болтунов Липатова. Мила и Валера отшатнулись друг от друга и приняли позы прилежных учеников.

– Валера делится секретами успешного кастинга. Так сказать, обмен опытом, – вполголоса съязвил Даня Трифонов. Липатова дернулась и остановила репетицию.

– Что за кастинг? – она смерила Зуева долгим взглядом, не предвещавшим ничего хорошего. Валера промолчал, но поднял на нее глаза с улыбкой и даже вызовом.

– На сериал, – ответила Мила вместо него, и Зуев слегка поморщился, как от укуса насекомого. Лариса Юрьевна подошла к креслам и, упершись кулаками в спинку одного из них, нависла над Валерой:

– И почему я узнаю об этом последней? Валера?

Зуев, не желая, видимо, смотреть на худрука снизу вверх, поднялся. Ростом он был выше Липатовой.

– А пока нечего рассказывать.

– То есть ты втихушку бегаешь по кастингам и пробуешься на это дерьмо? А я должна пребывать в сладком неведении, пока в один прекрасный день ты не заявишь мне, что с завтрашнего дня у тебя съемки, а театр пусть катится ко всем чертям. Поставишь перед фактом? Так, что ли? Ты поправь меня, если я что-то путаю! – Липатова взбесилась. – Что, Валера, славы захотелось или денег? Или того и другого? Нет, я все понимаю, но пока ты тут служишь, будь добр, веди себя как мужчина, а не как...

– Я курить, – равнодушно бросил Зуев и с ленцой направился по проходу прочь. Липатова сверлила глазами его прямую спину, остальные замерли в неловком молчании. Когда актер дошел до последнего ряда, Липатова окликнула его:

– Валера! – но Зуев не обернулся. Липатова резко выдохнула. К ней приблизился Стародумов и, желая утихомирить жену, тронул за плечо:

– Ларис...

– Оставь, – процедила она, дернув рукой и что-то торопливо соображая. А затем, велев всем оставаться на своих местах, быстро покинула зал вслед за Зуевым.

Ника, пользуясь всеобщим замешательством и не принимая распоряжение Липатовой на свой счет, незаметно выскользнула в коридор через боковую дверь. Ей пора было возвращаться на рабочее место, что она и сделала, не боясь ненароком нарваться на Липатову или Зуева: тот наверняка отправился перевести дух на пожарную лестницу, чердачную площадку которой театралы использовали в качестве курилки, оставляя жестяную банку-пепельницу прямо под красно-белой табличкой с изображением перечеркнутой сигареты.

Однако она ошиблась. Пока Ника складывала стопки программ в шкаф в своей камере, входная уличная дверь хлопнула и голоса раздались совсем близко. Девушка знала, что через прозрачное стекло кассового окошка ее не видно, ведь шкаф стоит в углу, и уже хотела возвестить о своем присутствии, но не успела.

– Валерка... – пробормотала Липатова через силу. Она уже очевидно раскаивалась, что взорвалась прилюдно, но о том, чтобы признавать свою неправоту вслух, не могло быть и речи.

– Ты меня перед всеми отчитала, как мальчонку, а теперь хочешь сделать вид... – отозвался Зуев сердитым шепотом.

– Нет, я не хочу делать вид, я хочу, чтобы...

Ника отклонилась в сторону, выглянув из-за угла, и заметила, как Лариса Юрьевна нежно оглаживает пальцами щеку Валеры и смотрит на него с мольбой. Зуев вздохнул:

– Пойдем, надо возвращаться. Зря ты за мной так рванула, теперь на всех углах будут трепаться. О нас.

Он на мгновение привлек Липатову к себе, а потом отпустил, и они ушли. Ника медленно опустилась на свое место, стремясь не производить шума. Она давно догадывалась, что между худруком и Валерой что-то происходит, но, откровенно говоря, она и не такого успела насмотреться в своей жизни. И ее это совершенно не касалось.

День пошел своим чередом, и, если ссора на репетиции и стала потом предметом обсуждений в курилке и гримборных, Ника ничего об этом не узнала.

Вернувшись домой ранним вечером – спектакля сегодня не было, – она

чувствовала небывалый прилив сил и нервическое оживание без видимой причины. Ни следа усталости. Ника навела порядок в квартире, в кои-то веки приготовила хороший ужин и даже пересадила кактус в другой горшок – непонятно зачем. Принимая душ, она распечатала флакон пахучего геля, который простоял на краю ванны с прошлого Восьмого марта.

После этого Ника села читать книгу, уютно примостившись в кресле. Она уговаривала себя, что ей не хочется спать, что книга ее увлекает и она может просидеть вот так до утра. Однако сквозь каждый ее предлог просвечивала правда: ей хотелось услышать голос. Она ждала телефонного звонка.

Но он так и не раздался. Глаза закрывались, и с каждым разом разлеплять сомкнутые веки, будто смазанные тяжелым медом, становилось все сложнее. Наконец Ника перебралась в кровать и, разочарованная до слез, уснула.

## Явление второе

### Реплики в ночь

Назавтра она была чрезвычайно зла на саму себя. Что это на нее нашло, ждать звонка от незнакомого человека, который однажды ошибся номером и с которым она несколько минут поболтала ни о чем! Отличное занятие она себе придумала, не иначе как от безделья. И затворничества, конечно. И ведь даже лучше, что он не позвонил, потому что еще неизвестно, кто он и куда бы все могло пойти. Сколько раз можно убеждаться в том, что самое безопасное состояние для нее, Ники Ирбитовой, – забиться в дальний угол и «не отвечать»...

Все это Ника выговаривала себе, пока брела от метро через дворы, мимо бегущих в школу детей, до носа замотанных шарфами, и продолжила выговаривать в перерывах между продажей билетов, сидя на своем рабочем месте.

Во второй половине дня театр стал наливать нетерпением: вечером давали спектакль и вся здешняя хлопотливая жизнь подчинялась этому простому, неминуемому факту, как душный летний день на своем излете подчиняется грозовому фронту. Раньше, когда-то давно, в прошлой жизни, Ника предполагала, что актеры привыкают к спектаклям как к повседневности своего бытия и с течением времени начинают воспринимать их проще и спокойнее. Это ведь не соревнование, не конкурс, а рутинная – для них – жизнь.

Она ошибалась и теперь знала об этом. Приметы волнения, расставленные как вешки то тут, то там, она замечала у каждого, кроме, пожалуй, Лели Сафиной, девушки со стальными нервами. Ника догадывалась, что и Сафина нервничает, просто ее самообладания и выдержки хватало, чтобы не подавать виду, и именно это качество люди почему-то решили называть «железной выдержкой». Остальные переживали каждый на свой лад. Даня Трифонов то и дело появлялся в коридоре и наигрывал на губной гармошке, с которой был неразлучен, мотив старонемецкой песенки про милого Августина, пока на него не гаркнул кто-то из коллег. Даня не обиделся, и спустя пару минут Ника снова услышала в пока еще пустынном фойе, подальше от гримерок, эту мелодию, одновременно и веселую, и заунывную.

В одном из рабочих коридоров за кулисами, позади фанерных

декораций к «Ромео и Джульетте» Ника наткнулась на Лизавету Александровну Рокотскую. Та, уже в гриме и костюме, с удобством устроилась в герцогском кресле с позолоченными подлокотниками и бархатной, кое-где вытертой обивкой и невозмутимо вывязывала крючком что-то кружевное.

– А, это ты, Ника, – подняла голову актриса. Девушка робко кивнула. – А я тут с мыслями собираюсь. В гримуборной девчата суетятся...

В этом была вся Рокотская: ни упрека, ни недовольства, просто констатация факта. Ника догадывалась, что в гримерке царит переполох, которого эта пожилая актриса не выносит, но никогда не слышала от нее ни слова жалобы, потому что больше суеты и неразберихи та не переносила нытье и еще сплетни. Несмотря на внушительный возраст, никому и в голову не пришло бы назвать ее старухой. Рокотская была дамой, актрисой старой закалки, в которой дворянская, в прежние времена тщательно скрываемая кровь смешивалась с воспитанием Малого театра, где Лизавета Александровна прослужила тридцать лет. «Наследие» – вот какое слово приходило Нике на ум, когда она встречалась с Рокотской. И поскольку той в отличие от многих других была присуща деликатность и тактичность, Ника чувствовала себя рядом с ней спокойно.

Но умиротворение тут же рассеялось, когда девушка заглянула в гримерку предупредить, что Липатова, возможно, не успеет к началу спектакля. Последние несколько дней худрук решала вопросы с муниципальным финансированием и часто пропадала в разных учреждениях и инстанциях. О чем именно хлопочет Лариса Юрьевна, никто особо не интересовался.

Теперь Нике хватило одного взгляда, чтобы понять обстановку. Леля Сафина гримировалась, глядя на свое отражение глазами серыми по цвету и стальными по сути. Мила Кифаренко, вечно морящая себя голодом, задумчиво грызла морковку, уставившись куда-то в пустоту, а Римма тоже грызла, но ногти, и была на взводе, как это с ней случалось довольно часто перед спектаклем. Ее психику Даня Трифонов не уставал называть «очень нервной системой»: успокаивалась Корсакова, только выходя на сцену. Тогда для нее включалось неведомое автономное жизнеобеспечение в параллельной реальности.

– А Ребров-то хоть будет? – Сафина мельком повернулась к Нике. Ее правый глаз был полностью накрашен, а левый еще даже не тронут гримом, и в лице ее от этого мелькнуло что-то страшное, двойственное и почти потустороннее. Вопрос Сафиной касался помощника Липатовой, который оставался за главного в отсутствие начальницы, а большую часть

времени следовал за ней неприметной и невыразительной тенью.

– Да, через полчаса.

Время все ускорялось, набирало темп, и вот за окнами уже стемнело, стали собираться зрители, фойе наполнилось гомоном, шарканьем ног, пиликаньем телефонов, дверь поминутно распахивалась, впуская в театр холод и людей, целую толпу незнакомцев. Ника из кассира превратилась в гардеробщицу. Эту часть своей работы она не любила. Как улитка, вынутая из раковины, она чувствовала себя раздетой и уязвимой, и ей все хотелось съежиться. Но вместо этого она принимала охапки шуб, пальто, пуховиков, курток, ощущая пальцами ледяную влагу – на уличной одежде еще таял снег, из белой крупы становясь сверкающими капельками. И протягивала номерок за номерком.

– Бинокль возьмете?.. Нет, у нас со всех мест хорошо видно, но если хотите... Простите, что, программки? Программки на входе в зал, у билетера. Пожалуйста... – отзывалась она заученными формулами и заученной улыбкой.

И вдруг сообразила, что сегодня звонки к спектаклю, наверное, будет давать она, раз уж Липатовой нет, а ее помощник бегаёт как ужаленный, быстро и без особого толку. Такое везение выпадало ей крайне редко, и Ника тут же повеселела. Она обожала это. Перед тем как опустить палец на кнопку, она непременно вспоминала, как в детстве, оставаясь на попечение бабушки, работавшей в областном музее Победы, после его закрытия упрашивала бабушку позволить ей ударить в большой корабельный колокол. Одному только богу известно, что делал в уральском городке музей Победы, а в музее – колокол, но девочку это не заботило. Главными в ту секунду становились ее переживания собственной гордости и исключительности, и ее замирающее с гулким ударом колокола сердечко.

В две минуты восьмого Ника удостоверилась, что все готово, и дала третий звонок. В зале померк свет, и вместе с ним понемногу улеглись шевеление и возня. Капельдинер Марья Васильевна, простоявшая на входе целый час, шепнула, что присядет передохнуть в гардеробе, и поковыляла на варикозных ногах в коридор, оставив Нику вместо себя.

Ей нравилось знать то, чего не знают другие. Стоя в проходе позади последнего ряда, она чувствовала свою причастность к этому таинственному миру, где все условно и не то, чем кажется. Она ведь единственная знает по именам всех актеров, знает, в каком они сегодня были настроении, когда должна вступить музыка, в какой реплике Паша переставил местами слова и в каком именно ящике старого буфета на сцене ждут своего часа спички, которыми в следующем явлении чиркнет Римма,

зажигая лампадку. Об этих спичках, об этих крохотных мелочах и деталях знают только те, кто в «закулисье», и она.

Зал дышал, как большое неведомое животное, единый сложный организм: шевелились программки, шмыгали носы, тускло мерцала бижутерия – сюда почти не приходили в настоящих драгоценностях, все больше в джинсах и свитерах. То тут, то там покашливали. Но полторы сотни пар глаз были обращены к сцене, где в переливах и вспышках рампы началась и уже длилась чужая жизнь, правдоподобная до мурашек, как сон, для всех один, внутри которого не возникает и мысли усомниться в реальности происходящего. А то, что снаружи, за пределами сна, к этому моменту и вовсе перестает существовать. И хотя краем сознания Ника еще цеплялась за беспокойство и сопереживание актерам, а не героям, она уже сознавала, что Корсакова взяла себя в руки и переборола нервическую дрожь, – и что все вдруг сложилось, каждая шестеренка закрутилась как надо, и пьеса стала играть сама себя.

– Это не зависит ни от самочувствия, ни от драматургии, только от электричества! – однажды пустилась в рассуждения Рокотская, когда Ника в приливе небывалой откровенности поделилась с ней своими мыслями. – Как двоичная система: единица и ноль, есть ток и нет тока. Иногда просто что-то «не фурычит», нет электричества, и никакая искусственная электрификация уже не поможет. Хоть убейся – нет искры! А главное, сам это чувствуешь и партнеры твои чувствуют, а сделать никто ничего не может. И все катится по заданному руслу, и так становится мучительно, и тягостно, и стыдно, неловко, и хочется поскорее закончить все это. А иногда что-то такое вдруг возникает... И даже лампочка, примотанная к воткнутой в землю палке, будет сиять – как у Теслы!<sup>[1]</sup>

Рокотская щелкнула сухими пальцами, и лицо ее стало вдохновенным, как будто она даже в эту минуту переживала схожие эмоции:

– И всех охватывает раж. Все дается с лету, с ходу. Невыносимое наслаждение. А еще бывает, кто-то на кураже, а кто-то нет. Обычно зал это чувствует моментально! И тогда один актер делает весь спектакль. Всякое бывает, одним словом...

Сегодня Римма Корсакова была как раз в ударе. Она порхала по сцене, завораживая ломкими движениями и яростной болью в глазах. В этом не было и следа от недавней боязни сцены, да и от нее самой осталось немного. Угодившая в плен выдуманной истории настолько, что, казалось, она даже не догадывается, что за ее страданиями и мечтами наблюдает кто-то, кроме тех, с кем на сцене она кричит, смеется и плачет.

Никун охватил такой трепет, что она даже не сразу осознала, когда

рядом с ней появилась Липатова. Следя за игрой своей любимицы, Лариса Юрьевна словно помолодела.

– Вот за это я ей все и прощаю... – пробормотала она себе под нос. И покосилась на Нику: – А, видишь, какова?

– Вижу, – согласилась Ника.

В антракте к кассе образовалась очередь – зрители хотели еще. И Ника могла их понять. Правда, она также могла бы признаться, что подобный успех рождается отнюдь не каждый вечер, да и вообще редко, если уж говорить по правде. Но кому нужна правда, когда речь идет о магии...

Расходились долго. Последний зритель уже давно напялил мохнатую шапку и пропал в ночной вьюге, а актеры все не торопились. Потом вывалились сразу скопом, взбудораженной развеселой компанией, пахнувшей хорошим вином, дрянным коньяком, духами, гримом, тальком, табачным дымом и косметическим молочком. Ника скромно и восторженно улыбалась им из-за своей конторки, но ее никто не замечал. А ей так хотелось подойти к Римме и... Но у Корсаковой сегодня хватало обожателей и без нее.

Вернувшись домой, Ника с удивлением обнаружила, что до сих пор мурлычет под нос легкомысленный знакомый мотив. «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин, ах, мой милый Августин...» – дальше слов она не знала, так что начинала сначала. Вот ведь, оказался более живучим, чем все музыкальное оформление только что сыгранного спектакля. Даня Трифонов, будь он неладен! Мелодия въелась в голову и крутилась там, как в механической музыкальной шкатулке. Утомленная ею до предела, как только можно утомиться бесцельным и бесполезным занятием, Ника надела наушники и включила плеер.

Именно поэтому она не сразу услышала трель телефонного звонка. Внутри возникло беспокойство, все нараставшее, пока Ника не догадалась выдернуть из ушей «капельки» наушников. Она тут же бросилась в коридор через всю комнату, запнулась о ножку кресла и охнула от боли. По-собачьи поджав ногу, она проскакала до тумбочки и схватила трубку:

– Алло?

– Здравствуйте, Вика. Это Кирилл.

И хотя в прошлый раз он так и не представился, Ника сразу узнала его по голосу. Растирая ушибленный палец, она выдохнула:

– Здравствуйте.

– Что-то случилось? Вы какая-то не такая.

– Больно. Ногу зашибла только что.

– Вы так бежали к телефону? Могу я надеяться, что вы хотели услышать в трубке именно меня?

Ника засмеялась и не ответила, зная, что это и не требуется. Ей было легко и радостно, и вопрос вырвался сам собой:

– Как прошел день?

– Плодотворно. Иду семимильными шагами к исполнению мечты.

– Той же самой, что была позавчера? – улыбнулась Ника и почувствовала, что Кирилл улыбнулся ей в ответ.

– А как же? Я человек постоянный, мои мечты неизменны.

Ника вслушивалась в течение его слов. Не говоря ничего о делах и работе, ничего из того, чем обычно в первую очередь заполняют беседу малознакомые люди, стремясь побороть неловкость сближения, Кирилл вдруг принялся рассказывать, как утром, стоя в пробке, стал свидетелем ссоры одной влюбленной парочки. Они ехали в соседней машине, пока дорожный поток медленно плелся по коричневой каше, в которую превратился свежеевыпавший ночной снег.

– Наконец, у девчонки окончательно сдали нервы, она выскочила из машины, хлопнула дверью и пошла по обочине. А это не просто дорога, это МКАД, можешь себе представить?

– За рулем-то был парень? – уточнила Ника.

– Да, он. Только разницы никакой, потому что он тоже выскочил и помчался за ней. Машину бросил, хотя что с ней сделается, в пробке-то. Сначала они что-то кричали друг другу, прямо рядом с КамАЗом... А потом принялись целоваться. Честное слово, мне кажется, вся пробка за этим наблюдала. Я едва подавил желание посигналить или открыть окно и свистнуть. От полноты чувств.

– Как в кино...

– Кажется, кто-то все-таки не утерпел. А эти двое стояли и целовались. А потом КамАЗ тронулся, и их заволокло вонючим черным дымом из его выхлопной трубы.

– Совсем не как в кино.

– Это уж точно, – согласился со смехом Кирилл. – Зато как в жизни. И если в жизни все так, это даже лучше.

Они не заметили, когда с официального «вы» перескочили на близкое «ты», это произошло совершенно естественно. Ника с удивлением обнаружила, что стоит уже не в коридоре, а в кухне и от телефонного аппарата в ее руках змеился длинный провод. Она и заметила это только потому, что хотела подойти ближе к окну: шнур натянулся и не пустил ее дальше.

– А мне нравится смотреть, когда люди целуются, – призналась вдруг она.

– Ты сказала это так, будто я против.

– Ты, наверное, не против. Не против же?

– Нет.

– А многих раздражает. Я же вижу лица людей, когда они проходят мимо таких вот парочек. Особенно в метро, на платформах или на эскалаторе. Они целуются, и весь мир исчезает.

– Именно поэтому остальные бубнят недовольно. Им не хочется исчезать, никому не хочется быть незаметным и несущественным.

– Мне хочется, – обронила Ника прежде, чем сообразила, что произносит это вслух.

– Не верю, – убежденно заявил Кирилл. Девушка вздохнула и предпочла не объяснять.

– Такой снегопад за окном, снова, – пробормотала она. – Все укутывает. Крупные медленные хлопья. У тебя он тоже идет?

Она не хотела спрашивать, где сейчас Кирилл. Не хотела его точного адреса – это сделало бы все происходящее слишком реальным, а реальности она побаивалась.

– В такие мгновения кажется, что он идет повсюду, – отозвался Кирилл. – У немцев есть сказка про фрау Холле, госпожу Метелицу... Когда она взбивает свои перины, пух и перья летят, и тогда на всей земле идет снег. А еще фрау Холле они называют смерть. И это правильно. В сказках или в легендах, где все вроде бы зыбко и путано, очень многое подмечено совершенно точно. Прямо какие-то неожиданные откровения! Снег как-то раз дал мне понять, что такое тишина, сон и смерть. Оказалось, эти понятия ближе, чем кажется.

– Расскажешь? Или лучше не спрашивать?

– У нас так получается, что рассказываю только я. Ты не из болтливых...

– Привычка.

– Ясно... – Кирилл легонько вздохнул, и Ника совершенно отчетливо представила его, хотя никогда не видела. – Когда идет снег, я всегда вспоминаю один и тот же вечер. Мне было лет восемь или девять. Я топал по улице и ел батон. И знал, что мне надо обязательно доесть его, прежде чем... ну, возвращаться. Так что я сел на какой-то пенек и стал жевать. На батон падал снег, такими же крупными хлопьями, как сейчас. И было очень вкусно, так, что словами не передать. В общем, ел я, ел, запивать было нечем, так что я заедал снегом, горстями, прямо с варежки,

и шерстяные волосинки от нее лезли, помню, в рот. И ни души. Вокруг фонарей воздух оранжевый и круглый. И такая тишина стоит, как будто уши заложило. Все как в вате. Потом я доел батон...

– Целый батон?

– Целый, до последней крошечки... А одет я был как капуста, только нос пощипывало от мороза. И так мне стало хорошо, и спокойно, что я прикрыл глаза и решил посидеть еще немножко. И заснул, конечно. Накатил такой сон, невозможно было противиться, вообще. Как обморок. Короче говоря... если бы меня не нашли, я бы там и окочурился. Это я уж потом узнал, что на морозе легко заснуть навсегда. А тогда что, совсем пацан был, ничего не соображал.

– А твои родители? – нахмурилась Ника. – Они тебя так долго не искали?

– Да нет у меня родителей. Я же детдомовский.

Слыша, что Ника затаила дыхание и надолго замолчала, Кирилл поспешил предостеречь ее:

– Только давай без жалости ко мне. Это все было давно и неправда.

– Нет, я тебя не жалею, – Ника прислушалась к своим мыслям. – Знаю, тебе было тяжело. Наверняка было. Не хочу представлять даже насколько. Но то, что с нами происходит, меняет нас, и мы набираемся опыта, каких-то знаний о людях, о мире... О себе.

И наверное, то, что было в детстве, сделало тебя сильнее. По крайней мере, насколько я могу судить. Сломанным ты не кажешься.

– У меня есть работа, машина и свой угол, если ты об этом, – хмыкнул Кирилл.

– Я не об этом.

– Я знаю.

Теперь он стал звонить каждый вечер. И Ника, обычно так не любившая возвращаться в пустую квартиру и старавшаяся до последнего оттянуть уход из театра, теперь едва могла дождаться момента, когда переступит порог дома. Чем бы она ни занималась в течение дня, на краю ее мыслей всегда вертелось нетерпение – маленький комарик. Это чувство не было оформлено в слова, но от этого оно не становилось менее ощутимым и существенным. Ей хотелось, снова и снова, слышать глубокий голос, с мягкими волнующими полутонами, как в хроматической гамме. То поднимающийся вверх, когда он рассказывал что-то возмущенно или радостно или передразнивал кого-нибудь из знакомых ему и незнакомых ей людей, то спускающийся

до самых тихих и таинственных глубин, когда все ее существо отвечало дрожью на негромкое его бормотание. Голос Кирилла для нее существовал словно отдельно от него самого – да и вот вопрос, насколько действительно существующим был сам Кирилл? Она по-прежнему не знала ни его фамилии, ни возраста или адреса, места работы – всей той ерунды, которой люди неизменно придают значение. Но она знала то, что было действительно важным: какую мелодию он услышал сегодня, что его развеселило, что опечалило, чем занята его голова, что он вспомнил, увидев след башмака, впечатавшийся в свежий, исходящий густым паром асфальт. По крайней мере ей хотелось так думать.

– Я ем мандарин, – сообщал ей Кирилл, словно поддразнивая, и Ника могла поклясться, что чувствует эфирный запах рыжей мякоти.

Она и сама стала примечать и запоминать какие-то несущественные мелочи, осколочками жизни кружащиеся вокруг нее, пылинки бытия. Смутный сон, обрывок колыбельной, которую напевала молодая мама, склонившись над коляской прямо посреди улицы и ничуть не смущающаяся своего пения. Однажды в метро Ника, уцепившись за поручень и при каждом торможении поезда наклоняясь, как лыжник на трассе, на пыльном окне заметила надпись. Чуть подтертая, чуть подкрашенная белым корректором в крепкой руке анонимного умельца, из «МЕСТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ» она превратилась в «ЕСТ ОЛЯ ВАЛИДОЛ». Стараясь удержать рвущийся наружу смех, чтобы сидящие люди не подумали, что она потешается над ними, Ника запомнила надпись и весь день носила ее в себе как подарок, который вечером подарила Кириллу. Он хохотал.

Иногда, в моменты обычной для нее рефлексии, она размышляла над парадоксом их телефонных отношений и раз за разом приходила к выводу, что это единственные отношения, на которые она могла бы пойти в своей ситуации. И по необъяснимой, даже мистической причине именно они ей и подвернулись. Телефонные провода, соединяя, одновременно держали на расстоянии. Может быть, поэтому говорили Ника и Кирилл доверительно и искренно, о самых волнующих переживаниях. И хотя девушка умалчивала о том событии, что так сильно изменило, прервало ее прошлую жизнь, во всем остальном она была настолько откровенна, что не верилось даже ей самой. Было в этом что-то от «синдрома попутчика», ведь они могли прекратить общение в любой момент, лишь опустив трубку на рычаг. Всего одно движение – и жизнь обеих осталась бы совершенно не тронутой.

Ника не задумывалась, что обманывает сама себя. Исчезни вдруг

Кирилл – и она почувствовала бы себя глубоко несчастной, даже брошенной, потому что близость, установившаяся внезапно между ними, с каждым новым вечером обростала смешными мелочами, шутками и оговорками, понятными только им двоим, и всем тем, что непременно возникает между двумя людьми, когда они общаются довольно тесно. Уже через неделю после его второго звонка она купила радиотелефон, чтобы во время бесед беспрепятственно бродить, шлепая босиком по линолеуму, по квартире, – даже не сознавая, что этим поступком со всей очевидностью обозначает присутствие Кирилла в своей затворнической жизни.

Даже говоря о погоде, он был не похож на других людей. В оттепель он подробно описывал ей причудливого снеговика, слепленного детворой под окнами: нахальный кот в старой белесой шляпе и с соломенными усами из распотрошенного веника. Когда подморозило, он считал в черном небе самолеты, заходящие на посадку в ближайший аэропорт, и путал их бортовые огни с ледяным мерцанием редких московских звезд.

Бывало, они болтали о кино или книгах. Во втором вопросе они были подкованы оба, а в первом только Кирилл.

– Откуда ты столько знаешь про кино? – удивлялась Ника. – Кажется, что ты целыми днями смотришь фильмы...

– Да нет, просто люблю. Это как анестезия. Жизнь ведь сильно отличается. Она не кино и не театр. Все совсем иначе, слишком реально. Ты когда-нибудь держала в руке пистолет?

– Нет.

– В кино им так лихо размахивают и метко стреляют даже те, кто по сюжету впервые взял его в руку. А на самом деле это восемьсот граммов. Пакет молока в вытянутой руке, а от выстрела еще и отдача. Или когда получаешь в глаз – ощущение совсем не киношные. Да что далеко ходить! Вот в кино показывают какой-нибудь побег из тюрьмы или ограбление банка... кажется, обыденность. А на самом деле – какие эмоции человек испытывает, идя, например, на экзамен, а? Страх. Который вообще-то не идет ни в какое сравнение с тем страхом, что испытывает грабитель банка... В таких ситуациях мозговой центр вообще бы должен отключиться, а киногерои еще и шутить умудряются. Уж мне поверь, я знаю о страхе много.

Ника не стала уточнять, что и она знает о нем предостаточно.

– Нет, – продолжал Кирилл, – это все нереально. Ненастоящее.

– Это искусство, – тихо вздохнула она.

– Это только подражание жизни. А есть настоящая жизнь. И их надо

различать. Потому что иначе есть шанс напортачить по-крупному – из любви к якобы искусству. Допустить ошибку, которой нет прощения.

– Ты это о чем? Теряю нить.

– Да так...

Когда Ника спросила его о профессии, он ответил довольно расплывчато:

– То одно, то другое.

– Но ведь ты же что-то заканчивал? Или у тебя нет высшего образования?

– Есть.

Она уже достаточно изучила его, чтобы не настаивать. После нескольких лет почти полной изоляции, отстраненности от людей или по крайней мере от близких контактов с ними она лучше, чем кого бы то ни было до этого, чувствовала Кирилла, его настроения и их легкие перемены, почти неуловимые, как дуновение воздуха из оконной щели. И никогда не настаивала – не чувствовала, что имеет на это права.

Однажды Ника призналась, к слову пришлось, что ее мама никогда не имела для нее особого авторитета. Суевлившую и взбалмошную, часто закатывавшую глупые истерики, болезненно цепляющуюся за уходящую молодость, мать Ника никогда не принимала всерьез в отличие от отца. И тогда Кирилл впервые упомянул – ее.

– Наверное, ты просто не понимаешь, что это такое: мама, – осторожно заметил он.

Осознав, что Ника вопросительно молчит, Кирилл пояснил:

– Я имею в виду мама для таких, как я. Мифическое существо. Как единорог. Такая же сияющая, сказочная... Я никогда не верил, что она отказалась от меня по собственной воле. Всегда казалось, что пришел какой-то бабай с мешком, сунул меня в этот мешок, взвалил на плечо и унес с собой, а она меня ищет все это время. Ведь в сказках таких историй полно! Всякие злобные ведьмы или гномы, ворующие первенцев из колыбелек или подкладывающие туда подменьшей вместо родных человеческих детей. Я думал, что это мой случай.

Ника ощущала, что от сочувствия в горле ее что-то сжимается. Кирилл продолжал:

– А потом я вырос. С какого-то момента мы в детдоме перестали говорить о наших матерях. Раньше рассказывали друг другу небылицы по ночам. Кого только не было среди наших выдуманных пап и мам! И суперагенты в стиле Брюса Уиллиса и Сары Коннор, и инопланетяне, и даже Алла Пугачева... Мы делились мечтами, дрались, если кто-то

не верил или стремился облить грязью очередную легенду. Это по большей части были те, кто своих родителей помнил. Наркоманов, алкашей, зэков, – короче, тех, кого лишили родительских прав, когда дети уже подрастали. Те ребята хлебнули столько всего, что разочарований хватит на десяток жизней. А мы, малые, жили в своих выдумках, так было проще. Не так безнадежно. Обидчиков колотили жестоко, собираясь после отбоя, как стая волчат, и думали, что защищаем своих мам и пап... Чаще, конечно, мам. А потом все кончилось. Как отрезало. Все просто перестали упоминать родителей, в любых контекстах. Это был, наверное, класс пятый-шестой, и наступило осознание, что не явится никакая фея-мама и не заберет отсюда. Это как верить в Деда Мороза – просто в какой-то Новый год понимаешь, что все это фуфло.

Пока Кирилл молча размышлял, Ника хотела было сказать что-нибудь наподобие «мне очень жаль» – просто чтобы дать ему почувствовать свое внимающее присутствие, но вовремя прикусила язык. Эта фраза прозвучала бы совершенно по-идиотски, как, впрочем, и любая другая.

– И знаешь, что? – хмыкнул Кирилл. – Я нашел ее. Добыл номера ее телефонов и даже адрес. И несколько дней чах над этим сокровищем, как трусливый Кощей. Не мог решиться. Все ходил из угла в угол. Живот сводило. Такого не было ни перед одним экзаменом в жизни, ни перед... чем-то и похуже, я обычно умею держать себя в руках. А тут как парализовало! Потом я написал на бумажке, все, что хотел сказать. Как меня зовут, кто я такой... для нее. И позвонил. Я уже все продумал, как именно буду говорить, куда поведу ее при встрече, во что буду одет. Сперва я решил за ней заехать на машине, но потом осознал, что не очень-то удобно знакомиться с собственной матерью в машине. Так что я заказал столик в ресторане. Чтобы можно было сразу сесть и смотреть в глаза. Понимаешь, я уже видел, как все это будет происходить! По кадрам! Предполагал, что она будет плакать, и утирать украдкой слезы, и объяснять мне, почему так вышло. И что будет так на меня глядеть, будто не может насмотреться. Я хотел произвести на нее хорошее впечатление, чтобы ей не было за меня стыдно. И... когда я позвонил... К телефону подошел ее муж, не мой отец, другой мужчина, кто мой отец, я так и не знаю. Я попросил позвать ее. И когда она сказала «Алло», я все ей выложил. Старался говорить помедленнее, я ж не изверг, понимаю, каково такое услышать. «Здрасьте, я ваш сын...» А она все молчала. И когда я закончил, она просто повесила трубку.

– Как?

– Представляешь? – Кирилл засмеялся, и от этого смеха Нике стало

нехорошо. – Я просто... Ясное дело, когда услышал короткие гудки, подумал, что просто рассоединилось, бывает. Я тут же перезвонил, но никто не подошел к телефону. А назавтра такого номера уже не существовало. Она сменила все свои номера. Что ж, я намек понял, не дурак.

– И ты больше ничего не предпринимал? У тебя есть адрес?

– Да, а еще у меня есть я. Знаешь, там, откуда я родом, нельзя принимать как должное, что тебя тычут мордой в плохо пахнущие кучки. А то привыкнешь. И к тому же с ней мне все ясно. Она... Ты знаешь, ведь на свете есть не так уж много действительных, по-настоящему запретных вещей. Реальных «нельзя».

– Десять заповедей? Не убий, не укради...? – предположила Ника.

– Да кради, пожалуйста! Это всего лишь деньги или вещи. Конечно, жизнь тоже можно «украсть», но в заповедях все куда прямолинейнее, без метафор... Не десять этих «нельзя», намного меньше, по моим подсчетам. Нельзя убивать человека. Нельзя предавать того, кого любишь. И нельзя бросать детей – не только родных. Любых.

Ника знала, как будто он признался вслух, что этот разговор означает невыразимо много. Что никому прежде Кирилл не открывался так полно и доверчиво. Было в его словах что-то страшное, нутряное, лежащее на самом дне. Такая откровенность рождается в дымной глубине бессонного кухонного бдения, лишь наедине с самым близким другом, когда давно выпито все, что куплено, на белки глаз налипает красная паутина, а за окном усталое и бессмысленное утро доедает остатки ночи.

Она плохо спала и встала прежде, чем запищал будильник. После разговора с Кириллом, после его рассказа о матери она чувствовала себя избитой, к тому же полночи провела разглядывая меандровый орнамент на обоях и чувствуя, как то и дело слеза выкатывается из уголка глаза и стекает по виску к линии волос. Она переживала за Кирилла, даже не теперешнего, а прошлого. Маленького мальчика, который нашел маму, чтобы убедиться, что не нужен ей. Прочитай Ника подобную историю в газете или книге, она наверняка изобрела бы несколько причин для этой женщины, возможно, не оправдавшие ее, но хотя бы давшие возможность понять. Но Кирилл перевешивал все ее обыденное человеколюбие. Даже не зная имени этой женщины, она готова была ее ненавидеть.

Нике было неведомо ощущение, зарождавшееся в ней этой ночью: с острыми краями и горячее посередине. Все, чего бы ей сейчас хотелось, – это распахнуть огромные, в три раза больше ее самой, крылья, с упругими

перьями в сизых прожилках, с белоснежным пухом, дрожащим от любого дуновения, и, прижав Кирилла поближе, сомкнуть их над ним. Соккрыть ото всего мира... И защитить.

Но для этого они должны были увидеться в настоящем, разве нет?

Уже несколько раз Ника ловила себя на том, что размышляет: насколько велика вероятность ее встречи с Кириллом? Он наверняка когда-то бывал в гостях у своего друга, того, что жил в квартире до нее. Значит, знает адрес, и даже если и не знает, по номеру телефона при желании адрес отыскать несложно. Сама Ника никогда этим не занималась, но в детективах видела подобное сплошь и рядом. Возвращаясь домой, она шагала из лифта на площадку с замирающим сердцем – а вдруг Кирилл ждет ее? Может быть, даже с цветами. Она боялась этого, и надеялась, и не знала, чего хочет больше: увидеть его наяву или так и оставить безопасным ночным собеседником. Но ей почему-то казалось, что после такого вот признания, после такого выворачивания души Кирилла наизнанку они перестали быть просто безопасными собеседниками.

Однако на лестничной клетке ее никто по-прежнему не ждал.

Ни разу за все время их телефонных отношений Ника не допустила в свою вообще-то довольно светлую голову мысли, что ситуация в реальности может быть совершенно не той, что ей рисуется. И что не все так уж гладко: ведь, кажется, не столько Кирилл рассказывал о себе, сколько Ника его себе придумывала. Этого мужчину, с невероятным голосом и склеенной из кусочков жизнью, рисовало ее воображение во время беседы и после того, как трубка ложилась на рычаг – особенно после того. В этом ей помогало забытое, но никуда не девшееся упование на то, что и в ее судьбе все еще может сложиться счастливо, несмотря на тот удар, от которого она так и не оправилась, по крайней мере пока.

Ей вспомнилось, как когда-то (кажется, что давно, а на самом деле едва ли больше недели назад), в самом начале их общения, Кирилл осторожно выведывал о ее личной жизни, точнее, о семейном положении.

– Кто в наши дни интересуется семейным положением? Все равно что спрашивать о возрасте, дурной тон! – поддразнивала она.

Конечно, кокетство. Ника знала это и знала, что Кирилл знает: она слышала его улыбку. Довольно неловкое кокетство – она давно не тренировала эти чисто женские навыки, и они запылились и почти рассыпались в труху на чердаке ее прозябания.

– Хорошо, – невозмутимо продолжал он, – тогда просто поставь галочку – «замужем», «в отношениях», «в активном поиске», «все сложно»...

Ника фыркнула:

– Ты хочешь создать для меня страничку в соцсетях?

– А что, у тебя нет?

– А я отсталая! Не иду в ногу со временем.

Ника не хотела признаваться Кириллу, что социальных сетей избегает из-за проклятого чувства незащищенности. Словно, появишься она там, это будет равносильно стоянию на городской площади в неглиже. И все те, кто остался в прошлой жизни, на Урале, восстанут ото сна, чтобы уязвить ее снова и побольнее.

– Ты не отсталая, ты – таинственная. И не такая, как все.

После того как они пожелали друг другу добрых снов и повесили трубки, Ника долго не могла уснуть. Ее жгла нежность, которую она расслышала за словами Кирилла. «Не такая, как все».

«О, знал бы ты, насколько ты прав», – вздыхала Ника. И как дорого обошлась однажды эта непохожесть.

Город, некогда явившийся логическим продолжением острога на стрелке у слияния двух уральских рек, разросся и теперь был немаленький, сто тысяч жителей, но горожане почему-то все равно знали друг друга. Знакомые подворачивались в магазинах, в скверах, в кино и возле стадиона, а на День Победы весь остров Юность напротив городской набережной, одетой в гранит, превращался в один гигантский студенческий сабантуй, который венчался огненной шапкой непременно праздничного салюта в десять вечера. А уж Нику, кажется, знали в городе вообще все. И во время салюта она оказывалась среди тех, кто салют запускал, среди разношерстной компании молоденьких солдатиков, городских пожарных и тех избранных, кто прорвался за скучный милицейский кордон «по знакомству». Она и сейчас еще помнила вкус пива и пряный, до щекотки в носу, запах пороха, бумажного пепла, сыплющегося с небес, и дурмана майской ночи.

И Митю Ника знала. Виделись пару раз, и хотя она не обратила на него ровно никакого внимания, цепкая зрительная память его ухватила. Он показался ей странноватым. Тихий, спокойный, оба раза в чистой рубашке и пиджаке, хотя ни та ни другая встреча строгого стиля вовсе не требовала. Полноватый и мягкий, даже вялый. Только глаза за стеклышками очков поблескивали колюче, с сумасшедшинкой, и этот блеск никак не вязался с безобидностью остального облика.

А Ника была его полной противоположностью и по внешности, и по социальной иерархии. Не просто заметная, а броская – и популярная,

само собой, хотя она и не придавала этому значения, скорее просто не задумывалась, воспринимая всеобщее внимание как само собой разумеющееся. Если бы в то время кто-нибудь сказал ей, что не всем девушкам так повезло с внешностью и характером, она бы, скорее всего, не поверила и долго бы смеялась как остроумной шутке. С белокурыми (ну и что, что осветленными) волосами, струящимися до пояса, вечно распущенными, неприбранными, – стройная, резвая и в движениях, и в мыслях, она успевала всюду и во всем. Любила читать, проглатывая книги одну за другой, отчаянно скучала, если не видела друзей больше одного дня. А друзей и приятелей у нее было хоть отбавляй: ребята из местного народного театра, институтские кавээнщики, редакция молодежной газеты, даже суровые на вид и романтичные в душе бородачи из клуба туризма и бардовской песни, за которыми она непременно увязывалась в поход каждое лето, чтобы петь у костра и кормить собой мошкарку.

Но больше всего на свете она любила танцевать. Блюз, сальса, венский вальс и фокстрот, бачата или просто «тынц-тынц» в модной дискотеке «Стратосфера» – не имело особой разницы. Просто то и дело возникала свербящая необходимость направить энергию, которой хватило бы на освещение пары городских кварталов, в мирное русло. «Мирный атом» – вот как называл Нику ее партнер по танцам Леша. Прозвище родилось давным-давно, по ассоциации с огромной советской мозаикой на торце Никиного дома, где вставшего на дыбы коня, с глазом в виде резерфордовской модели атома, умирляет человеческая рука.

Бальными танцами в местном Доме культуры Ника занималась с самого детства, и два раза вместе с Лешей они становились даже областными чемпионами, но дальше дело не заходило. Леша был влюблен в нее с песочницы, ею воспринимался как брат и танцевал с ней, просто чтобы не допустить в эти отношения кого-то третьего. Его амбиции лежали исключительно в области информатики и языков программирования. А Нике, чтобы соревноваться, не хватало серьезности, к тому же танцевальное соперничество, с его мелкими дрызгами, завистью и заговорами, ее ни капельки не прельщало. Она просто танцевала, как попрыгунья-стрекоза. Потом, уже учась на искусствоведческом, сама стала преподавать малышам танцы, просто чтобы подзаработать, и почти одновременно с этим неожиданно устроилась на местное музыкальное радио ведущей одной из рубрик по истории популярной музыки. Она откапывала малоизвестные факты из биографий великих джазменов, травила байки, которые наверняка с пеленок знал любой иностранец,

но ни разу не слышал русский. Наподобие той, о Роберте Джонсоне, который на душном и пустынном перекрестке в сердце Миссисипи продал дьяволу свою душу за умение играть самый прекрасный и тоскующий блюз.

Рубрика имела успех. Нику стали узнавать в магазинах и автобусах – по голосу с характерной, хотя и легкой картавинкой.

Как-то раз, пользуясь свободной минутой, Ника заскочила в дом быта на углу Урицкого и Карла Либкнехта, в отдел галантереи, и обзавелась шелковым шейным платком, спустив на него полстипендии. Не прошло и часа, как одна из приятельниц позвонила ей:

– Как тебе платочек?

– Откуда ты знаешь? – удивилась девушка. Приятельница вздохнула:

– Ты ж у нас звезда! Тебя узнала кассирша, сказала знакомой, а та со мной работает...

– И что она сказала? – продолжала недоумевать Ника.

– Ну то и сказала! «Только что заходила Ника Ирбитова и купила у нас шейный платочек...»

Это поразило Нику. Ей и в голову не могло прийти, что постороннего человека может всерьез интересовать такая глупость, как приобретение ею платка. Что же это, значит, когда она покупает молоко, хлеб или тампоны, это тоже становится предметом народного достояния? Мысль тревожила и категорически не нравилась. И хотя пару дней девушка выходила из дома более тщательно собранная, с клейким ощущением чужого взгляда на своем затылке, вскоре впечатление смазлось и заполировалось вертлявой повседневностью.

А потом наступил тот самый день. Ника, распрощавшись с малышней, которая ее обожала и висла на руках до победного, и пришедшими их встречать с танцев родителями, возвращалась домой одна. Все было обыкновенно: осенний день, ранние, стремительно опадающие сумерки, короткий путь от остановки через трепещущую от ветра березовую рощицу и гаражный кооператив. У последних гаражей кто-то напал на нее сзади и оглушил ударом по голове.

Очнулась она в промозглой темноте и одиночестве. Голова нещадно гудела, жажда опалила рот и пищевод, будто внутри прошлись крупнозернистым наждаком. Такими же шершавыми, как ее распухший неповоротливый язык, оказались на ощупь стены из ледяного бетона. Ни лучика, ни единого фотона, кажется, не проникало сюда, и девушка полностью потеряла ощущение пространства. Она не чувствовала на себе каких-нибудь повреждений, кроме последствия удара по голове, даже

одежда оказалась нетронутой, но Ника опасалась, что это явление временное – ведь кто-то ее сюда приволок с определенной целью... Она боялась узнать, с какой именно. И тогда Ника закричала.

Она звала на помощь. Сначала по-разному, меняя порядок слов во фразах, как будто писала диалог в кино или пыталась не наскучить неведомому слушателю, и ее мозг регистрировал это странное явление отчужденно и довольно равнодушно. Потом запас слов иссяк, и она стала кричать бессвязно. «Главное – подавать сигнал непрерывно», – всплыл в памяти совет, которым поделился один из ее знакомых-туристов перед догорающим костром, когда рассказывал о своем трехдневном плутании по тайге. «Подавать сигнал непрерывно» – вот что крутилось в разгоряченной голове, бесконечно, изматывающее, круг за кругом. И она кричала, при этом шаря руками по полу и стенам в поисках. Она искала хоть что-нибудь: предмет, выступ, дверь, щель. Помещение оказалось прямоугольным и совершенно пустым, если не считать пыли на полу. Хотя дверь она все-таки нашла – и не простую, а с окошком в мелкую решетку наподобие тюремного. Окошко было плотно закрыто, и снаружи не доносилось ни звука. Ника колотила в дверь, но с этой стороны не было даже ручки, и ее попытки подцепить край двери пальцами прекратились, лишь когда ногти обломались и содрались до мяса. Подушечки пальцев стали на вкус ржаво-солеными, с сырым и крахмалистым оттенком цемента, который еще долго потом поскрипывал на зубах.

Через несколько часов – Ника только предполагала, потому что ни ее сумки, ни телефона, ни часов при ней не оказалось, – у нее сел голос. До хрипа. Горло драло и саднило. Но она продолжала «подавать сигнал», пока в какой-то момент не заснула от холода и отчаяния, скукожившись в углу и уронив голову на скрещенные руки.

Она очнулась от обращенного на нее взгляда и, еще не подняв лица, уже ощутила, как встают дыбом мелкие волоски на шее и руках. В эту минуту Ника совершенно отчетливо поняла значение слова «ощетиниться», и страха в нем было куда больше, чем злобы.

На нее смотрели через окошко. Пара глаз. Пристально, немигающе, с ненормальным восторгом, от которого все внутри холодело и начинало подташнивать. Ника попробовала говорить, увещевать, угрожать, умолять – внутренне цепенея при мысли о том, что каждое ее слово ничего не стоит. Вообще ничего, меньше соринки на полу. Что будет с нею, когда этот человек откроет дверь и войдет в ее темницу? Что он с ней сделает? Боль – сможет ли она вытерпеть боль, если он станет ее пытаться? Или он просто убьет ее. Быстро или медленно? И как именно это произойдет?

Но он не входил и не отвечал. Просто смотрел на нее. Изучал. Наблюдал. И, кажется, увиденное ему нравилось. Подумав, что сможет вынудить его на разговор, если успокоится, перестав реагировать на ситуацию, и сядет в углу, Ника замерла. Минуты капали, беззвучно и невидимо, но невыносимо тягостно, как текущий кран в кухне, далекой, родной, уютной кухне в хрущевке... Ничего не изменилось. Потом он ушел.

Даже когда ее похититель принес еды, открыв при этом дверь, она не сразу узнала его, хотя лицо и показалось знакомым. Поедая еще чуть теплую жареную курицу с картошкой и кусок пирога со смородиновым вареньем, Ника все гадала, кто же он. И только насытившись, сообразила. Митя. Митя? Кажется, Митя. Тот неприметный увалень с поблескивающими глазами и белым воротничком.

Она надеялась, что воспоминание об имени даст ей преимущество. Но на Митю это не произвело никакого впечатления. Он все так же хранил молчание – и все так же наблюдал за ней через окошко. Он смотрел на нее целыми часами, как она спит, ест и, что унижительнее всего, как ходит в туалет в ведро, которое он потом выносил с легкой улыбкой, такой мягкой и дружелюбной, что от ужаса у девушки мелко стучали зубы. Осознав, что физическая угроза ей не грозит – кажется, – Ника стала бояться своего тюремщика еще больше. Она не понимала, что ему нужно, зачем он держит ее здесь. Не из-за выкупа же, в самом деле, откуда у ее родителей деньги... Не понимая смысла Митино ласкового неотступного взгляда за линзами очков, разум подсовывал опасения и предположения, одно другого омерзительнее, болезненнее, извращеннее. Ни одно из действий Мити не было направлено ей во вред, кроме, разумеется, самого похищения. Он сытно и даже вкусно кормил ее, следил, чтобы не заканчивалась питьевая вода, и ставил ведро, только для этого нужно было особо попросить. Вслух. Каждый раз девушка содрогалась от стыда. Иногда за окошком щелкал затвор фотоаппарата, и ей негде было спрятаться от этого тягучего, леденящего душу внимания. Ника окончательно сбилась со счета, пытаясь определить, сколько провела взаперти. Неведение – вот что было хуже всего. Сколько дней она в плену? В чем цель или причина? И когда это кончится? Последний вопрос – кончится ли это вообще, найдет ли ее кто-нибудь – Ника отгоняла от себя как могла. Но он, назойливый, всегда возвращался. И Митя тоже.

Осознав, что он не отзовется, Ника перестала надеяться разговорить его. И когда окошко с лязгом закрывалось, Ника считала до трехсот и начинала кричать. Она не оставляла попыток, точнее,

запретила это себе. А в сущности, что ей еще оставалось делать... Пытаться и кричать стало ее работой. Не танцевать же в карцере.

Когда Ника, воспользовавшись очередным Митиным появлением, попыталась сбежать и потерпела поражение, он нарушил молчание – всего однажды.

– Еще раз попытаешься – посажу на цепь, – негромко и почти нежно заверил он.

Ника поверила моментально. Для похитителя, продумавшего все так тщательно и подготовившего для нее целый бункер, ничего не стоило посадить ее на цепь, как дворовую псину. Этого допустить она не хотела.

Иногда ее разум мутился, перед глазами все плыло, тем более что дело довершала выстуженная тьма: уходя, Митя тушил свет. Когда-то она страшилась темноты, теперь нет. Свыклась. Темнота говорила об отсутствии Мити и была явно меньшей из зол. И все чаще Ника боялась, что сойдет с ума. Ей мерещился образ себя же, но лет на тридцать старше, старухи с шальными глазами, бледной кожей, как у пещерного протоя с фотографий спелеологов, и всклокоченными космами, отвратительно-белыми, словно проростки под кучей кирпичей. Это видение заставляло Нику кричать с утроенной силой.

А потом ее освободили. Все закрутилось как-то чересчур быстро и пугало ничуть не меньше. Мамины слезы и ласки, больше напоминавшие продолжение истерики, отцовское заторможенное смущение, милиция с унижительными и необходимыми вопросами, участливость каких-то малознакомых и умирающих от любопытства людей. Наконец, Ника узнала, что в заточении провела три недели, хотя ей казалось, что никак не меньше месяца. Митя оказался второкурсником физтеха, тихим отличником. Дома у него нашли целый платяной шкаф, заклеенный изнутри Никиными фотографиями: с танцевальных выступлений, в компании друзей, сделанные исподтишка, когда он следил за ней на улице и позже – в ее карцере, оказавшемся подвалом пустующей швейной фабрики в тупике улицы Майкова. Из-за того что Ника работала на радио и была в городе довольно известна, о ее исчезновении все это время трубили в эфире и местной газете, и теперь она оказалась под перекрестным огнем всеобщих взглядов, жаждущих подробностей, каждый на свой вкус. Официальные сухие отчеты только подогревали интерес и неуемную фантазию, в которую каждый любовно приносил перчинку собственного безумия и порока. О Нике говорили, и, что еще хуже, о ней шушукались. Надеясь на освобождение, там, в своей клетке, она мечтала о доме и тепле, об одеяле, которым можно укрыться с головой,

а на свободе она вдруг ощутила себя ободранной до костей. Так, наверное, ощущает себя новорожденный, выплеснутый в огромный и громкий мир из материнского лона, ничего не понимающий, дрожащий в слизи, еще недавно бывшей такой теплой, а теперь стремительно остывающей, липкой, застилающей рот, нос и глаза.

– Это пройдет, – успокаивала ее подруга Леночка, самая близкая, единственная, кого Ника допускала до себя в эти дни. Леночка ни о чем не спрашивала. Телефон был выдернут из розетки с корнем, мама все причитала и то ходила по дому на цыпочках, то ругалась с соседками у подъезда. Ника и сама убеждала себя, что справится, что скоро все и правда пройдет, забудется. Жизнь всегда продолжает свое непреклонное течение, в ней нет ничего конечного и безнадежного, кроме смерти.

Но полгода спустя Ника все так же чувствовала на себе взгляды, любопытные, хищные, захлебывающиеся взгляды, жаждущие сплетен. Сто тысяч жителей – это очень маленький город, поняла она. Ее персональная изоциренная пытка взглядами продолжалась, с одной лишь разницей, что теперь она не была посажена в холодную конуру. «Не смотрите!» – хотелось ей кричать так же сильно, как когда-то она кричала: «Помогите!» Но все продолжали смотреть.

Последней каплей стала Леночка. Как-то раз поздним вечером, отплакавшись по поводу незадачливого ухажера, она вдруг с сочувствием приблизилась к Нике и обняла ее за плечи:

– Ты как, в норме? Мне ты можешь все рассказать, ты же знаешь, я могила. Поделись, легче станет... Что он с тобой делал? Ясно, в милиции и родителям ты сказала, что он просто смотрел, но мне-то можешь признаться... Так что это было? Что он делал?

Из зрачков Леночки на Нику нахально уставилось все то же уродливое людское любопытство.

К утру был собран чемодан и с фальшивой веселостью расцелованы родительские щеки. На вокзале Ника купила билет на первый попавшийся поезд, потом долго смотрела в потолок с верхней полки прокуренного плацкарта, в котором другие ехали уже так долго, что и не помнили, какова жизнь без рельсовых перестуков. Спала, жевала заваренный кипятком из титана «Роллтон», снова спала – и через сутки очутилась на бурлящей площади трех вокзалов. А еще через сутки спряталась в своей норе, съемной квартирке на окраине.

Новый номер телефона она сообщила только родителям и буквально приказала не давать больше никому. Даже Лене.

Так началась совершенно иная жизнь Ники Ирбитовой, пришибленная,

сутулая, но намного более спокойная и безопасная. Кудри были теперь безжалостно сострижены до плеч и большую часть времени ютились в неприметном хвостике на затылке. Их цвет постепенно вымылся, от корней они отрастали уже другого оттенка, пыльно-пепельного. И вся Ника померкла и стала вслед за своими волосами – пепельной. В Москве с ней уже никто не пытался завести знакомство на улице или в метро, и дело было отнюдь не в общей атмосфере равнодушия, невнимательности и повседневной близорукой суеты, присущей торопливой столице. Просто прожектор, луч которого в прежние времена выхватывал из любой толпы и подсвечивал ее всю, вдруг выключили – там, наверху. А может, выключила сама Ника.

## Явление третье

### Рисунок роли

– Даня, я тебя сейчас прибью. Вот честное слово!

Римма схватила пакетик из фольги, лежащий на столе перед Трифоновым, рядом с которым висилась горка подсолнечной лузги: Даня щелкал семечки.

– Эй! – запротестовал он. Но Римма не мешкая одним броском закинула пачку семечек в мусорное ведро. Даня огорченно проводил ее глазами в последний полет. – Ну вот... Вредительница.

– Семечки в театре – плохая примета. Ты что, не знаешь? В «Ленком» за это вообще... сажают!

– Так то «Ленком»! – возмутился Даня. – Римм, ты как суеверная бабка, вот ей-богу!

Липатова, заваривавшая себе большую чашку кофе, отрезала безапелляционно:

– То, что мы не «Ленком», еще не дает нам права опускаться до уровня деревенского балагана. Риммочка права.

Даня проглотил упрек молча и только вздохнул: ссориться с владычицей театра «На бульваре» он не собирался, как и с ее любимицей. Тем более что последние несколько дней Липатова пребывала в крайне мрачном расположении духа.

Ника взирала на все это из дальнего угла, где тихонько попивала чай. Эта комната, соединенная с главным фойе высоким арочным проемом, в антрактах выполняла роль театрального буфета, а во все остальное время служила общей кухней, наподобие тех, что встречаются в офисах. С несколькими столиками, кулером с питьевой водой, стойкой с расположившимся под ней шкафом и холодильником, в котором в свертках, кульках и пластиковых лоточках соседствовали обеды, принесенные из дома актерами и другими обитателями театра.

Мила Кифаренко примостилась рядом с братом Пашей и, как всегда, хрустела – на сей раз яблоком. Она постоянно сидела на какой-нибудь диете, хотя, от природы субтильная, с мальчишеской фигурой и тонким голоском, совершенно в этом не нуждалась. Ника не раз становилась свидетелем того, как Паша, нежно обожающий сестру, пытался втолковать, что диеты ей ни к чему, но Мила проявляла недюжинное упорство:

она свято верила, что станет знаменитой, и тогда худоба ой как понадобится. Сейчас ей что-то вполголоса бубнил Валера Зуев, и Паша, как и Липатова, поглядывал на них с ревностью. Подвижный долговязый Паша, с движениями расхлябанными и неточными, будто суставы у него совсем разболтались, как шарниры у куклы, славился своей неловкостью. Вот и сейчас он уронил бутерброд с колбасой и плавленым сыром прямо на льняные брюки и, чертыхаясь вполголоса, размазывал сыр по штанине, пытаясь оттереть. Они с Милой были братом и сестрой только по матери, актрисе захудалой музкомедии, и родительница, в полной мере не реализовавшись в профессии, направила сюда своих детей, а сама продолжала искать себя – теперь уже как женщина, находясь каждый раз с новым мужчиной.

В отдалении от всех остальных обедала Светлана Зиминая. Она, как и Ника, сторонилась шумливых коллег, но по другой причине. Год назад Светлана похоронила единственного сына-студента, разбившегося на машине, и с тех пор сильно сдала. Ника помнила разговоры годичной давности в курилке, когда кто-нибудь то и дело высказывал опасения: не выдержит Света горя. Но сейчас Зиминая немного оправилась, по крайней мере насколько вообще можно оправиться от смерти своего взрослого ребенка. Страдание оставило на ней свой след, за минувший год плечи ее ссутулились, фигура оплыла, а лицо, наоборот, осунулось, отчего нос, который и раньше был длинноват, заострился и перевесил все остальные довольно мелкие черты. Только волосы остались прежними, роскошными, с тяжелым отливом, всегда сплетенные в косу и уложенные вокруг головы спелым пшеничным колосом.

Липатова допила кофе, не дожидаясь, пока тот остынет, и обвела подопечных воинственным взглядом.

– Что, дорогие мои, готовы? Давайте-ка пошустрее. Прогоним еще раз. Все зашевелились, доедая и допивая.

– Кстати, у меня для вас сюрприз. Но вы узнаете об этом только... завтра у нас выходной, значит, послезавтра!

Актеры переглянулись.

– Вот опять. Хорошенькое дело, двое суток изнывать от любопытства! – простонал Даня довольно наигранно. Липатова хмыкнула понимающе:

– Ничего, потерпите. Чем больше ждешь сюрприз, тем больше радуешься.

– Это значит, что, раскрой вы карты сегодня, эффект был бы неоднозначным? – продолжил Даня.

Леля Сафина отвернулась к окну, тая улыбку.

– Данька, я тебя все-таки прибью, – пообещала Римма и весело потряхнула черной гривой.

Все возвращались на репетицию, и кухня пустела. Воровато оглянувшись по сторонам и увидев, что, кроме него, здесь остались лишь Ника и Леля, Трифонов, делая по-мультияшному широкие и нарочито осторожные шаги, подкрался к мусорному ведру, выудил оттуда пачку семечек и пересыпал их из пакетика в карман. Сунул обертку обратно, приложил палец к губам, переводя плутоватые глаза с Лели на Нику и обратно, – и испарился.

После репетиции Липатова заглянула в каморку к Нике.

– Ник... Тут пьеса... Можешь роли для каждого распечатать?

– Да, конечно, Лариса Юрьевна, – Ника взяла протянутую флешку. – Новый спектакль?

– Он самый.

И так раз за разом. Наиболее неприметная и по статусу стоящая ниже всех, за исключением разве что уборщицы, Ника узнала секрет Липатовой первой: сюрприз – это новый спектакль. А скоро она даже узнает, какой именно.

Вечером дома девушка не утерпела и проболталась Кириллу:

– А еще на работе, кажется, назревает новый... проект.

– Ммм... В какой области? – поинтересовался он. И ощущая ее заминку, подколот: – Да ладно, Вика, такая ты скрытная!

Она отделалась общими туманными фразами. От нее Кирилл слышал о театре «На бульваре» многое – за исключением того, что это театр. Ника не уточняла специфики своей работы. Она рассказывала о характерах коллег, о начальнице, своеобразной, но довольно неплохой, о ее любимице, лучшей сотруднице «на работе». Делилась собственными мыслями и эмоциями, описывала собственную нужность и при этом незаметность для окружающих. Никаких откровений о репетициях, спектаклях, актерах: Ника следила за своими словами, чтобы не проболтаться, и это было довольно сложной задачей. Она боялась, что если он узнает о месте ее работы, то найдет способ прийти, на спектакль или просто так, ведь название театра – все равно что ее домашний адрес, все равно что приглашение. Она страшилась этого и хотела этого. И страшилась того, что хочет...

*Сон о пире*

Ника стояла у окна, с пустотой в мыслях устремляя глаза вперед, прямо перед собой. За окном непрерывно лил дождь – вверх. Его струи не падали, а *шли*, строго вертикально, споласкивая огромные ровные стекла, занимавшие всю эту стену от пола до потолка, и капли, вырастая на внешнем карнизе, как сталагмиты в пещере, срывались и летели куда-то еще выше, хотя Нике и казалось, что ничего выше уже просто не существует.

Тьма за окном делала ночной пейзаж черно-белым. Где-то очень далеко внизу, через прорези облаков, то и дело пробитых яркими стрелами молний, виднелся огромный человеческий город, переливаясь огнями оживленных шоссе, подсвеченных улиц и площадей, и только этот город добавлял красок в общую довольно мрачную картину. Отсюда, с высоты, он лежал весь как на ладони, отсюда становился виден весь замысел его строителей и планировщиков, создававших его годами и, возможно, веками, поколение за поколением. Центр – вероятнее всего, площадь, от которой лучами расходятся главные проспекты, то и дело пересекающиеся очередным кольцом бульваров. Лучей к окраинам все больше, они раздваиваются, беспорядочно расходятся, и в общем город напоминает искрящуюся кляксу. Кляксу, населенную огромным числом людей, словно бактерий, до которых никому здесь, наверху, нет никакого дела. Конечно, нет никакого дела, ведь этот холл и Землю разделяет несколько тысяч этажей. Жителям пентхауса безразличны обитатели подвалов.

Ника на мгновение обернулась, оглядев пустынный холл, заполненный тусклым сероватым свечением, ровным оттого, что никакого определенного источника у него, конечно, не было – пространство холла освещало само себя. Светло-серый мягкий ковер, длинный и узкий, как язык, вел по полированным плитам мраморного пола от окна через холл в коридор, но другого конца коридора было не разглядеть в рассеянном сумраке. Алые махровые пионы в вазе беззвучно осыпались, роняя кровавые лепестки на гладкое стекло журнального столика, у которого стеклянными были даже ножки, из-за чего он казался призрачным, едва видимым. В левой стене холла располагались высокие двустворчатые двери, покрытые серебряными пластинами с замысловатой резьбой, настолько тонкой и искусной, что ее блеск невольно рождал в голове Ники смутную память о драгоценных камнях. Ника чуть улыбнулась: вряд ли кто-то из сестер или других здешних обитателей сравнил бы серебряную резьбу с инкрустацией, нет, все они слишком хорошо знают разницу между серебром и самоцветами. И дело даже не в этом, просто они придают

слишком большое значение этой разнице.

Из-за дверей, створки которых были плотно прикрыты, в холл все-таки доносился ровный гул застолья, веселые голоса и позвякивание приборов о тарелки. Ника знала, что пора возвращаться, но вместо этого снова уставилась в окно. Молнии далеко внизу осветили все белым электрическим сполохом, тучи сомкнулись, и город на время пропал из виду.

Ника скорее почувствовала, чем услышала, легкий шелест. Ей не надо было поворачивать голову, чтобы узнать легкокрылого брата Гермеса.

– Наша Ника снова о чем-то размышляет. Это становится плохой привычкой. От нее морщины на лбу.

Ника светло улыбнулась ему. Она единственная из большой семьи никогда не становилась мишенью для шуток и проказ этого хитрюги с совершенно невинными глазами и вечно топорщившимся надо лбом чубчиком: между ними издавна существовало молчаливое взаимопонимание.

Гермес выудил из нагрудного кармана рубашки губную гармонику и наиграл что-то очень знакомое, приставучее, но Ника не сообразила, что именно. Потом он сунул гармошку обратно и протянул сестре руку:

– Пойдем. Все веселье пропустишь.

– Уверена, ты не смог бы этого допустить.

– Точно, – подмигнул он.

При их приближении двери сами собой распахнулись, и на Нику обрушился свет и жар залы, наполненной десятком голосов, терпким запахом вина и воскуряемых на алтарях благовоний. Ярко пылали факелы, укрепленные в скобах по всему периметру залы, и их сияние смешивалось с огнем свечей в настольных канделябрах. За столом ели и смеялись, и при появлении Ники и Гермеса все повернули к ним головы и приветственно загудели. Зевс, глава стола, хозяин, отец, господин, с подмороженными сединой висками, в рубашке, расстегнутой на одну пуговицу у горла, источал привычный шарм и ласково махнул вошедшим рукой.

Ника прошла к свободному месту, Гермес в мгновение ока очутился рядом и принялся наполнять вином ее бокал.

– Наконец-то! Мы заждались, – шепнул Аполлон с другой стороны, наклонившись к ней так, что его кудри коснулись ее щеки. Непоседливая Артемида, сидящая от него по другую руку, в этот момент случайно толкнула брата под локоть, и капля жирного соуса сорвалась с его ложки и, минуя стол, плюхнулась ему на колено, обтянутое кремовым льном штанов.

– Ой, – пискнула Артемида и прихватила ровными зубками нижнюю губу, ожидая кары.

– Вот тебе и «ой», – отозвался Аполлон и стряхнул жирное пятно ладонью, так что оно пропало без следа, словно было хлебной крошкой.

Ника пригубила вино, пытаясь уловить суть разговора, идущего за столом. Все о чем-то спорили. Отец, как это всегда бывало в семейных спорах, снисходительно усмехался, потирая щетинистый подбородок, а вот мачеха была настроена решительно и без юмора, так что Ника наострила уши, стремясь не пропустить ни слова.

– Вот Ника вернулась, пусть и рассудит! – вдруг звонко воскликнула Афродита, сидевшая прямо напротив нее. Все снова обернулись к Нике.

– Эй, дайте ей поесть толком, – возмутился Гермес. Но его слова никого не убедили.

Ника легко вздохнула:

– Знаю я вас. Сначала вы спорите, а потом спускаете всех собак на того, кто рассудил спор не в вашу пользу. А в споре кто-то в любом случае проигрывает. К счастью, я только Победа, судить – не моя забота. А главный судья у нас там, – Ника показала на Зевса. – Отец? И вообще, мне кто-нибудь объяснит, из-за чего весь сыр-бор?

Афина тут же кинула ей через весь стол яблоко. Ника ловко поймала и, все еще не понимая сути, вопросительно оглядела присутствующих, а потом принялась рассматривать плод. Желтое яблоко хранило далекий запах полуденного солнца, и здесь, в черно-белом мире, оно казалось чересчур ярким. Через розоватый румяный бок вилась надпись, будто вышитая по лоснящейся коже стебельчатым швом:

*«Прекраснейшей».*

Ника еще раз обвела глазами присутствующих, уже внимательнее. Она искала только одно лицо. И, конечно, не нашла.

– Это все проделки Эриды. Кинула яблоко и сбежала, коза... – процедила она сквозь зубы, так что расслышать это мог только Гермес. Тот кивнул, полностью согласный с ее догадкой.

– И вы тут же решили организовать конкурс «Мисс Вселенная»? – спросила она громче, обращаясь ко всем. – Очень умно, ничего не скажешь. Спорщики...

– Не все, – отозвался Зевс. – Только моя прекрасная супруга и две очаровательные дочери.

Нику не обманули милые улыбки, которыми обменялись при этом Гера, Афина и Афродита.

– Артемида, а ты?

Миниатюрная и юная, еще хранящая в движениях детскую, даже мальчишескую, порывистость, Артемида фыркнула:

– О нет, я пас. Я и так знаю, что прекраснейшая!

Сидящие за столом добродушно засмеялись, и Аполлон приобнял сестру за плечи.

– Так рассуди их сам, – предложила Ника и прямым броском отправила яблоко отцу. Она знала, что он не согласится. Влезть в столкновение трех богинь, которые из очаровательных существ легко превращаются в мегер, да еще и состоять при этом в близком родстве со всеми тремя, – это чересчур даже для Зевса.

– А давайте пригласим кого-нибудь из смертных? – предложил Зевс. – Гермес, сгоняй-ка вниз.

– Нет-нет, это плохая идея! – живо возразила Ника и попыталась схватить брата за рукав, но вместо мягкой клетчатой фланели поймала пальцами воздух: на свете нет никого быстрее Гермеса, особенно когда он исполнял роль небесного посланника.

– Прошу меня извинить, надо попудрить носик, – встала из-за стола Афродита. Гера и Афина тотчас поднялись со своих кресел, и втроем богини прошествовали к выходу. Аполлон, отодвинувшись от стола, взял в руки любимую белую гитару, и как-то незаметно в ужине возникла музыкальная пауза. Пользуясь тем, что голоса стали громче, а внимание рассеянее, Ника тоже выскользнула в прохладный холл.

И не напрасно. Пока Гермес выжидал у окна, всем видом показывая непричастность к происходящему, перед Афиной трясся и потел от благоговения смертный мужчина. Опаленное солнцем и загрубевшее от ветра лицо, ладная, хоть и простая холщовая, туника, сандалии, крепкие ноги, запах оливкового масла, моря и овчин. Ника узнала Париса, троянского принца, – и посочувствовала ему от всей души. Воительница Афина, тонкая и прямая, как струна, с почти солдатской выправкой, одетая в лиловый брючный костюм и пепельную блузку, в стального цвета туфлях-лодочках с металлическими каблуками, являла собой зрелище одновременно и грозное, и притягательное.

– Я понимаю, что не могу повлиять на твой выбор. Он твой и только твой. Но если бы ты отдал яблоко мне... – мягко убеждала она Париса. – Ты бы всегда выходил победителем из любой схватки. Состязания, война, спор, пари... Всю жизнь. Правда, Ника?

Афина обернулась к ней, но Ника предостерегающе подняла руки, мол, вот не надо еще и меня сюда приплетать. Снова.

Гермес едва слышно хмыкнул. Рядом с Афиной возникла Гера, и Ника

невольно залюбовалась ее прической, волосок к волоску, лежащей в идеальном каре, словно вырезанной из эбенового дерева. Ее ярко-алые губы довершали драматичный образ. Метнув в соперницу недобрый взгляд, Гера озвучила Парису свое деловое предложение:

– Парис, милый... Твой дом и твоё семейство ни в чём не будут нуждаться, обещаю. Почет, достаток, благоденствие. Стоит тебе только принять правильное решение – и род твой прославится в веках. Что скажешь? По рукам?

Парис нервно сглотнул, переводя взгляд с одной богини на другую. Ника ощущала, как в нём нарастает паника пропорционально тому, как растёт его понимание, что красота не способна сравниться в принципе, красота богинь тем более, а любое решение выйдет боком. Ника ему искренне сочувствовала.

Издали раздавался цокот каблучков по мрамору полов. Афродита любила эффектные выходы, и её явно не устраивало внезапное появление или ковыляние на шпильках по густому ворсу ковра, так что она шла вдоль него, возле самой кромки, позволяя Парису оглядеть её без спешки, с каждым шагом, ближе и ближе, и отдать должное её фигуре, подчеркнутой платьём густо-винового оттенка. На запястьях богини от каждого движения звенели хрупкие тоненькие браслеты. Подойдя вплотную, она отбросила за спину чёрные волосы, и в воздухе сгустился душный, как июльская полночь, аромат болгарской розы.

– Парис... – Афродита жарко взглянула на мужчину из-под ресниц. Гермес выразительно закатил глаза, но никто, кроме Ники, этого не заметил. А Парис и вовсе забыл, как дышать. Кровь отхлынула от его лица. «Вероятно, куда-то ниже», – цинично подумала Ника. Губы Афродиты чуть приоткрылись, источая неприкрытый соблазн.

– Ммм, я не ожидала, что ты такой славный. Жаль, что я богиня, – почти правдоподобно огорчилась она, наконец. – В любом случае тебе надо что-то решить. Кстати, у вас там на земле живёт одна женщина... И если я в чём-то и уверена, то в том, что она прекраснейшая из смертных. Если бы вы встретились, уверена, она была бы о тебе того же мнения, что и я. И любила бы тебя до самой смерти.

Так что...

Не договорив, она выразительно, как заговорщица, заглянула Парису прямо в глаза, добираясь до самого доньшка. Потом кивнула и, точно подгадав подходящий момент, удалилась. Афина и Гера, в последний раз посмотрев на Париса, тоже вернулись в залу, потеряв к мужчине всякий интерес, и двери за ними сомкнулись.

– Мне кажется или стало легче дышать? – Гермес подал голос от окна, которое продолжал умыть черно-белый дождь. – Ох уж эти дамы. Было занятно!

Парис стоял опустив голову, и Ника терпеливо замерла. Наконец, мужчина глубоко вздохнул и встретился с ней взглядом.

– Вы тоже очень красивая, – тихо, но твердо проговорил он по-гречески. Его голос, как гибкий вьюнок, мгновенно оплел ее душу.

Ей стало хорошо, горько и грустно. Ника уже знала его решение без слов, как всегда безошибочно чуяла чью-нибудь победу. Она кивнула сначала Парису, успокаивая его смятение своей улыбкой и стараясь не выглядеть встревоженной, а потом Гермесу, давая понять, что он может отнести Париса восвояси: смертным не стоит задерживаться на Олимпе больше необходимого. Еще минута-другая, и он тут окочурится, и тогда придется сразу спускать его в Аид, а это уже перебор.

При появлении Ники в обеденной зале все голоса стихли в ожидании.

– Решение принято! – возвестила Ника, стараясь не обращать внимания на неприятный комочек, свившийся в животе. Такова была ее священная обязанность – возвещать победу, будь то спор или война. Но сейчас все ее существо протестовало. – Лови!

И Ника перебросила проклятое яблоко прямо в руки Афродиты. Та сцапала его ловко, по-змеиному резко, звякнув браслетами, и тут же ослепительно улыбнулась. Все захлопали и заговорили разом. Поздравляли Афродиту, поднимали тосты, снова спорили, хохотали, обсуждали награды, обещанные каждой из богинь Парису, и история уже начинала обрастать домыслами, слухами и сплетнями. Все это отчаянно веселило каждого из присутствующих, и даже Гера, кажется, не выглядела оскорбленной. Положив унизанную массивными перстнями руку на плечо супругу, она что-то обстоятельно ему рассказывала вполголоса.

Даже слугам, обязанным быть незаметными, передалось всеобщее облегчение и ликование. Только не Нике. Она сидела за столом, и кусок не лез ей в горло. Всем на Олимпе – и она не исключение – доподлинно известно, кто из смертных прекраснейшая. Елена, жена спартанского царя Менелая. И чутье подсказывало, что добром тут не кончится, Менелай не из тех, кто спускает такое с рук, тем более принцу Трои. Да и жену он любит.

Наконец, Ника не выдержала.

– Меня одну смущает исход дела? – громко и рассерженно спросила она, вскакивая. Гермес предостерегающе зашипел на нее, но она жестом заставила его замолчать. Звяканье вилок и ложек, звон бокалов

прекратились. Олимпийцы притихли, глядя на Нику с неудовольствием и недоумением. Нарушать правила небесного приличия, прерывать праздник, вот так просто, да и было бы из-за чего! А то всего-навсего какой-то смертный... Это казалось неслыханной наглостью. Но, поскольку Зевс молчал, никто не посмел одернуть Нику.

Ножки отодвигаемого Зевсом кресла скрипнули, и этот звук был единственным в нависшей тишине. Все взгляды обратились к нему, и Ника тоже посмотрела на отца.

Зевс добродушно улыбнулся:

– Я оставлю вас на некоторое время. Надо дать несколько распоряжений. Веселитесь, не скучайте.

Ника догнала Зевса уже в дверях. Правда, поймать его за рукав рубашки, как обычно ловила Гермеса, она не осмелилась.

– Отец, подожди. Неужели... неужели ты думаешь, что это справедливо? Вся эта история? Очень похоже на повод к войне между Спартой и Троей. Ведь цари не поделят женщину. Не рубить же ее напополам! Люди будут сражаться и погибать из-за того, что три богини поспорили, какая красивее? Или что Эриду не пригласили на попойку?

– Выбирай выражения, Ника, – нахмурился Зевс, пропуская ее в дверях и легонько подталкивая в спину. Серебряные створки захлопнулись позади них, и гул застолья вновь начал нарастать. – Нет, люди будут сражаться, потому что троянский принц уведет жену у царя Спарты.

– Ой, да ладно! – поморщилась Ника. – Еще бы, это ведь Афродита внушит ему и чужой жене божественную любовь друг к другу! Куда ему устоять!

– Что поделатъ, – картинно вздохнул Зевс, поглаживая подбородок. – Так предопределено.

– Кем?

– А вот тут ты обозначила серьезную философскую проблему, – усмехнулся Зевс. – Ника, девочка моя, не забивай голову пустяками. Возвращайся за стол, пей, ешь и веселись. Все будет как будет.

– И как же будет? – не сдалась Ника.

Зевс прищурился, и взгляд у него стал отсутствующий, странствующий в бесплотных дебрях грядущего, сокрытого от глаз всех иных существ:

– Будет большая война. Многие погибнут, наши мальчики и девочки передерутся, я имею в виду Афину, Артемиду, Ареса, Аполлона. Что с них взять, дети неразумные. Хоть Гера не станет ввязываться, и то славно.

– А люди, люди? – нетерпеливо воскликнула Ника: божественные разборки давно стояли ей поперек горла. Зевс пожал плечами:

– А что люди? Троя падет. Победят ахейцы. Ты сама возведишь их победу.

– Но, отец, – попробовала возразить Ника. Она нервно кусала губы. – Разве у них нет права самим решать, воевать или нет? Какой смысл в войне, если все заранее решено? А как же свобода воли?

Зевс смерил ее веселым, хмельным взглядом:

– Опять упрямисься... Наивная девочка ты, Ника, даром что богиня. И строптива не в меру. Какая свобода, о чем ты? Они всего лишь люди. И над ними, как надо всем на Земле, – он кивнул на распростертый за окном, на самом дне пропасти, искрящийся город – рок. Судьба. Предопределение. Называй как хочешь, сути это не меняет. Истории обречены разыгрываться снова и снова, на небе и на земле. Даже у богов есть судьба, и от нее не отделаться. Все будет так, как предначертано, ничего не переломить. Если уж мы от этого не свободны, то что говорить о каких-то букашках, что ползают по земле. Они ведь даже не знают, как обстоят дела в действительности. Они даже не могут представить себе наше жилище таким, какое оно есть на самом деле. Скажешь, это настоящий Олимп? Как он есть? Этот небоскреб из стекла и бетона, который ты видишь, что – Олимп? Действительно?

Он громогласно расхохотался. Ника растерянно оглядела холл с глянцевыми полами, залитое дождем окно в отблесках нижней грозы, раскидистую пальму в кадке в дальнем углу, черно-белую передовицу свернутой газеты на столике.

– Что ты имеешь в виду? – помедлив, решила прояснить она, но он все смеялся, чуть не до слез. Ника чувствовала, как внутри ее поднимающаяся волной злость смешивается с вязкой безнадежностью. Мысли путались и мельтешили.

Наконец Зевс перевел дух и покачал головой:

– Откуда тебе знать, как все устроено на самом деле? Ведь даже тебе все это только чудится.

Он протянул руку и коснулся ладонью ее лба, стремясь то ли погладить, то ли потрепать.

Ника проснулась.

Она сразу поняла, что проспала. В голове царил сумятица. Роились какие-то ощущения от прервавшегося сна, беспорядочные, подобно березовой бело-черной ряби за окном поезда, они проносились быстрее,

чем превращались в осознанный образ или воспоминание. Думать об этом было некогда, Ника не успела даже позавтракать и, быстро почистив зубы, напялила на себя свитер под горло, джинсы и пуховик и выскочила на улицу. У метро она купила слойку с сыром и всухомятку сжевала на эскалаторе, обсыпав грудь пластинчатыми крошками.

Вприпрыжку добежав до здания театра, вся взмыленная, с противным зудом от шерстяной вязки, натирающей потную кожу на груди, и еще большим, чем после пробуждения, сумбуром в голове, она впустила в театр уже переминающуюся у входа уборщицу и рухнула на свое рабочее место. Как раз вовремя – через минуту на пороге появилась Липатова, чернее тучи. Царским движением сбросив с плеч шубу (обычно Стародумов успевал подхватить, но сегодня он где-то запропастился, и эффект был уже не тот), Липатова сразу прошла в Никину каморку.

– Где новые роли? Распечатала? – вместо приветствия.

– Да, – девушка торопливо подала начальнице стопку бумаг. Та принялась сердито перебирать их. Наткнулась на экземпляр для Валеры Зуева, схватила из стаканчика возле клавиатуры простой карандаш и стала зачеркивать его имя на верхнем крае страницы. Она штриховала буквы, взяв их в рамочку, настолько усердно, что грифель не выдержал и щелкнул, как раздавленная ногтем блоха.

– Черт... Замазка есть?

Ника молча подала жидкий корректор. Она догадалась, что произошло за вчерашний выходной.

– Зуев ушел, – отозвалась на ее мысли Лариса Юрьевна и не сдержалась: – Сволочь. Посреди сезона...

Закрасив белым имя незадачливого подчиненного и, вероятнее всего, уже бывшего возлюбленного, Липатова долго дула на лист, периодически трогая краску подушечкой указательного пальца, украшенного увесистым перстнем с бирюзой. Перстни и кольца Лариса Юрьевна любила и на каждый день подбирала разные. От взгляда на руки худрука Нику вдруг пронзило назойливое, до холодинки в солнечном сплетении, ощущение дежавю. Тревожное чувство, льнущее и ускользающее, которое никак не ухватить крепче.

Постучав по листу еще раз, Липатова размашисто вписала поверх белого слоя: «Мечников». Кто такой этот Мечников, Ника понятия не имела.

Липатова задержалась. Она посмотрела, сколько билетов продано на ближайшие спектакли, проверила с Никиного компьютера почту, подолгу отвлекаясь на выскакивающие ссылки и баннеры, и девушка

поняла, что Лариса Юрьевна кого-то поджидает. Ей не к лицу торчать в фойе, а так вид вполне пристойный, и вход отсюда видно.

Ровно в десять дверь скрипнула и впустила в театр молодого мужчину. Липатова встрепенулась, буркнула: «Наконец-то!» – и вышла из каморки. Ника из-за стекла с интересом оглядела байронического незнакомца.

Мужчина был довольно высокий, в дорогом черном пальто, распахнутом, но с поднятым до подбородка воротником. Он сделал всего четыре или пять шагов, а Ника уже ощутила, насколько он спокоен и уверен в себе: ни бестолкового озирания по сторонам, ни сутулости в осанке. Войдя в помещение, длиннопалой рукой он машинально отбросил с лица растрепанные волнистые волосы, обнажая высоченный умный лоб. Орлиный нос, крупные четко очерченные губы и вздернутые скулы довершали бритвенно-резкое впечатление, которое производило его лицо. Оно совершенно очевидно не было красивым в общепринятом смысле, но с первого взгляда вцеплялось в память всеми шипами своей неудобной уникальности. А вот на Нику гость даже не взглянул, тем более что к нему уже приблизилась Липатова.

– День добрый! – она протянула ему руку, и мужчина, с готовностью пожав, задержал ее ладонь в своей чуть дольше, чем полагалось.

– Лариса Юрьевна, очень рад. Кирилл.

Первым делом Ника оцепенела. Потом решила, что – показалось. И лишь после этого взгляделась в Кирилла по-настоящему. Это без сомнения был он. Совсем не такой, каким она его себе представляла, но голос, голос был прежний, незабываемый и ни с чем не спутываемый. И внутри все тут же всколыхнулось и заколотилось.

«Как он меня отыскал?» – кольнуло в мозгу. Кирилл и Липатова уже двинулись в сторону кабинета, и Ника, не в силах усидеть на месте, выскользнула из своей каморки. Она следовала за ними на почтительном расстоянии, совершенно не задумываясь, как объяснит это, если спросят. И когда за Кириллом закрылась кабинетная дверь, Ника знала: он ее вовсе не нашел. Он оказался актером и пришел устраиваться к ним в театр. Что за немыслимое, противоестественное совпадение! Или все-таки он знает о ней и скоро обозначит это? Нику трясло от волнения. Больше всего на свете она не любила, когда чего-то не понимала.

Разговор затягивался. Вернувшись в кассу, она видела, почти не осознавая, как собирается труппа: сегодня актеры напоминали ей бестелесные тени, а речь их звучала откуда-то издалека, журчание родника под сочным лопухом в овраге, не более. «Кирилл, Кирилл здесь!» – наступивала кровь свою бесконечную морзянку. А ведь вчера по телефону

он упоминал, что наутро ему рано вставать... Ника ни с того ни с сего улыбнулась, счастливо и широко.

Через полчаса актеры расположились в танцевальном классе. Всеми владело оживление: слух о новом спектакле уже родился и витал в воздухе.

Обычно у Ники всегда екало сердце, когда она оказывалась здесь. Танцклассы, такие одинаковые, во всем мире одни и те же, и лишь пейзаж за окном разнится. Из города в город, из страны в страну, те же прямоугольные амальгамные озера зеркал, холодные, если коснуться голым локтем, те же узкие трубы балетного станка, вмонтированные в стены по периметру. Несть числа минутам, проведенным Никой в таких классах, ученицей, учительницей. Но сейчас она с ходу отменяла привычную ностальгию – сегодня все было иначе. Присутствие Кирилла перекраивало реальность на другой лад. Танцкласс превратился в репетиционную комнату, посередине стояло несколько столов, десятка два стульев, актеры болтали, переглядывались, пересмеивались и лопотали, бубнили и шептались. С озабоченным видом сновал Ребров.

Кирилл, еще до официального представления, уже успел кое с кем познакомиться, подсев в кружок к Миле, Паше, Светлане Зиминной и Римме Корсаковой. Ника, стоя у окна, наполовину скрытая ниспадающей складками портьерой, разбирала его голос среди десятка других, потому что на его низкие тона, такие густые и чарующие, ее тело уже привыкло отзываться негой. Она ощущала, как по позвоночнику течет дрожь, и даже на мгновение прикрыла глаза.

– Всем доброе утро. Сегодня у нас много новостей и много дел, так что быстро и по существу, – Липатова прошлась вдоль зеркала, как полководец, заложив руки за спину. – Валера Зуев нас покинул. Удачи ему. Дальше. В нашей труппе новое лицо, кое-кто уже успел с ним познакомиться, это хорошо... Кирилл Мечников, прошу любить и жаловать.

Кирилл огляделся по сторонам с дружелюбной улыбкой.

– Я верю, что появление Кирилла откроет новую страницу в нашей истории... И еще одно...

Дверь приоткрылась, и Даня Трифонов засунул в щель свою рыжую голову.

– И тебе здравствуй, – миролюбиво вздохнула Лариса Юрьевна.

– Что я пропустил? – спросил радостно Трифонов, плюхаясь на стул с краю.

– Троянской войны не будет! – торжественно объявила Липатова и сощурилась, словно ожидая возражений.

– Ну слава богу, а то я уж начал бояться, – с облегчением выдохнул Даня. Присутствующие засмеялись. – Что, мирные переговоры прошли удачно?

– Смешно, – кивнула Липатова. – Ладно, шутки в сторону. Так называется наш новый спектакль по одноименной пьесе Жана Жироду. Надеюсь, все в студенчестве проходили?

– Проходили, – тут же отозвался Даня. – Мы когда мимо забора проходили, по улице Сельскохозяйственной, там и не такое писали.

– Даня, – предостерегающе пробормотала Леля Сафина, видя, что Липатова не склонна веселиться и вот-вот Трифонову достанется по полной. Тот серьезно кивнул и затих. Липатова повернулась к Нике:

– Раздай текст, пожалуйста, сейчас расскажу о пьесе, и устроим первую читку.

Подавая Кириллу роль, Ника заметила, что ее руки дрожат. Он на мгновение поднял на нее речные, бледно-бирюзовые глаза:

– Спасибо, – и тут же принялся за текст.

Она впервые видела его так близко. Как-то не укладывалось в голове, что это именно он, тот самый, что рассказывал о батоне, съеденном на морозе в одиночестве. Ничто в нем не намекало на перенесенные бедствия: выдержанный и спокойный человек, открытый взгляд, широченная улыбка, мужественная и морская нотка парфюма, дразнящая обоняние. И все-таки это был он. Кирилл.

К обеду уже были окончательно распределены роли. У Ники, сидящей в кассе вдалеке от происходящей читки, не возникало и сомнения, что Зевсом станет Стародумов, и эта мысль ворочалась и щекотала у нее в голове, силясь сообщить что-то очень важное. Ника чувствовала, что должна вспомнить, но вот что именно, в каком ключе – и кому должна? Откуда она вообще взяла роль Зевса, ведь пьесу никогда в жизни не читала...

Мимо нее на улицу проскользнули Мила и Леля. Ника знала, что Мила «стреляет» у Лели сигареты, покуривая втайне от брата, – довольно комично, учитывая, что из них двоих именно Мила была старшей. Через поставленное на режим проветривания окно до Ники доносилось каждое слово из их разговора. Предметом был, конечно, новенький.

– А с ногами у него явно что-то не так, – размышляла вслух Сафина. – Заметила походку?

– Он не хромой.

– Я и не говорю, что хромой, я говорю, что-то не так. Интересно,

это с детства или?.. Если б с детства, вряд ли его бы в театральное приняли...

– С другой стороны, помнишь того актера? – не согласилась Мила. – У которого нет руки. И он все равно актер.

– Он француз. Там все иначе, отношение другое совершенно. Но! Зато какой голос. Ты слышала, как он говорит? Ох... Мне кажется, можно даже не вслушиваться в слова, просто звука его голоса уже достаточно, чтобы кончить, – усмехнулась Леля. – Может, мне его захомутать?

– Ого, какие планы! – засмеялась Мила и вдруг проявила неожиданную осведомленность: – Говорят, он подрабатывает на переозвучании фильмов. В русском дубляже текст читает за Брэда Питта с Томом Крузом... Может, и мне податься?

– Что он забыл в нашем курятнике... – Леля покачала головой, туша окурков в жестяной банке из-под кофе, стоящей на внешнем подоконнике.

– А у тебя, я смотрю, сегодня особенно радужное настроение...

– Зато замыслы наполеоновские!

Встревоженную Лелиными словами Нику отвлекло появление зрительницы, пришедшей за билетами. Они были знакомы: Катя видела все спектакли, и не по одному разу. Эта невзрачная женщина лет тридцати трех, но выглядевшая значительно старше, с суетливыми движениями, зализанным пучком на затылке и вечно съезжающими на кончик носа очками в свиной оправе, довольно точно отражала термин «старая дева». В театр «На бульваре» она ходила как на работу, будучи одной из самых верных его поклонниц.

В обеденный перерыв все собрались в буфете. Ника по своему обыкновению тихо примостилась в уголке. Сегодня для этого была еще одна веская причина: она не сомневалась, что рано или поздно Кирилл узнает ее, но не хотела, чтобы это произошло у всех на глазах.

Римма открыла выключившуюся микроволновку, и по комнате поплыл теплый съестной дух.

– Фу, народ, кто приволок котлеты с чесноком? – потрясла Корсакова лоточком.

Подлетев, Даня Трифонов тут же выхватил лоток из ее рук:

– Мамуля делала. Вкуснятина. Кто хочет?

Все дружно замотали головами.

– А давай! – вдруг решила Леля Сафина. У Ники закралось подозрение, что она сделала это специально, чтобы досадить Корсаковой – между ними явно набирало обороты противостояние. – Только потом побежишь в магазин за жвачкой!

Мечников, присев на подоконник, жевал шоколадный батончик. «А кое-кто сладкоежка», – с нежностью подумала Ника.

Корсакова направилась к нему, плавно покачивая бедрами.

– Кирилл... – Римма жарко взглянула на мужчину из-под ресниц. Трифонов выразительно закатил глаза, но никто, кроме Ники, этого не заметил. Ее снова скрутило тревожное чувство дежавю, и мгновение она раздумывала, не случилось ли чего-то подобного прежде. Может быть, Римма охмуряла кого-то из коллег? Наверняка – с нее станется. – Кирилл, а почему ты пришел именно к нам в театр?

– Хм... Во-первых, это моя профессия, я, как и все здесь, театральное заканчивал. Потом, правда, больше работал на телевидении, на детском канале. Еще время от времени подрабатываю переозвучиванием, дубляжом.

– Так и знала! Слышу же, голос знакомый, – вклинилась вдруг Липатова с небывало сердечным оживлением. Ее губы блестели свежей помадой, и Ника невольно задумалась о том, что перед обедом подправлять макияж было довольно бессмысленно и ранее начальница не была в этом замечена.

Кирилл кивнул:

– И в какой-то момент понял, что... хочется на сцену! Это ощущение отдачи, зрительного зала, взглядов. В какой-то момент это стало зудом, заветной мечтой.... Уверен, что ты, Римма, меня понимаешь.

– Да все понимают, – отозвалась Корсакова, но ей было приятно, что Кирилл обращается именно к ней.

Вдруг под столом раздалось мяуканье.

– Эй, это кто у нас тут? – наклонилась Мила. Трехцветная кошка, облезлая и худющая, пугливо отскочила в сторону.

– Мил, не трогай. Вдруг она лишайная... – предостерег сестру Паша. Обликом он напоминал высокого золотистого ретривера, а собаки кошек недолюбливают, развеселилась про себя Ника.

– Сам ты лишайный, – легкомысленно отозвалась Мила.

– Нет-нет-нет, надо ее прогнать. Вы что, не знаете, что кошки в театре не к добру? – Корсакова замахала руками, не на шутку встревоженная.

– Римма, да не будь ты такой суеверной, от этого дамы стареют, – ухмыльнулся Трифонов. – Уж если про приметы говорить, то не нам точно. Я имею в виду – не актерам! Мы вообще порождение ада, а театр создал демон Азазель, один из самых грозных и пугающих, прямоком из преисподней. Он же, кстати, изобрел грим, косметику и музыкальные инструменты. По крайней мере так считают иудеи.

– Ты и их приплел? Ловкач, – хмыкнула Леля Сафина, длинными

ногтями с серебристым лаком отщипывая кусок докторской колбасы и кидая кошке.

– Даня, актеры всегда суеверны, как старые знахарки. – Лизавета Александровна Рокотская, дождавшись, пока кошка дожует кусочек колбасы, усадила ее на колени, и та затарахтела от удовольствия. – Ласковая какая... Мы же пограничные существа. Кошки тоже, так что мы похожи. А актеры... Не зря их даже на кладбищах не хоронили. Мы превращаемся в других людей, говорим и действуем от их имени. Это и есть проявление зла. Мистика. Римма, девочка, не обращай внимания! Бродячие кошки в театре не к добру, только если пробегают по сцене. А эта еще и трехцветная, принесет удачу. Можешь мне поверить, я ходячая энциклопедия примет.

– Вот только как ее не пускать на сцену... – озабоченно вздохнула Римма. Слова Рокотской всегда имели для нее особый вес.

– А правда, что это здание раньше было церковью, до революции? – подал голос Кирилл. – Настоящей, а вокруг нее кладбище. Я читал на сайте, кто-то из поклонников вашего театра поделился. Там целый фан-клуб. После революции купола сняли и сделали Дворцом пионеров.

Римма побледнела:

– Просто отлично...

– Если так, то это прямо ирония судьбы, самое богомерзкое учреждение, – Даня широким жестом обвел помещение, имея в виду театр целиком, – обосновалось в бывшей церкви...

– А вокруг кладбище? – уточнила Римма негромко.

– Первый раз слышу, – нахмурилась Липатова.

Развивать тему не стали. Леля Сафина вытерла руки салфеткой:

– Так что будем делать с кошкой?

– Оставьте животное в покое, – велела Лариса Юрьевна непререкаемо. – Слышали Лизавету Александровну? Пусть живет, будет нашим талисманом. На удачу.

– Точно, как кроличья лапка! – мягко улыбнулся ей Кирилл, и Липатова от одного взгляда на него вспыхнула и похорошела. – Кошка ведь почти кролик.

– Да и лапок целых четыре, – игриво отозвалась на его слова Леля и сверкнула глазами. Видит небо, она умела быть волнующей, когда желала этого.

Ника беспокоилась. Увиденное на обеде заставляло ее снова и снова прокручивать в памяти каждое слово, каждый взгляд, обращенный другими

на Кирилла. Привыкнув, как антима́терия, ни с кем не взаимодействовать, она развила в себе способность улавливать изменения в окружающих ее людях. И сейчас она была уверена на все сто, что появление Кирилла взбудоражило как минимум трех женщин: Римму, Лелю и Липатову. И если за Риммой склонность к флирту замечалась постоянно, как неотъемлемая часть ее характера, привычка, к тому же подкрепленная внешней привлекательностью, то уж замужней Липатовой, особенно после расставания с Зуевым, это было совсем не к лицу. А Леля Сафина вообще не склонна к кокетству, однако свое намерение во время перекура с Милой обозначила вполне четко, а теперь подкрепила и парой улыбок, обращенных напрямик Кириллу. Ника волновалась, злилась, ревновала – и не знала, что ей делать.

В половине седьмого в театре остались немногие. Последними к выходу шли, обсуждая новую постановку, Стародумов с Липатовой, Кирилл, Леля, Римма и Трифонов, сзади плелся Ребров, успевший натянуть лисью шапку, наследие номенклатурного прошлого. У дверей к нему обратилась Липатова, заматывая шею пуховым платком:

– Владимир Сергеевич, повесьте на сайте объявление об отмене завтрашнего «Марата». Наш-то «свинтил»... Марат...

Липатова поморщилась, но у Ники сложилось впечатление, что все ее раздражение улетучилось и она лишь для проформы разыгрывает неудовольствие: появление Кирилла взбудоражило театр и Валера Зуев казался давно перевернутой страницей.

– Зачем отменять? Что, некого на замену поставить? – нахмурился Кирилл. Липатова покачала головой. – Так давайте меня! Речь ведь о «Моем бедном Марате» по Арбузову? Текст я знаю.

Лариса Юрьевна задумалась, оценивая его. Покосилась на Римму, и та весело и горячо закивала, всем видом показывая восторг от этой идеи – только что в ладоши не захлопала. Глаза Лели Сафиной недобро сузились.

– А что? – Липатова хмыкнула. – Очень даже... Размер у вас один и тот же, только ты повыше чуток. Костюм подойдет. Значит так. Даня, Римма, дуйте на сцену, пройдемся разок, введем тебя, Кирюш, в курс дела! А остальные тогда на сегодня свободны!

Римма взглянула на Лелю с торжествующим видом, очевидно, ее попытки обратить на себя внимание Кирилла не остались незамеченными. Леля вздернула подбородок и, быстро попрощавшись, вышла на мороз.

Если бы вечером, после того как в театре затихли голоса, а фойе и галереи погрузились во мрак, в пустоте Никиной квартиры раздалась

привычная трель звонка, если бы Ника подняла трубку и услышала там голос, который сегодня слышала много раз без предохранителей телефонных сетей, она бы не удержалась. Расхохоталась бы, как от удачной шутки, и сообщила ему, что он был рядом и не заметил ее, а ведь она все время путалась под ногами! Он бы тоже посмеялся, они вместе вспомнили бы женские уловки, которыми пользовались Липатова, Сафина и Корсакова... И на завтра в театре они встретились бы совершенно иначе, интимно, связанные своим знакомством, как обещанием, как тайной. Раскрывать тайну другим или нет – они решили бы позже. Это зависело от того, в какую плоскость хлынули бы их отношения, освобожденные ото всех плотин.

Но этим вечером, впервые за долгое время, он просто не позвонил.

## **Явление четвертое**

### **В предлагаемых обстоятельствах**

То, что произошло когда-то с прежней Никой Ирбитовой, научило ее одной истине, настолько простой и банальной, насколько бывают банальными лишь самые правдивые знания о мире: иногда собственная жизнь, которую ты считаешь полностью себе подчиненной, вдруг пускается под откос безо всяких видимых причин – и прежде, чем ты успеваешь спохватиться. Сидя в том бетонном мешке, она часами размышляла, насколько вообще каждый человек владеет собственной жизнью. Будь он на необитаемом острове, и то непременно случалось бы что-нибудь из ряда вон выходящее: неурожай кокосов, шторм, нашествие летучих обезьян... Что уж говорить о существовании среди сородичей, где нити желаний и чаяний, планов и безумств настолько перепутаны, что вязнешь в них на каждом шагу, как в апрельской жиже. Иногда она пускалась в размышлениях намного дальше и натыкалась наконец на Того, кто, возможно, держит кончики всех этих нитей, распутывает их, дергает. По крайней мере видит всю картину целиком. Зрелище, наверное, захватывающее. Или совершенно беспорядочное и бессмысленное. Или и то и другое одновременно.

Но в природе человека, в его самоуверенной близорукости живет надежда на обратное, и даже те, кому истина все-таки открылась, не теряют этой безумной надежды: а ну как именно его жизнь – исключение? Никому не под силу владеть своей судьбой, а именно ему это по плечу. Ника питала ту же иллюзию.

Она встала на час раньше. Внезапно обнаружила, что косметичка ее почти пуста, нет ничего, кроме одной палетки теней, старой, подсохшей и немного крошащейся туши и нетронутой пудры, так и не распечатанной после покупки. Благодаря матушку-природу за то, что наградила ее хорошей кожей, и припоминая давние времена, когда не выходила из дома без макияжа, а на танцевальные выступления и вовсе наносила роскошную раскраску на грани с боевой, Ника накрасилась. Придирчиво оглядела себя в зеркале и сокрушенно вздохнула: те времена ушли безвозвратно, теперь все не то! Но впервые за несколько лет она хотела быть заметной, пусть не всем, а лишь одному равнодушному взгляду.

Гардероб тоже не отличался полнотой и разнообразием, всего четыре

неброских свитерка, две черные водолазки и две пары джинсов, синие и черные. Как ни комбинируй, результат примерно одинаковый. Ника решительно выудила из самых недр единственную приличную юбку. На улице минус пятнадцать... Но желание покрасоваться перевесило, и Ника надела ее, правда, поверх рейтуз, которые планировала снять потихоньку в своей коморке сразу по прибытии на работу. Она расчесывала волосы до тех пор, пока они не заблестели – не иначе как от благодарности и удивления, – и решила не убирать их ни в хвост, ни в пучок.

В метро ей было неудобно. С непривычки Ника ощущала себя словно под прицелом камер, чувствуя и тяжесть туши на ресницах, и ветер, обдувающий колени. Особенно много неприятностей доставили распущенные волосы, подземные сквозняки трепали их, швыряли целыми прядями в лицо, а отдельные волосинки противно и щекотно липли к губам, покрытым блеском, и приходилось все время отводить их рукой и бороться с желанием почесать губы и подбородок. «Как, как, скажите на милость, я целыми месяцами скакала с распущенными волосами и не замечала всего этого?!» – злилась Ника. До театра она добралась измотанная, нервная, без тени уверенности в собственной привлекательности, на которую так сегодня рассчитывала. Стянула шерстяные колючие рейтузы, переобулась в легкие туфли, но даже и тогда не пришла в согласие с собой. Ее внутреннее состояние не соответствовало облику, она это чувствовала и переживала, что остальные тоже заметят.

Как выяснилось позднее, она напрасно боялась. Никому не было дела до перемен во внешности какой-то кассирши: не кассиршами и их переживаниями славен театр... А тот, чье внимание ей хотелось привлечь, и вовсе появился лишь к вечеру, за два часа до начала спектакля. Кирилл возник на пороге, и первое, что увидела Ника, был его высокий узкий силуэт на фоне белого снега, залитого косым светом клонящегося к западу солнца. Он задержался, пропуская вперед Римму, и та впорхнула, свежая и легкая, и с ее черных кос соскользнул вишневый платок с бахромой, удивительно ей шедший.

– У нас еще уйма времени, чтобы это проверить, – со смешинкой ответила она на вопрос Кирилла, заданный еще за порогом, и многозначительно повела бровью. Кирилл громко расхохотался, и они прошли в фойе. На Нику, на стекло кассы, в окно – Кирилл не взглянул никуда, кроме лица Корсаковой. И сердце Ники, упрямо отказываясь доверять нехорошему предчувствию, все-таки заныло.

Чуть позже она слышала, как Липатова низким, влекущим голосом приглашала Кирилла в свой кабинет «обсудить кое-какие формальности»

и как Леля Сафина поспешила помочь ему застегнуть манжету, предусмотрительно пройдясь возле мужской гримерки в нужный момент. Ника готова была проклясть саму себя за то, что так много замечает, и вздохнула едва ли не с облегчением, когда первые зрители возникли возле гардероба.

– Деточка, Ника, не холодно тебе в юбке? Мороз на улице, – покачала головой Марья Васильевна, с сожалением снимая серую шаль, чтобы остаться в форменном красном пиджаке капельдинера. Девушка изо всех сил улыбнулась.

Этот спектакль Ника любила больше остальных. Аскетичные декорации и темно-серый глухой задник, как раз ей под стать. Нет даже антракта. И ничто не отвлекает от трех людей, дышащих, живущих и несущих свое неудобное чувство через года, от почти невинной подростковой симпатии, родившейся под бомбежкой из одной банки консервов на троих, до пронзительной боли послевоенных встреч. Даже Валера Зуев, никогда в жизни не прыгнувший выше ампула героя-любовника, в этом спектакле умудрялся размотать из себя черты героического благородства. А теперь его место занял Кирилл Мечников. И почти с первой реплики всех заворожил.

В его игре было что-то правдивое до дрожи, до болезненности. Маратом-подростком он казался несуразным, смешным и обидчивым, с размашистыми движениями и тонкой шеей в вырезе затертой сорочки, смущающийся и трогательный. «Мне на будущий год восемнадцать исполниться должно – и то не психую!» – заявил он Римме-Лике, и по залу прокатился добродушный хохоток. Ему поверили безоговорочно и сразу. Потом он появлялся, гордый, молодой герой Советского Союза, не боявшийся, кажется, никого и ничего, кроме этой маленькой комнатки, в которой живет любовь всей его жизни – не с ним. И его безысходность вытекала по настилу сцены через рампу к зрителям первого ряда, как тяжелый дым из дым-машины. «Я бы сказал тебе, Лика... Но я не скажу!» – повторял он знакомую реплику, встряхивая головой так, что темные кудри отлетали со лба, и за словами сквозила разверстая рана. Самые чувствительные зрительницы начинали всхлипывать еще во втором акте, и Ника их понимала. Даже ей временами удавалось забыть о том, что все это «понарошку», хотелось хорошенько встряхнуть за плечи Лику и Марата, отставить в сторону милого, но лишнего Леонидика и заставить двух хороших глупых людей быть счастливыми, а не удирать трусливо, не в силах взглянуть в лицо неумолимо-красивой правде.

Кирилл балансировал на грани безмятежности и надрыва, умудряясь

не скатиться в мелодраматизм, но совершенно точно передавая всю гамму чувств своего Марата. Ему достаточно было стоять вполоборота к залу, чтобы по напрягшемуся мускулу на щеке, по затылку, по вывернутому плечу было заметно, что он сейчас переживает – и что тщательно пытается скрыть. Эту дергающую, нервно вибрирующую ноту чутко подхватила и повела Римма. Когда их с Кириллом глаза встречались, через сцену протягивалась упругая, потрескивающая нить. Ника видела, как темно и страстно горят Риммины зрачки, как произвольно – или выверено – сжимаются ее руки, как блестит от пота лоб Кирилла с прилипшим темно-каштановым завитком. И дрожала всем телом, стоя в полутьме прохода.

Когда зрители, а особенно зрительницы, захлопали после ошарашенной паузы, Ника обнаружила, что и сама плачет. Актеры вышли на поклон, а ей пора было возвращаться восвояси.

Выдавая одежду, она старалась не смотреть на людей, стыдясь своего заплаканного лица. Правый глаз нещадно жгло, и она попросила Марью Васильевну подменить ее на минутку, бросилась за кулисы в служебный туалет. Там она сообразила, что водостойкая тушь, обсыпаясь кусочками, все же не спешит смываться, и, поколебавшись, решила навеститься в гримерку к Римме за молочком для снятия макияжа. Не попади она в эту дурацкую ситуацию, Нике бы и в голову не пришло сунуться к Корсаковой, да еще после только что сыгранного спектакля, но иного выхода она не видела.

Дверь в гримерку была приоткрыта, в коридор падала полоска тыквенного света. Ника стукнула в косяк костяшками пальцев и заглянула внутрь.

Кирилл и Римма целовались. Торопливо, жадно. Прямо на полу валялись букеты цветов в зеркальных обертках – их выронили, не успев донести до стола. Кирилл вдавливал Римму всем телом в стойку с чередой висящих на плечиках костюмов, руки Риммы обвивались вокруг его шеи, а пальцы утопали в пышной шевелюре, стискивая темный затылок. Они еще не заметили появления третьего человека в комнате, а Ника уже отшатнулась.

– Простите... – не своим голосом пробормотала она и бросилась прочь, натыкаясь на декорации. Вслед ей донесся беззаботный смех: так смеются любовники, не опечаленные тем, что их застучали.

Она знала: это правильно. Было смешно и самонадеянно хоть на секунду допустить мысль, что у нее есть шанс быть замеченной Кириллом, когда рядом по земле ходит Римма Корсакова. Эта чаровница

имела власть над мужчинами и прежде заткнула за пояс не одну симпатичную женщину, что уж говорить о Нике, тихоне Нике. По пути домой в метро девушка старалась не видеть в грязном отражении вагонного окна свое осунувшееся лицо. Все правильно, так, как и должно быть. Новый актер, как выяснилось, очень талантливый, появляется в небольшом театре, отлично играет первый спектакль и в награду получает первую красавицу. Чего уж логичнее и закономернее? А ее, Никины, переживания никому не нужны. Хотя и они закономерны. Она убеждала себя, что не первая и не последняя так сглупила, напридумывала с три короба, почти влюбилась в таинственного телефонного собеседника, от собственной одичалости фантазируя себе их глубинную связь. А ведь это была простая телефонная болтовня! Кирилл не делал ей никаких авансов. Он даже не стремился с нею увидеться, за две недели он ни разу не намекнул на возможность свидания. И тут возникла Римма.

И, хотя ее позора никто не видел и не знал, Нике было стыдно, пусть даже перед самой собой. Все эти нелепости, юбка, колибри в животе, косметика – куда она полезла? Вот и получила. Еще легко отделалась. Она возносила хвалы лишь за то, что в поисках удобного момента вчера или сегодня не раскрыла Кириллу себя, иначе было бы совсем неловко, стыдно и плохо, а так – так еще можно жить. С уязвленным самолюбием она как-нибудь справится, потому что всегда была способна совладать с собой, сжать кулаки и продолжать вставать по будильнику. Это ведь не сложнее, чем танцевать со свежими кровяными мозолями: шесть сантиметров лейкопластыря плюс стиснутые зубы.

Когда зазвонил телефон, она не поверила своим ушам. Сердце в груди перевернулось и, кажется, запуталось в шнурах артерий. Первой эмоцией была недоверчивая радость, но ее тут же грубо отодвинули в сторону, как слайд сменили: следующим слайдом шла сцена поцелуя в гримерке. Он красноречивее.

– Алло?

– Здравствуй...

Теперь она знала, как выглядит обладатель этого голоса. Но все это уже не имело ровно никакого значения.

– Кирилл. Хорошо, что ты позвонил.

– Прости, вчера не получилось тебя набрать. Приполз домой и заснул без задних ног, чуть ли не на коврик у двери, – гортанный звук улыбки. – Как твои дела?

Ника зажмурилась:

– Хорошо, все хорошо. Даже больше! Кирилл, я хотела кое о чем

попросить...

– Да?

– Не звони мне больше, никогда, ладно?

Она сказала это негромко и необидно, но веско. Никакой аффектации, лишь дружеская просьба усталого человека. Ответа не было так долго, что захотелось по старинке подуть в микрофон трубки.

– Все стремительно меняется, правда? – осторожно проговорил Кирилл наконец. Она вздохнула и засмеялась:

– Даже не представляешь насколько!

Снова тишина. Пару раз она чувствовала его готовность спросить что-то в лоб, но в последний момент он передумывал и продолжал безмолвствовать. Совершенно очевидно, происходил какой-то бессловесный разговор, но теперь Ника предпочитала ничего не домысливать за своего собеседника. На том конце провода дышал человек, придуманный ею настолько же, насколько Марат из вечернего спектакля был придуман своим драматургом. И, как и персонаж пьесы, это был чужой мужчина. Он принадлежал Римме-Лике, на сцене и за кулисами, вполне осязаемо. Даже чересчур. А ее собственного, ночного Кирилла из ниоткуда, состоящего целиком лишь из голоса и мечты, никогда не существовало.

– Хорошо, – ответил Кирилл.

– Хорошо, – и, минуя ненужный драматизм, Ника избежала и слова «прощай».

Не дожидаясь ответа, она нажала на красную кнопку, и разговор прервался. В квартире стало зябко. Ника вспомнила первый его звонок, звонок не ей, а другу, случайность, стечение обстоятельств. Ей хотелось вернуться на две недели назад и не поднять трубку, когда старенький дисковый телефон разразился настойчивой трелью. Та трель была не к добру.

Вслед за Никой притязания на Кирилла Мечникова оставили и Липатова с Лелей Сафиной. Соперничать с Риммой им было очевидно не по силам. Три дня спустя – в театре невозможно ничего утаить – уже никого не удивляло появление Кирилла и Риммы под ручку, они посмеивались, переглядывались на репетициях, и кто-нибудь обязательно заставлял их обнимающимися в гримерке или за кулисами, так что Нике всего-навсего не повезло стать первой.

Уже всю репетировали новую постановку. Еленой Троянской, женщиной, полюбоваться которой даже дряхлеющие старики карабкаются

на крепостную стену, стала Корсакова, а главная роль, Гектора, досталась Кириллу. После успеха его первого спектакля сомнений у Липатовой на его счет не осталось, и бедный Валера Зуев был беспощадно вычеркнут из памяти и даже из списка труппы на сайте театра. Тем временем сам сайт, еще недавно выполнявший функции едва ли не доски объявлений, только вместительнее, в одночасье стал одной из самых популярных тем для обсуждений. Виной всему был Паша Кифаренко, принесший на вторую читку несколько свернутых в трубочку листов некоего текста. Пока Липатова давала разъяснения по каждой роли, листы ходили по рукам, как любовная записка под партами восьмиклассников. Распечатки оказывались у всех по очереди, не минуя даже Светлану Зимину и Лизавету Александровну Рокотскую. Правда, последняя шепнула, что ознакомится попозже, и тактично отложила очки на край стола: воспитание требовало от нее слушать режиссера, даже когда та обращалась к другим.

– Так. Дай мне сюда эту гадость, – приказала Липатова, когда заметила, что и ее собственный муж с интересом погрузился в чтение. Стародумов потер рукой заросшую щеку и нехотя протянул листы. Липатова бегло просмотрела их: – Это что?

– Это с нашего сайта. Распечатал, что фанаты пишут. Про нас, – пояснил Паша.

– Не знал, что у нас есть фанаты, – фыркнул Трифонов. – Вообще думал повесить над входом транспарант, что-то типа «Дорогой зритель, спасибо, что пришел. Спасибо, что не уходишь».

– Даниил, зайдите в мой кабинет. Сейчас, – зловеще проговорила Липатова и вышла из зала, стуча каблуками.

– Блин, а что я такого сказал? – простонал Трифонов, тщетно ища поддержки. Леля поджала губы и покачала головой:

– Ты балбес. Влетит тебе сейчас по первое число.

Трифонов понуро побрел за худруком, и в читке внезапно образовалось окно. Об этой сцене, свидетелем которой Ника не была, ей позже рассказала Лизавета Александровна, а пока она столкнулась с Трифоновым в коридоре. Тот задержался перед кабинетом начальства лишь на мгновение, чтобы по своему обыкновению успеть подмигнуть девушке. Как только дверь за ним закрылась, на актера обрушился шквал липатовского гнева – тонкие стены не стали препятствием, и Ника слышала все до последнего слова. Липатова отчитывала Даню за неуважение к ней, коллегам и самому театру как понятию и как искусству и настоятельно советовала Трифонову подумать о своей профессии: может, не стоит заниматься настолько нелюбимым делом? Ника знала, что липатовские

слова не имеют отношения к действительности и Даня хороший парень и старательный актер, только за языком следит не всегда. Она не стала подслушивать дальше и поспешила в буфет, куда успели переместиться остальные, пользуясь передышкой.

– Вы только послушайте! – призвал Паша, размахивая белым листом, как на митинге, и принялся цитировать: – «Парень, игравший вчера «Марата», просто невероятный какой-то! Я в шоке... Так, дальше бла-бла-бла... а, вот! Первый раз пришла в этот театр, были сомнения, думала, будет самодеятельность колхозная. Но классный спектакль, всем советую! А Мечников – вообще нечто. Кто-нибудь знает, где он еще играет? Посмотрела репертуар, а он там нигде не указан...» Кир, ты имеешь успех. Ты у нас теперь «нечто».

Кирилл смущенно развел руками, и Римма сделала большие глаза.

– Я ревнивая, – шепнула она ему, но недостаточно тихо, чтобы Ника не расслышала.

– Или вот еще, – продолжал Паша. – «Был на «Фаренгейте». Кажется, антиутопии всегда современны, столько на ум всего пришло по поводу нашей действительности... Стародумов в роли Битти очень впечатляет! И эта девушка, которая Милдред играла, тоже, жаль только, что ей досталась роль глупой и трусливой бабы. Музыка местами орет очень громко, неплохо было бы потише. А так все супер, кто не видел – покупайте билеты и идите». Вот, это нашему Дане надо почитать: народу-то нравится!

– Ой, а про меня есть что-нибудь? – Мила повисла на брате, заглядывая через плечо. В росте у них было сантиметров тридцать разницы, и рядом с Пашей Мила смотрелась дюймовочкой.

– Про тебя... Ээм... про тебя нет.

– Ну вот, – надула губы Мила. – Стараешься стараешься... когда я прославлюсь, пусть им будет стыдно.

Мила всегда была уверена, что станет звездой, – настолько, что на этом ее амбициозность и заканчивалась, существуя в необременительной области отвлеченных идей.

– Тем более, – продолжала она, – у меня еще есть время. Некоторые и дольше ждали успеха. Взять, к примеру, Наоми Уоттс. Она решила быть актрисой, а первый успех пришел к ней только через десять лет. И все эти десять лет она работала официанткой, но не отчаивалась и не теряла веры в себя. Или тот же Харрисон Форд, тот вообще до тридцати лет был плотником. Так по-библейски!

– Ага, – хмыкнула Леля Сафина. – А потом его взял к себе в фильм его

закадычный друг, по совместительству оказавшийся Спилбергом. Да я уверена, что эти люди днями и ночами пытались пробиться. Обивали пороги студий. Хочешь прославиться – хватит сидеть на попе и тешить себя иллюзиями.

Мила насупилась, и Паша потрепал ее по светлой головке, подбадривая. Леля вздохнула:

– Ладно, чего приуныла? Хочешь, завтра вместе заглянем на пробы? Слышала, ищут актрис на роль жертвы маньяка. Ты как раз подойдешь, такая невинная, милая и...

– И жертва маньяка? – засмеялась Мила, и на ее щеках заиграли ямочки. – Да, хочу, давай пойдем! Обязательно пойдем, ладно?

Ника успела заметить, как занервничал от этих слов ее брат. И тут же спохватился, меняя тему:

– Эй, а про пионерку читали?

– Что за пионерка? – отозвалась Римма. Кирилл положил руку ей на запястье:

– Ерунда всякая. Не надо тебе этого знать.

На скулах Корсаковой тут же проступили два ярких пятна. Она насторожилась.

– Паша? Что за пионерка? – повторила она. Паша переглянулся с Кириллом, и тот едва заметно покачал головой, мол, не надо, не говори. Ника поняла, что он уже успел заметить, как остро Римма реагирует буквально на все.

– Она найдет... Это же есть в Интернете, а значит, есть везде, – виновато проговорил Кифаренко, обращаясь к Кириллу. И тут же обернулся к Римме: – Пионерка – это девочка, которая тут погибла.

– В нашем театре? – не поверила своим ушам Корсакова.

– Да. Там темная история. Один из зрителей поделился. Вроде как в тридцать восьмом году, когда тут уже был Дворец пионеров, одна девочка, вроде как даже имя известно, Нина, упала с галереи второго этажа и разбилась. А есть и другая версия. Что родители этой Нины, мать-учительница и отец, главный инженер завода, дома обсуждали товарища Сталина и светлое будущее – вероятно, в багровых тонах. Нина обмолвилась об этом в школе. Без умысла, конечно, – какой там умысел, в девять лет? Просто ее только-только приняли в пионеры, а, сама знаешь, пионер «честен, скромн, правдив и не ленив», вот девчонка и сболтнула лишнего. Скорее всего, об этом доложили кому надо, Нину взяли в оборот и раскрутили на пионерскую честность по полной. В итоге родителей посадили, а потом и расстреляли.

– Какой кошмар, – Корсакова смотрела в дверной проем, ведущий в фойе, расширенными зрачками. Риммино живое воображение наверняка успело нарисовать образ пионерки вплоть до косичек и царапины на коленке, прямо над каемкой белого гольфа.

– А у Нины, – продолжал Кифаренко, словно не замечающий гнетущего впечатления, а может, и радующийся ему втайне, – была старшая сестра, двенадцати лет. И когда родителей арестовали, она узнала, что папу и маму заложила сестренка. И вот однажды девочки пришли на занятия по хору, сюда, старшая заманила младшую на галерею второго этажа и столкнула вниз. Через перила.

Римма прижала ладони к шее в вырезе кофточки и издала сдавленный вздох, снова косясь в арку, ведущую в фойе. Там тянулась галерея второго этажа – наподобие балкона, с коваными перилами и несколькими белыми колоннами. Ника, как и большинство присутствующих, разделяла чувства Корсаковой в эту минуту. В довершение всего Света Зиминова встала и быстро вышла из буфета. Мила с укором взглянула на брата.

– А что? – покраснел тот.

– А то! Ладно Трифонов мозгами не пользуется, но ты-то... Света и так ребенка похоронила...

– Да, скверно вышло, – огорченно согласилась Лизавета Александровна. – Да и история скверная. Только вот почему я ее никогда не слышала раньше? За столько лет впервые всплыла. Не выдумка ли?

– А это важно? – хладнокровная Леля Сафина сполоснула чашку под краном и убрала в шкаф: она даже обедать заканчивала раньше остальных болтунов. – Что бы там ни происходило, все уже былем поросло. Зато у нас есть кое-что насущное. Я имею в виду, сейчас вернется Лариса Юрьевна и Даня... Если выжил.

Позволив себе эту оговорку, Леля бросила пыливый взгляд на Стародумова, но тот только понимающе усмехнулся.

– Господи, как вы можете думать о работе после такого? – растерялась Римма.

Леля источала снисходительность, весь ее вид говорил о том, что именно так и поступают профессионалы: отодвигают ненужные эмоции в сторону и делают свое дело. Кирилл привлек к себе Корсакову и мягко потрепал по плечу, подбадривая и нашептывая ей что-то на ушко сквозь черный локон.

Назавтра Леля так и не дождалась Милу в назначенный час, чтобы вместе идти на пробы.

– Ну и где, скажи на милость, твоя сестрица? Я проторчала на морозе тридцать семь минут, прежде чем плюнула и поехала сюда, – сердилась актриса, выговаривая Паше в фойе. – У нее и телефон не отвечает. А у меня ноги чуть не отмерзли.

– Она это... в общем, приболела, – смутился Паша и беспокойно скосил глаза на Нику, наводившую порядок под стойкой гардероба. – Наверное, съела что-то не то, отравилась.

– Прелестно, – вздохнула Леля. – Грустно, конечно, но она могла бы хотя бы меня предупредить. Или ты, если у вас дома ты за взрослого.

Паша поскреб в затылке, виновато кивнул и, прежде чем актеры вместе удалились в сторону служебных помещений, еще раз тревожно поглядел на Нику. Та приняла безмятежный вид, несмотря на то что подозрения ее подтвердились. Вчера, заскочив в аптеку в соседнем доме, она наткнулась там на Пашу Кифаренко и не узрела бы в этом ничего из ряда вон выходящего, если бы не его странное поведение. Воровато оглянувшись на перезвон входного колокольчика, он через плечо заметил Нику и жутко заволновался. Нетерпеливо сунул купленную упаковку лекарства – какого, Ника не рассмотрела, да и не считала приличным разглядывать пристально – в карман и быстро зашагал к выходу.

– Молодой человек, сдачу забыли! – окликнула его провизор. Кифаренко вернулся, суетливо принялся сгребать деньги в кошелек. Несколько монеток соскочили со стойки и зазвенели, кружась и подпрыгивая по плиткам кафельного пола. Паша присел на корточки, пытаясь собрать их, и тут же неуклюже задел плечом стойку с детскими товарами. Подгузники, салфетки, соски и пустышки разлетелись по всей аптеке. Совершенно растерявшись, Кифаренко пробормотал слова извинений и выскочил прочь как ошпаренный.

Рассчитавшись за свои покупки, Ника взяла чек и уже в дверях прочитала выбитое на нем название лекарства. Должно быть, по ошибке ей достался чек Паши. Сообразив, что актер покупал слабительное, она понимающе улыбнулась. В тот момент она не могла и предположить, что препарат предназначался не ему, а был частью злодейского плана по оставлению сестры дома. Злодей из Паши вышел никудышный, слишком неповоротливый и гротескный. Но, как выяснилось, своей цели он все-таки достиг: на кастинг Мила не попала, валяясь дома с расстройством желудка. Видимо, Паша так сильно боялся отпустить сестру от себя, что решил и вовсе не давать ей ни единого шанса устроиться в жизни без него. В глубине души Ника полагала, что Паша совершает ошибку и вредит своей обожаемой Миле, – но снова и снова

девушка останавливала себя. «Это не мое дело. Не надо ввязываться, сами разберутся! Пусть все идет как идет...»

Тем более что у нее находились занятия поприятнее.

Несмотря на то что Ника зареклась думать о Кирилле и пытаться соперничать с Риммой, никто не мог запретить ей смотреть на него, когда этого не видят другие. Слушать и наблюдать было ее обычным делом, привычным, даже любимым. Просто поразительно, думала она, как много говорит о человеке его облик, манера двигаться, говорить. Она заметила то, о чем в разговоре с Милой упоминала Сафина: у Кирилла была необычная походка. Ходил он стремительно, но немного вразвалочку, так ходят моряки, привыкшие к ускользящей тверди палубы, и наездники, даже на земле хранящие ощущение лошадиного крупа под собой. Она частенько гадала, что было причиной этой походки, просто особенности телосложения или какая-то давняя история. Понимая, что, наверное, никогда не узнает, она не переставала строить предположения.

У Кирилла был дар завоевывать всеобщее расположение. Он оказался быстрым и непоседливым, даже неугомонным. С пытливым умом на грани любопытства ко всему окружающему его миру и высшей степенью обаяния. С Рокотской он болтал об истории театра, в которой обнаружил недюжинные познания, о Станиславском и Немировиче-Данченко, Таирове и Эфросе<sup>[2]</sup>, о системе Михаила Чехова<sup>[3]</sup>, они подолгу обсуждали Метерлинка, Стриндберга и Дюрренматта<sup>[4]</sup>, и пожилая актриса, в последние годы не очень-то избалованная вниманием, пускалась в подробные размышления и воспоминания о своих прежних ролях и работах. У них даже возникла идея предложить Ларисе Юрьевне поставить «Визит старой дамы» с Рокотской в роли Клары – Кирилл эта пьеса просто завораживала. С Даней Трифоновым он делился забавными историями и, чуть позже нащупав их общую страсть, подолгу спорил о мотоциклах, с Пашей Кифаренко соревновался, подтягиваясь на турнике. Иногда Кирилл и вовсе представлял с новой, неожиданной стороны, например, когда помог Ларисе Юрьевне разобраться с нестыковкой в бухгалтерии, премудрости, от актерства крайне далекой. Или когда рассказал Миле, что в студенчестве избавился от прыщей, утром и вечером умываясь размолотой овсянкой. Он не боялся прослыть недостаточно мужественным, делился с новыми приятельницами секретами красоты, некогда подслушанными у других актрис, не боялся высказывать свое мнение и, кажется, вообще не боялся ничего, обосновавшись в театре «На бульваре» без лишнего стеснения, сразу и надолго.

– Я ведь попробовала! Уже три дня умываюсь, как он сказал, овсянкой, и прямо чувствую, как кожа лучше становится! Даже морщинки разглаживаются, – из-за двери фанерной кабинки Ника услышала голос Милы, зашедшей в женский туалет.

– Мне иногда рядом с ним не по себе, – раздался голос Риммы. – Не знаю, что творится у него в голове. Но там явно очень много всего.

– Вряд ли это недостаток, – отозвалась Липатова.

– Он составил мне список книг, которые неплохо бы прочитать. Представляете? Он такой умный. – Корсакова мечтательно вздохнула. Ника даже через перегородку услышала усмешку Ларисы Юрьевны:

– Тебе это полезно. Читать, я имею в виду.

– Это какой-то намек? – тут же обиделась Римма.

Ника слила воду, прослушав ответ Липатовой, и прошмыгнула мимо дам в коридор.

На репетициях, куда одним глазком заглядывала Ника в свободную минуту, Кирилл поражал своей способностью, вживаясь в разные роли, быть отталкивающим, или смешным, или жалким и от этого становился еще более притягательным. В реальном мире ей доставляло удовольствие замечать их схожие вкусы. Когда Лизавета Александровна принесла банку домашнего малинового варенья, он слопал чуть не половину, нарочно уморительно постанывая и щурясь от удовольствия. Ника поступила бы так же, только не играя на публику. Они оба предпочитали одежду темных глухих тонов, только большинство его вещей были к тому же сшиты из тканей, поглощающих свет и звук, и приятные на ощупь: вельвет, флис, ангора, фланель. Словно и Кирилл хотел укутаться, спрятаться от кого-то или просто окружить себя уютom, которого некогда был лишен.

Она ловила себя на том, что из другого угла комнаты часто смотрит на его руки, когда он что-нибудь рассказывает. Чуткие и сильные, с подвижными запястьями, они помогали ему намного полнее выразить смысл слов. Ника гадала, умеет ли Кирилл играть на фортепиано, ведь при таких руках он запросто может взять полторы октавы, но крышка стоящего в фойе рояля оставалась опущенной, и Ника никогда не замечала, чтобы взгляд Кирилла обращался к инструменту. На левой его ладони, на возвышенности у основания большого пальца, той, что хироманты зовут холмом Венеры, то и дело появлялись чернильные пометки, крестики, галочки, цифры: Кирилл пользовался ладонью как блокнотом. Совершенно школярская привычка, если вдуматься, и пошутить по этому поводу не решился только ленивый – и бессловесная Ника, находившая эту особенность милой. Еще Кирилл просто обожал вертеть в руках предметы,

он жонглировал мячиками для пинг-понга или апельсинами, чтобы развлечь остальных, в задумчивости крутил между пальцев карандаши, расчески, тюбик Римминой помады, вращал на пальце брелок с ключами, играл с ножами. Его кисти были постоянно в движении, быстрые, ловкие, как у циркача. Эта манера нервировала Римму, которая, хотя их отношениям исполнилось две недели, уже старалась переделать его под себя. Иногда она спорила с ним, иногда поправляла, порой капризничала, пытаясь повелевать, и Кирилл исполнял ее прихоти, молча, проявляя чудеса терпеливости.

Ника и Кирилл по-прежнему не обменялись даже парой слов. Девушка старалась держаться подальше, хотя бы до тех пор, пока воспоминания о ночных телефонных звонках не потускнеют. Возможно, он уже и думать забыл про случайную собеседницу, да и голос у нее не такой запоминающийся, но так все же было спокойнее. Однажды Ника чуть не попалась: помогая костюмерше Женечке переносить ворох сценической одежды из одной подсобки в другую, выпустила зажатую под мышкой книгу. Поднять ее с пола прямо сейчас она не могла, а вернувшись, застала Кирилла Мечникова собственной персоной, одного посреди сумрачного коридора. Он успел не только покрутить книгу в руках, но и углубиться в чтение, где-то с середины тома.

– Макьюэн<sup>[5]</sup>. Ваша? Отличная книга... Один из немногих авторов, кто еще не утратил способности писать правду о человеческом нутре.

Он, кажется, ждал от нее какого-то ответа, хотя бы для поддержания светской болтовни, но Ника просто кивнула со слабой беспомощной улыбкой, взяла протянутую книгу и поспешила спрятаться в своей норке.

Конечно, она стала его горячей поклонницей, уверяя саму себя в том, что привлекает ее только его доселе не востребованный талант. Это удивляло, и очень быстро в Никину привычку вошло рыскать по Интернету в поисках каких-нибудь сведений о нем. Но о простых людях, не звездах и не президентах, там говорится мало, а в социальных сетях он не регистрировался, напоминая в этом ее саму, – или нарочно скрывался. Нике пришлось довольствоваться хвалебными отзывами зрителей на сайте их театра и несколькими портретными фото, очевидно, из актерского портфолио, которые она разглядывала чуть ли не под микроскопом. Кириллу шло быть загадочным и задумчивым, но на некоторых снимках она узнавала его вполне повседневным, с искоркой в глазах и щедрой улыбкой, в которой становились видны чересчур заостренные боковые резцы. В бледно-бирюзовой, белесой и почти прозрачной радужке правого глаза темнело карее пятнышко, а в другом глазу такого пятнышка не было,

и из-за этого разнобоя взгляд приковывал к себе внимание – Ника давно заметила, что ничто не выбивает людей из колеи больше, чем необычные глаза собеседника. Может, других его взгляд и нервировал, но Ника о нем грезила.

Все это делало ее счастливой. Она надеялась, что не стала и не станет похожа на одну из тех безумных поклонниц, что караулят предмет своих мечтаний у служебного входа и лепят плакат с любимым изображением на потолок в спальне. Впрочем, в этом нет никакой необходимости, театр «На бульваре» и так в ее распоряжении с утра до вечера, со всеми его помещениями и обитателями, пусть даже те об этом и не подозревают. А первая мысль после пробуждения тоже была – о Кирилле Мечникове. Она поднимала Нику с кровати, дергая вверх, как раскрывшийся парашют, и настроение моментально окрашивалось в лазурь. Девушка сама себе удивлялась. То, что Кирилл завел роман с Риммой, не означало, что он принадлежит теперь Римме – как ни один человек на земле не принадлежит другому, даже если оба страстно этого желают. Нет, он принадлежал лишь самому себе, а Ника... Нике было довольно и того, что она встречала его почти ежедневно, порой узнавала издали характерную раскачивающуюся походку по щербатому паркету-«елочке» или чувствовала знакомый запах от мокрого воротника пальто, перекинутого через спинку стула в грим-уборной. Пахло далеким морем и мачтами, протыкающими ватные облака... Ее тайная нежность ни к чему Мечникова не обязывала и ничем не отягощала. Одно сознание того, что этот человек живет, просто существует в мире, и она даже знакома с ним, наполняло ее мягкой, пушистой и бесформенной радостью. Ведь большинству людей, думала она, повезло куда меньше... Да и сама она не готова выйти из тени, жить без оглядки – и навряд ли когда-то осмелится.

Ника в полудреме от приближения обещанного снегопада сидела за окошком кассы. За билетами давно никто не приходил, глаза ее слипались, и слова в раскрытой на столе книге никак не хотели складываться в осмысленные предложения. Но вот из-за приоткрытой двери в фойе до нее донесся бодрый голос Рокотской:

– Пионерский галстук –  
Нет его родней!  
Он от юной крови  
Стал еще красней.  
Как повяжешь галстук,

Береги его,  
Он ведь с красным знаменем  
Цвета одного!<sup>[6]</sup>

В отдающей эхом тишине фойе, под гулкими сводами перекрытий стихи прозвучали особенно торжественно – и тревожно.

– Лизавета Александровна, чего это вы? – послышался в ответ голосок Риммы. Ника прямо в крутящемся офисном кресле подкатилась к двери и открыла ее пошире. Стала видна часть холла, в которой Корсакова, крутясь возле зеркала в полный рост, кокетливо повязывала на шее алую косынку. Рядом, собираясь уходить, застегивала пальто Рокотская.

– Не понимаю я нынешнее увлечение советской символикой, – пожалала плечами та. – Ладно, мы, кто помнит Союз, ностальгия, все такое прочее, но молодежь, как ты... Пионерский галстук на манер шарфика... К чему все это?

– Что? – нахмурилась Римма, и руки ее замерли. – Это не галстук. Это косынка, на полу лежала. Кто-то оставил, наверное, я решила примерить. Мне красное идет!

– Да брось, никакая это не косынка, самый настоящий галстук, пионерский, говорю же. Я его и на ощупь узнаю, столько лет сама носила, а потом сыновьям гладила по утрам.

– О господи...

Римма, невзирая на природную свою смуглость, сделалась белой, как мука, и принялась дергать косынку. Тугой узел поддался не сразу.

– Снимите его с меня, снимите! – взвизгнула Корсакова, насмерть перепуганная. Рокотская поспешила помочь.

– Тише-тише...

Когда ее сморщенные пальцы распутали узел и натяжение ослабло, Римма была близка к истерике. Она отшвырнула галстук прочь, и яркий кусок ткани мягко спланировал на пол.

– Мамочка... О господи, – запричитала Римма, глядя на него расширенными глазами и пятясь к стене. Из буфета и зрительного зала уже спешили, привлеченные шумом, Липатова, Леля, Кирилл и Даня Трифонов.

– Что случилось? Римма?

– Это... пионерский...

– Кажется, да, – Липатова наклонилась, чтобы поднять его.

– Нет! – взвизгнула Римма. – Не трогайте!

Остальные озадаченно переглянулись, Липатова выпрямилась:

– Можешь ты толком объяснить?!

– Я нашла его тут. Он просто лежал на полу, вот как сейчас. Заманивал. Я подумала, что это чья-то косынка, кто-то оставил. И примерила. А он, он меня чуть не задушил!

– Что за глупости...

– Не глупости! Вы что, не понимаете?! Это та девочка, пионерка... Я давно чувствовала что-то... страшное, потустороннее. Я наполовину цыганка, такие вещи сразу чую. Она все еще здесь, где умерла... – зачастила Римма. – И галстук ее наверняка упал оттуда, с галереи, прямо сюда, где я его нашла. А я не подумала и надела. Понимаете? Я надела ее галстук! Это значит, что я теперь... Ой, мамочки...

Она сползла по стене на стоящий стул и обхватила себя руками. Кирилл, справившись с первой оторопью, несколькими широкими шагами пересек фойе и сел рядом, обняв девушку за плечи:

– Римм, да ладно тебе. Наверное, кто-то и правда оставил. Или костюмеры обронили.

– Точно! – кивнула Липатова. – Наверное, Женечка таскала костюмы, стирать или еще зачем. Там у нее много чего есть, в закромах, вот и галстук нашелся... А ты давай придумывать! Такая впечатлительная, сил нет, что мне с тобой делать?

Римма, уже с красным носом, посмотрела на нее с надеждой.

– Думаете?

– Уверена. Так что давай, подбирай сопли.

Актриса перевела взгляд на Кирилла, тот ободряюще похлопал ее по руке (Ника почувствовала, как больно царапнулось что-то внутри), и Римма, испытывая огромное облегчение, тут же преобразилась. Как ребенок, которого от слез отвлекли мотком сахарной ваты на палочке, она покорно побрела в зал за Кириллом и Липатовой. Проводив их взглядом, Леля вздохнула и пробормотала вполголоса:

– Пионерка.

– Всем ребятам... – начал было Даня, но Леля погрозила ему пальцем:

– Трифонов, молчать.

Когда фойе опустело, Ника вышла из своей комнатки и подняла с паркета позабытый всеми галстук. Гладкость ацетатного шелка холодила пальцы. Девушке вспомнились слова, продекламированные Рокотской, довольно зловещие для детской книжки, хотя нельзя не признать, что они вполне точно отражали суть этой символической вещицы. Красно-оранжевый треугольный лоскут, и правда цвета крови, не темной венозной, а той самой, что бьет из разорванной артерии толчками, как струйка

из питьевого фонтанчика. Предпочитая не пускаться дальше в цветистых размышлениях, Ника отнесла галстук к себе и сунула в выдвижной ящик стола, решив отдать костюмерше при случае.

Полчаса спустя Ника, пользуясь тем, что все актеры, пришедшие сегодня в театр, заняты с Липатовой на репетиции, решила выпить кофе: ее снова клонило в сон, а за окном из сизых брюхатых туч уже повалил снег. Чашка на краю стола еще хранила следы какао, которым девушка пыталась согреться пару часов назад. Нике нравилась эта чашка, непримечательно-белая снаружи, но с рисунком из ромашек по внутренней стороне фаянсового цилиндра. Ромашки были секретом, открывавшимся лишь тому, кто пил из чашки, и чем меньше становилось напитка, тем пышнее расцветали кроткие и улыбчивые цветы на керамических стенках. Воды в чайнике не оказалось, и Ника отправилась в туалет, чтобы его наполнить.

Отвинчивая вентиль крана, она услышала, как в закрытой кабинке кого-то выворачивает наизнанку. Когда она направилась к двери, чтобы не смущать человека и вернуться позднее, ее остановил слабый голос Лели:

– Ника...

– Да? – встрепелась она.

Послышался шум сливаемой воды, дверь кабинки отворилась, и Ника увидела Сафину, сидящую на корточках, прислонившись виском к фанерной переборке. Плечи, всегда так гордо развернутые, сейчас сутуло поджались, бледное лицо покрылось испариной, и над верхней губой выступили блестящие бусинки пота. Актриса подняла на Нику изможденные глаза:

– Слушай, у тебя нет случайно чего-нибудь от желудка? Что-то мне так плохо...

Ника растерянно покачала головой, набрала воды из-под крана и присела рядом с Лелей:

– Вот, попей.

Сафина несколькими глотками осушила чашку с ромашками и прикрыла глаза.

– Хочешь, я сбегаю за лекарством? – предложила вдруг Ника.

– А ты сбегаешь? Честно говоря, хочу. А то я до вечера не доживу...

– Надо выпить крепкого чаю. Отравилась чем-то? Как Мила?

– Кажется, это был пирожок с мясом... Если только меня не тянет блевать от Риммкиных выкрутасов, – через силу усмехнулась Леля. – Видела, что она устроила?

Ника замялась:

– Скорее слышала.

– Вот-вот, – Леля встала на ноги, держась рукой за стену. – Ох. Любит ломать то драму, то комедию, будто сцены мало. Хорошо еще, она не знает, что у Женечки не пропал пионерский галстук. Я специально узнавала. В костюмерной вообще нет галстуков. Да и откуда, мы же ничего советского не ставили, кроме «Марата»... Риммка прознает – то-то крику будет...

Римма, конечно, прознала. Не от Лели и уж тем более не от Ники, – но прознала. И, конечно, это совсем выбило ее из колеи. В одну минуту она была безмятежной и веселой, но в следующую уже бледнела и принималась твердить, что, примерив галстук убиенной пионерки, она навлекла на себя внимание призрака, в чье существование отчаянно поверила, и крепко привязала себя к той давней истории. На эту тему ее могло вывести буквально любое замечание, любая реплика. Напрасно Липатова, а вслед за ней и Стародумов, и Кирилл убеждали ее не обращать внимания на всякие предрассудки и суеверия – Римма согласно кивала головой, но в глубине ее смоляных глаз тлели угольки тревоги. Несколько дней подряд Римма даже спрашивала у Ники, не приходил ли кто за забытой красной косынкой, – театральная касса впервые удостоилась такого внимания со стороны главной красавицы.

По своему отношению к Римминой болезненной эмоциональности Ника была солидарна с Сафиной, хотя они и не думали больше обсуждать это. Надобности в словах не было, Ника и так видела Лелин нескрываемый скепсис. Сама она тем более не впадала в суеверия, считая, что мир доверху полон настоящих чудес, реальных, – и настолько же реального зла. Ни с чем паранормальнее соседских бредней про барабашку она в жизни не сталкивалась, а вот Митю с поблескивающими льдистыми глазами и свою каменную клетку помнила преотлично. И считала, что, окажись в ней Корсакова, хоть на денек, она тут же бы перестала бояться всякой выдуманной чертовщины. Конечно, Ника никогда не бывала в шкуре актера и не знала наверняка: а что, если им необходимо находиться в пограничном, полубезумном состоянии, чтобы лучше играть и чувствовать? Но собственный опыт свидетельствовал об обратном: чем холоднее бывала ее голова перед танцевальным выступлением, чем ровнее билось сердце, тем лучший результат показывала их пара. Постоянными раздумьями и страхами раскачивая нервный маятник внутри себя, Римма делала только хуже. Но пока не сознавала этого – а Ника не собиралась вмешиваться. Она смотрела со стороны.

Прошла неделя, а Римма все не уgomонилась. В выходной Лариса Юрьевна даже отправилась в библиотеку и отыскала данные о строительстве здания, подтверждавшие, что оно было возведено в 1928 году на пустыре и никакой церкви с кладбищем здесь до него не стояло. Римма сначала обрадовалась, а потом озабоченно заявила, что даже если история про кладбище выдумана, то пионерку Нину еще никто не отменял – ведь не отменял же? Липатовой пришлось развести руками: про пионерку и тот случай она ничего не раскопала.

Ника только диву давалась. К Римме Лариса Юрьевна была поразительно терпелива. Впади любой другой из актерской братии в такую паранойю – его ждал бы серьезный разговор с художником и приказ «выкинуть эту ересь из башки», чтобы не саботировать работу. Но только не Корсакову. Если Липатова кого и любила в этом мире (в ее чувствах к супругу Ника, хотя это ее и не касалось, сильно сомневалась), так это Римму. А та была – как избалованная единственная дочка, своенравная и любимая, всегда знающая, что и как попросить, а когда лучше промолчать и не сердить маму. Гримируясь к «Антонию и Клеопатре», Римма убирала волосы в подобие низкого каре, подкалывая их у шеи, рисовала на глазах жирные графитовые стрелки в стиле Лиз Тейлор и становилась вдруг похожа на Липатову, как родная. И иногда Ника ломала голову, что это: театральщина, лицемерие, какая-то извращенная игра, претворившаяся в жизнь, кривляние? Или Римма действительно прорастает в Липатову, искренне испытывая к ней вот эти самые, дочерние чувства, интуитивные и почти животные? Еще больше Нику интересовало, что думают об этом фаворитизме остальные в труппе. В конце концов, Корсаковой доставались почти все хорошие роли молодых героинь. Она справлялась, будучи неплохой актрисой, и работала обычно без усталости и даже вдохновенно. И все-таки это не могло не задевать остальных. Но те молчали. Юные актрисы, только из училища, хоть и смотрели волчатами, но временами становились Римме кем-то вроде горничных или компаньонов, бегая для нее в магазин, делясь косметикой и сплетнями. Из всех актеров только Леля Сафина и Даня Трифонов осмеливались на редкие выпады в сторону Риммы: Даня из любви к сомнительным шуткам, а Леля... Здесь Ника затруднялась ответить, потому что Леля Сафина была для нее загадкой. Смелость, или тотальное равнодушие, или экспериментаторский ум, или зависть, или обостренное чувство справедливости, или даже обида на выбор Кирилла – истинные мотивы своих слов и действий Леля держала при себе. Но Римму она явно недолго любила и в отличие от мотивов этого не скрывала.

## Явление пятое

### L'ingénu dramatique

[7]

Дотянувшись до верхнего ряда рамок, висящих на стене в фойе, Ника осторожно сняла с гвоздя одну из них. Поручение Липатовой заменить фото Валеры Зуева на портрет Кирилла Мечникова в актерской галерее Ника восприняла с птичьей, щебечущей радостью, как будто это каким-то образом связывало ее с ним. Вставив под стекло большое черно-белое изображение и карточку с именем, теперь она медленно обводила пальцем его вздернутые скулы, аккуратную линию подбородка, резкий излом твердых губ... Потом встрепенулась, вернула рамку на пустующее место в череде других фотографий и, спрыгнув со стула, нащупала ногой туфли.

– Ой, у вас пополнение! – раздалось над самым ее ухом, и Ника схватилась за сердце. Это оказалась всего лишь Катя, та самая постоянная поклонница театра «На бульваре» с внешностью затюканной жизнью библиотечарши. Она была так тиха и неприметна, что Ника не услышала ее появления даже со своим острым слухом. Очки Кати, зашедшей с мороза, заиндевели, и в середине каждого стеклышка отпотевало по круглому пятну, как от приложенных к ним теплых монеток.

– Скорее замена, – Ника продемонстрировала только что снятый портрет Валеры Зуева.

– Да вы что, неужели Зуев ушел? – всплеснула руками Катя. – Какая жалость.

– Будет теперь в кино сниматься, – пожала плечами Ника. – Каждому свое.

– Правда-правда. Наверное, вам всем грустно было... Мне кажется, вы здесь как большая семья. Такая домашняя атмосфера и такие таланты! Настоящий пример единомышленников. Родственные по духу люди! Вы знаете, я ведь давно хожу в ваш театр и многое вижу. Это такое единение, такое взаимопонимание, взаимопомощь. Я всегда особенно сильно это чувствую! – тоненьким голоском, но неожиданно живо залопотала Катя. – Прямо, знаете, отогреваешься душой у вас. Мне кажется, это и есть настоящее искусство. Я, можно сказать, прихожу сюда пропитаться этой всеобщей любовью к театру. То, что вы делаете...

Ника хотела было ответить, что лично она ничего особенного

и не делает, но лишь кивнула:

– Спасибо большое. Так вы за билетами? Пойдемте в кассу.

– Я, собственно, на «Чайку» хотела. Не знаю, сколько раз была, сбилась со счета. Но такой замечательный спектакль... Сколько ни смотри, все мало.

Катя засеменила вслед за Никой и остановилась в дверях ее каморки. Нике хотелось, чтобы Катя прошла за угол, к окошку, чтобы стала как все, абстрактной зрительницей, не посягая на ее личное пространство, но попросить не осмелилась, не желая показаться грубой. А Катя все стояла в дверях:

– Чехов замечательный драматург, «наше все», правда? Вы как считаете?

– Конечно, – отозвалась Ника и неслышно хмыкнула: можно подумать, у этого вопроса мог существовать другой ответ.

– Это как Чайковский в музыке. Забавно, только сейчас заметила: Чехов, «Чайка», Чайковский... Какая-то связь между ними мистическая, не находите?.. И все на «Ч». Я ведь музлитературу в школе преподаю.

– Какой ряд, какое место?

– Что? – не поняла Катя. – Ах, вы про билет? Первый ряд, первый, ну что вы! Люблю видеть глаза. Самое важное у актеров – это глаза. А когда сидишь в первом ряду, чувствуешь даже дыхание. Видишь, как блестят от пота лица, и эти настоящие слезы, и... Они же живут, любят, страдают. Настоящая боль, ненаигранная! Пьеса – она как судьба, которая всем известна, прописана, и ее никак не преодолеть, и все они обречены действовать так, как предначертано. Заколдованные люди, и сколько бы раз они ни говорили, ни поступали – все равно конец предрешен. Но при этом ты осознаешь, что прямо перед тобой происходит что-то удивительное, такой накал, которого обычно... Обычно нет. Я имею в виду, в настоящей жизни. Вы понимаете меня?

Ника понимала. Но по непонятной причине слышать это из уст вдохновенной Кати ей было неприятно. Кивнув, она подала Кате билет. Та долго копалась в увесистой бесформенной сумке и, наконец, не спрашивая о цене, которую давно знала и так, протянула деньги.

– Вы такая хорошая, – призналась вдруг она, и ее белесые брови сошлись на переносице умильным «домиком». – Мне почему-то кажется, что мы с вами похожи.

Ника насторожилась. В прошлый раз Катина восторженная говорливость и доверительный тон окончились просьбой взять ее на работу в их театр. Тогда Ника объяснила, что, во-первых, ничего не решает, а во-

вторых, вакансий у них все равно нет. Сейчас она опасалась чего-то подобного.

Катя озиралась по сторонам:

– Вы меня извините... Можно мне попросить у вас воды?

Ага, началось. Пробормотав «конечно», Ника открыла тумбочку в поисках стаканчика, а обернувшись, обнаружила Катю опускающейся на стул у стены. Поерзав, она сползла на самый краешек и сложила руки на коленях. Желто-серый пуховик вздулся и сделал ее похожей на человечка-бибендума с логотипа «Мишлен», только без французской жизнерадостности. Ника молча налила из чайника воды и протянула стаканчик Кате.

– Я хотела вас спросить. Мне нужно с кем-то поделиться, а... Как я уже сказала, мне кажется, у нас есть что-то общее и вы можете меня понять. А вообще... мне больше не с кем поговорить... – все это она проямлила куда-то в район воротника.

– Катя, послушайте. Я ведь всего лишь...

– Вы любите кого-нибудь? Любите, я вижу, вы вздрогнули. Хорошо. Тогда вы уже понимаете меня. Я полтора года люблю одного мужчину. Я... полтора года назад умерла моя мама. Рак печени. Несколько лет я была рядом с ней, все время, выхаживала ее и ни о чем другом даже не думала. Какие уж тут мужчины со свиданиями! И, когда она умерла, я не знала, что мне делать. А потом появился он. Удивительный. Такой чуткий... Знаете, говорят иногда – «человек богатой душевной организации», так вот это о нем. Но он не знает, что я испытываю к нему, даже не подозревает. И еще он женат, но его жена совсем его не понимает. Не ценит, какой он... Он с ней несчастен, я знаю! Я вижу это в его глазах. Только он сам себе в этом не признается. А я, я могу только смотреть на него и мечтать. Это такое большое счастье, уже просто видеть его раз в неделю. Но ведь я живая женщина, а он живой мужчина, и я могу сделать его счастливым. Неужели я должна сидеть сложа руки, когда в моих силах все изменить? Сделать его счастливым. Я могу! Я знаю, что ему нужно, наверное, лучше его самого. Я узнала про него все, что только известно, и я понимаю его лучше всех других. Я буду служить ему, я буду для него верной подругой! Слышать его голос, говорить с ним каждый день... Какое это, наверное, наслаждение. А она... Зачем он ей?.. Жизнь проходит и уходит, и не могу же я, как моя мама, ждать, когда все закончится... Я хочу жить. Я столько лет жила и все думала, что когда-нибудь мне явится он, понимаете – Он? Я хранила себя для него, свою невинность. И теперь я знаю, что Он пришел, и надо просто дать ему знать, что я рядом... Он все

поймет.

Катя, выпалив все это, словно боясь, что Ника ее прервет, споткнулась на последних словах и сокрушенно замолчала. Через минуту она робко подняла глаза на Нику, мучительно ожидая ответа.

– Катя, я не вправе вам советовать. Кто я такая, чтобы советовать?

– Нет-нет, мне не нужен совет. Ответьте просто, что бы вы сделали на моем месте!

– Я бы сказала ему.

Ника произнесла это без раздумий, твердо и убежденно, и увидела, как Катя вся вспыхнула надеждой.

– Может быть, и правда, он несчастен с женой, – Ника пожала плечами, – и вы окажетесь той самой...

– Я окажусь. Я уже та самая, он просто не знает! – Катя мелко затрясла головой, выражая свое горячее согласие. – Это ведь все предрассудки, что женщины не должны признаваться в любви первыми! Мы должны! Любовь должна иметь голос, это ведь самое настоящее на земле, самое дорогое!

Несмотря на сочувствие и даже симпатию к Кате, Ника не могла избавиться от чувства неловкости, когда та начинала говорить так высокопарно, словно неудавшаяся копия тургеневских героинь.

Катя вскочила, бросилась к Нике и схватила ее руки:

– Спасибо вам, спасибо! Вы так мне помогли. Мне стало так легко! Теперь я знаю, что должна делать.

Несколько минут после ухода Кати Ника обдумывала свой ответ. Она настолько привыкла ни во что не вмешиваться, тихо коротать свое время в одиночестве, наблюдая течение жизни с берега, что откровения этой женщины выбили ее из колеи. Надо же, подумалось ей, насколько безусловно, безоговорочно Катя уверена в том, что необходима этому своему неведомому возлюбленному. Как маленькая планетка, готовая вращаться на орбите обожания... Что ж, возможно, признание действительно сделает Катю и ее мужчину счастливее, и тогда в Никином ответе нет ничего предосудительного. В конце концов, Нике даже понравилось почувствовать себя ненадолго добрым ангелом – чужой любви.

Выглянув из окошка кассы, Ника увидела расхаживающего по холлу Реброва. Немного несуразный, с грушевидной рыхловатой фигурой, сейчас он говорил по телефону, заметно нервничая, и то и дело вытирал рукой лысину:

– Как урезали? Но нам говорили... да-да, я в курсе, но... А к кому

по этому вопросу обратиться? Спасибо.

По окончании разговора вид у администратора был такой, будто прихватило живот. Опершись на подоконник, он обстоятельно отгрыз две заусеницы, встрепенулся и исчез в коридоре. Не прошло и пяти минут, как оттуда пулей вылетела Липатова, запахивая на ходу шубу.

– Я в управу. Опять эти идиоты что-то мудрят! – бросила она в сторону Ники и выскочила за порог. Тут же вернулась и сунула Нике в окошко бланк. – Передай Борису, пусть сам забирает свой костюм из химчистки. Вот квиток. Некогда мне еще с ним...

Про себя Ника заметила, что Лариса Юрьевна зачастила ходить по инстанциям, то в мэрию, то в управу. Однако это не повод для беспокойства, напролом или окольными путями – Липатова всегда решала проблемы, значит, и сейчас выкрутится.

В шесть вечера в дверях кассы вдруг снова появилась Катя. Ника как раз сложила бумаги аккуратной стопкой, собираясь перейти в гардероб, как и всегда перед спектаклем, и никак не ожидала увидеть женщину так скоро. Катя держала перед собой большой букет в гофрированной бумаге и улыбалась Нике чуть заискивающе.

– Катя, это вы... – слово «снова» она решила не добавлять.

– Я обдумала наш утренний разговор и еще раз убедилась в том, что вы правы. Я в вас не ошиблась, – заявила та торжественно. Сделала торопливый шаг к столу и положила перед Никой коробку недорогого «Ассорти». – Это вам.

– Что вы, не нужно...

– Подождите. Я же говорю, что все обдумала, и я... Словом, мне нужна ваша помощь.

С этими словами Катя достала из сумки конверт, огладила его ладонью и положила поверх коробки конфет:

– Вот. Вы передадите? Письмо. Ему.

– Кому «ему»? – Ника оторопела. Катя нетерпеливо качнулась вперед:

– Да как же! Ему! Борису... Стародумову.

Заветное имя она произнесла с придыханием. Ника замерла и только в эту секунду осознала, что именно насоветовала поклоннице. Признаться в любви актеру, в которого та давно влюблена и который, между прочим, муж худрука!

– Нет, нет, нет... Исключено.

– Но...

«Решила поиграть в наперсницу? Добрый ангел, как же! – Ника ужасно разозлилась на себя. – Получай. Три года в театре, а все

не научилась распознавать...» Она встала и направилась к выходу из комнаты, уводя Катю за собой.

– Послушайте. Вы хотели поговорить, мы поговорили. Но ничего больше я для вас сделать не могу. Даже не просите. Это ваше дело, и только ваше.

Улыбка слиняла с Катиных губ. Женщина уткнулась глазами в пол, Ника решительно заперла свою комнатку на ключ и вздохнула. Катя явно ждала, что Ника сломается, но сочувствие еще не делало их подругами до гроба.

– А вообще вы правы, – пробормотала Катя. – Я просто положу письмо в букет и вручу. Зачем выдумывать сложности, правда? Но конфеты все равно вам!

И она торопливо отошла. Опустошенная, Ника зажмурилась так, что перед глазами замелькали яркие мушки, и побрела к гардеробу.

Шуршали конфетные обертки и целлофан редких букетов, всюду раздавался людской говор, слитый в единый поток. Во время антракта в фойе и буфете было полно народу. Ника особенно любила антракты, потому что ее присутствия в гардеробе почти не требовалось, и на это время ее часто подменяла Марья Васильевна. А сама она могла скользить в толпе, незамеченная, являясь одновременно и незнакомкой, и своей. Своей для зрителей, которых половина спектакля уже успела объединить и окрасить в общее настроение, своей для переводящих дух актеров за кулисами. Ей нравилось хватать обрывки фраз, брошенных вполголоса, и сразу определять, кто из зрителей восторженный поклонник, кто заядлый театрал, кто жаждет блеснуть образованием и культурностью перед спутниками. Она не любила снисходительный тон некоторых замечаний и, заслышав такое, замедляла шаг и бросала внимательный прямой взгляд в лицо критику, словно спрашивая с укором: зачем вы так говорите? Впрочем, она признавала, что каждый вправе высказывать что вздумается, но, несмотря на это, ревниво реагировала на выпады в адрес труппы и театра, а от любой похвалы чувствовала сердечную дрожь, будто хвалили именно ее. Во время спектаклей и антрактов она по-особенному чувствовала свою принадлежность театру «На бульваре» и сопричастность всему, что тут происходит.

Сегодня ей снова довелось давать звонки, правда, только после антракта. Дав второй звонок, она юркнула к распределительному щитку, что висел на стене в части заднего коридора, соединяющего грим-уборные с закулисным пространством, и повернула рубильники, наполовину

приглушив свет в фойе и переходах, словно советуя зрителям вернуться в зал.

– Через две минуты третий звонок! – громко и безадресно произнесла она в гулкую кишку коридора, изрезанную черными тенями и желтым светом из распахнутых дверей примерок. – Артистам приготовиться.

И только тут спохватилась, замерла: ее ведь наверняка слышал и Кирилл. Непростительная оплошность! Надо быть поаккуратнее.

Как назло, первыми у кулисы оказались как раз Мечников и Сафина: с беседы Тригорина и Маши начиналось второе действие. Ника замерла, вжавшись в стену у рубильников, мимо прошелестела длинным подолом глухого черного платья Леля, и Кирилл, одергивая полы темно-синего сюртука, прошел совсем рядом, едва не задев девушку плечом в тесноте коридора – призраки минувшей эпохи. Вместо ставшего привычным аромата его парфюма Ника ощутила болгарскую розу: он нес на себе запах Риммы как ее клеймо. Нику Кирилл заметил, вежливо кивнул и поспешил вслед за Лелей на сцену – к поднятию занавеса они оба должны были находиться там. По голосу он ее не узнал, и Ника сглотнула застрявшее в горле сердце.

Остальные по-прежнему ждали в своих комнатках. Система трансляции звука со сцены в гримуборные, липатовская недавняя добыча и гордость, ощутимо облегчила жизнь и актерам, которым теперь не надо было напрягать слух, чтобы услышать реплику на свой выход, и Реброву с Липатовой, контролировавшим этот процесс прежде. Сразу после того, как занавес был поднят, в коридорчике с чемоданом в руках появился юный актер, недавний выпускник училища, играющий Якова. Он переживал, что пропустит нужный момент, и предпочитал подбираться к кулисам заранее.

Ника заслушалась разговором Тригорина с Машей. Слова от многократного повторения она знала не хуже актеров, но, привыкшая к их звучанию из уст Зуева, теперь невольно сравнивала их с манерой Кирилла. Тригорин Зуева был хлыщеватым и недалеким, а у Мечникова выходил тоскующим.

Какое-то непривычное пиканье, похожее на позывные радиостанции «Маяк», коснулось Никиных ушей, и она отвлеклась от размышлений.

– Где Римма? Нам выходить через четыре реплики... – взволнованно прошептал «Яков». Повинуясь смутной, едва ощутимой тревоге, Ника поспешила к примерке. Звук позывных сменился аккордами, становясь по мере ее приближения все громче, и девушка уже различала бодрый советский мотив. Она распахнула дверь.

– Вы слушаете «Пионерскую зорьку». Здравствуйте, ребята! – донеслось из транслятора вместо чеховского текста из спектакля. Ника задержалась на пороге, глядя на бледное даже под тональным кремом лицо Риммы. Губы у актрисы мелко тряслись.

– Римма, что случилось? Тебе на сцену, – Ника подбежала к ней и схватила за холодные руки. Римма перевела на нее глаза, полные слез:

– Это она. Она выбрала меня. Пионерка...

– Тебе сейчас на сцену. На сцену, понимаешь? – твердила Ника, и сама чувствуя, как от веселой пионерской песенки по загривку пробегает дрожь. Она торопливо выкрутила звук транслятора на минимум, и в тишине стало слышно сбитое паническое дыхание Корсаковой.

– Это она, она чего-то от меня хочет... – Римма обеими ладонями зажала рот. Ее глаза были полны ужаса.

Ника выскочила за дверь, соображая на ходу. Первым делом – к кулисам.

– Что, что там? Где она, идет? – бросился к ней «Яков».

– Ваш выход когда, сейчас? Иди, – приказала Ника. – И дай понять ребятам на сцене, чтобы тянули время!

– Как, я...

– Пошел.

Она легонько подтолкнула паренька, и тот, с вытаращенными глазами, шагнул в свет рампы, чуть не уронив чемодан. Ника ринулась обратно. Сейчас Римма уже должна была стоять на сцене и молча смотреть через окно в нарисованный на заднике сад: от появления Нины Заречной до ее первой реплики Тригорину в этом действии всего восемь чужих предложений. Значит, в самом экстренном случае у Ники всего восемь предложений, чтобы привести Корсакову в чувство.

С узкой пожарной лестницы спускались, придерживая длинные подола, Мила и Света Зимины. Не тратя времени на объяснения, Ника ворвалась в грим-уборную.

– Римма, милая, давай, собирайся. Тебе бы уже на сцене быть! Вот, попей водички, – девушка поднесла к губам актрисы стакан воды и, придерживая рукой ее затылок, почувствовала, что пальцы скользят по взмокшей под волосами коже. – Римма!

Нашарив на столе салфетки, Ника промокнула ей шею и лоб и, не зная, что еще сделать, набрала в легкие воздуха и принялась дуть в перекошенное лицо.

– Она придет за мной, да? – беспомощно пробормотала Корсакова, почти не замечая Никиного мельтешения, будто смотрела в вечность.

– Римма, ты готова? Пойдем, давай-ка! – Ника дернула Римму за руки, и тут уж спохватившиеся Зимина с Кифаренко помогли той встать. Все четверо вышли в коридор, Римма испуганно озиралась.

– Сейчас ты выходишь на сцену, встаешь у окна, – объясняла Ника торопливо. – Сафина говорит «Прощайте» и уходит. Твоя первая реплика... эээ... что же там... А, «Чет или нечет». Помнишь? Давай!

Как сомнамбула, Римма вышла на подмостки и побрела к окну. Ее заливал свет софитов, и уже ничего нельзя было сделать ни для нее, ни для спектакля. Заметив появление коллеги на сцене, Леля повернулась к Кириллу и подала ему последнюю реплику:

– Только не пишите «многоуважаемой», а просто так: «Марье, родства не помнящей, неизвестно для чего живущей на этом свете». Прощайте!

Оказавшись за кулисой, Леля тут же сбросила трагическое смирение своей героини, как будто в ней рубильник передернули:

– Что за дела с Корсаковой?

Ника только покачала головой, а Светлана и Мила пожали плечами. Все замерли, ожидая, когда на сцене заговорит Римма. Но та молчала.

– О боже, – процедила Леля, вцепившись пальцами в полотно кулисы.

На сцене Римма продолжала молчать, вперившись взглядом в декорацию. Время уходило. За кулисами Мила стиснула руку подоспевшего брата, а Ника зажмурилась: «Давай же, давай. Чет или нечет. Ну, вспоминай, чет или нечет...»

Пауза затягивалась, превосходя все мыслимые лимиты. Кирилл, которому по роли полагалось сидеть в кресле, встал, тактично покашлял, наполнил из хрустального графинчика стопку и выпил – по тексту это была водка.

– Это вы, – бесстрастно обратился он к Римме, дополняя Чехова от себя. Его глубокий баритон, даже вполсилы, легко перекрыл пространство зрительного зала, добираясь до каждого уголка. Римма отмерла, ее взгляд приобрел осмысленность. Ища опоры, она встретила глазами с Кириллом, и Ника, стоя в группке взволнованных актеров, в самой тени, затаила дыхание.

– Чет или нечет? – Римма протянула Мечникову-Тригорину сжатую в кулак руку.

– Аллилуйя... – выдохнули за кулисами.

Назавтра все были как на иголках. Ника не распространялась про «Пионерскую зорьку» и вообще предпочла держаться ото всех подальше, не привлекая к себе ненужного внимания. Происшествие

в женской примерке было необъяснимо, транслятор, который проверили сразу же после выхода на поклон, еще вечером, работал исправно и подавал звук со сцены безо всяких искажений. Обитатели театра нервничали и бегали курить и судачить на пожарную лестницу, ведущую на крышу через чердак, пока Липатова, почувствовавшая дым, не устроила всем грандиозный разнос.

Во вчерашнем сумбуре Ника и думать забыла про стародумовскую поклонницу Катю. Она не видела, преподнесла ли та букет с письмом, – дела были и поважнее. Да и вряд ли письмо причинит Стародумову какой-нибудь вред, он знал времена и более славные, когда поклонницы роем вились вокруг служебного входа Театра имени Пушкина, где он тогда служил.

Липатова с самого утра сидела «у себя». Она вызывала поочередно Римму, Реброва, бухгалтершу, а ее супруг в буфете то и дело заваривал в ее чашке новую порцию растворимого кофе и носил в кабинет. Ника замечала, как шепчутся актеры, обсуждая вечерний спектакль и взвинченного худрука, и слышала, как Кирилл на заднем ряду кресел в зале успокаивает возлюбленную:

– Может быть, тебе просто почудилось? Услышала чей-то телефонный рингтон...

– Хочешь сказать, я не отличу звонок от радио? Звук шел прямо из транслятора. Я знаю, это – Она. Ее душа до сих пор не обрела покой и теперь терзает меня. Та пионерка, девочка Нина. Звук шел прямо оттуда, и шум такой, как...

– Помехи?

– Как с того света. Потусторонний. Не веришь мне – спроси у других.

Ника остановилась неподалеку, делая вид, что сортирует программки к спектаклям. Она боялась, что сейчас, вот в этот самый момент, Корсакова призовет ее в свидетели – ведь в примерке во время «зорьки» они были вдвоем. Кстати, насчет помех «с того света» Римма успела присочинить.

– Римм... – мягко начал Кирилл. – Привидения? Ты действительно в это веришь?

– А как тебе такой вариант... – к ним подскочила неунывающая Мила Кифаренко. – Транслятор ведь ловит радиоволну, как рация? Может, просто произошел сбой и он с нашей волны переключился на чье-то радио неподалеку?

– Откуда такие познания в радиотехнике? – ласково улыбнулся ей Кирилл. Она радостно и беззастенчиво сверкнула мелкожемчужными зубами:

– Павлик когда-то ходил в кружок юного радиолюбителя. А мы все делаем вместе.

Римма смерила Милу уничижительным взглядом и зашипела:

– Вы меня совсем за дуру держите? На дворе двадцать первый век! «Пионерская зорька» по радио, что, серьезно? Шла бы ты, Мила, в другое место образованием сверкать! Выискалась, тоже мне!

– Римма, – Кирилл опешил от ее грубости. Мила как-то неловко дернула головой, хрюкнула и выбежала из зала.

Через несколько минут, пересекая фойе, Ника заметила ее вместе с братом на верхней галерее, откуда, если верить легенде, сорвалась маленькая пионерка. Рослый Паша, опершись рукой о колонну и опустив белокурую голову, напоминал не то атланта, не то ветхозаветного Самсона, готового обрушить опоры филистимской темницы.

– Я прибью эту стерву, – пообещал он.

– Не надо... – Мила прерывисто вздохнула.

– А ты не давай себя обижать! Мильчонок... Еще и реवेशь сразу. Такая ты у меня чувствительная.

Или это потому, что у тебя критические дни скоро?

– Иногда мне страшно: ты знаешь про меня все, вплоть до моего цикла, – шмыгнула носом Мила и положила голову на его широкую грудь. Паша обнял ее за тонкие, словно вафельные плечики:

– Я же твой брат. Я за тебя отвечаю.

– Ага, и еще мы живем в одной квартире.

– И это тоже, – со смехом согласился он. Но в эту секунду вдоль коврового языка, расстилающегося поперек фойе, процокала каблукочками Римма, и взгляд, которым проводил ее Паша, не сулил ничего хорошего.

Ника опасалась давать волю размышлениям. Отвлечшись на мгновение, она снова и снова рассыпала свои мысли во все стороны, как сахар по линолеуму, – тревожное ощущение дробности, прилипчивости и невозможности собрать назад... Возможно, пионерский галстук был случайностью, хотя она так и не узнала, откуда он взялся в театре. Хорошо, допустим, забыл кто-то из зрителей. Она предпочитала не домысливать, что это за зритель такой... Но «Пионерская зорька» по внутреннему транслятору – это-то как объяснить? И в какой области искать объяснений? Мистика? Теория вероятностей? Маловероятно. Невероятно.

Римму не отпускала нервозность. Она будто вознамерилась заставить весь театр вертеться вокруг собственной персоны, отчитывала, советовала. Даже принялась перечить Липатовой из-за какой-то ерунды. Шоколадка («Только не бери молочный, непременно горький, чтобы какао не меньше

72 процентов!»), с трогательной готовностью купленная Кириллом в подвальном магазинчике за углом, не сделала ее счастливее, а чай с мятой и тимьяном – спокойнее. Римма то начинала всхлипывать, то, наоборот, беспричинно срывала злость на кого-нибудь, как это получилось с Милой. За этот день симпатия, которую некогда Ника испытывала к Римме, испарилась дочи́ста, оставив разве что пыль сожаления, белесую и поскрипывающую, как морская соль на горячем валуне. Никакой жалости – она сочувствовала лишь Кириллу, который так терпеливо выслушивал сетования, был так выдержан и покладист, так предупредителен, что, кажется, единственный не переметнулся в лагерь противников Риммы. Наблюдать за этим было приторно-горько, и, несмотря на ревность, сердце Ники сжималось от нежности при виде его ненавязчивой заботы, обращенной к другой женщине.

В довершение всего, уже после репетиции новой постановки, Корсакова поднялась по улитке винтовой лестницы, ведущей от гримерок на чердачную площадку, и довольно резко высказалась Сафиной, Зиминной и Трифонову по поводу дыма, который сквозняком тащит отсюда прямо в гримерки:

– У меня чувствительные легкие. И, по-моему, два часа назад Лариса Юрьевна выразилась предельно доходчиво!

И тут Леля, весь день хранившая свою обычную ледяную невозмутимость, глубоко затянулась, с силой ввинтила окурков в бетонную ступеньку, на которой сидела, встала на ноги и выдохнула густой серебряный дым прямо в удивленное и красивое лицо.

– Можешь бегать, ныть, канючить, если так нравится. Душу мотать всем подряд. Но это не изменит того факта, что вчера ты облажалась, и все второе действие мы играли с тобой, как со стенкой для тенниса. И гораздо действеннее было бы попросить прощения.

– Лель, – Трифонов дернул ее за рукав. Раньше Сафина ни за что не разрешила бы себе выпад в адрес коллеги, и Даня был озадачен такой необъяснимой переменой. Но Леля даже бровью не повела. Возвышаясь на одну ступень над Корсаковой, она смотрела сверху вниз, не мигая, как смертоносная анаконда. Римма вытаращила глаза и заливалась краской.

– Ты просто слила спектакль, ты это понимаешь? – Сафина повысила голос. – Мы как на детском утреннике выступали. Позорище.

– Что, кто-то умер и ты унаследовала трон? – огрызнулась Римма, запоздало спохватившись. Глаза ее сузились, как у кошки. Несмотря на растерянность, позволить Сафиной унижать себя она не могла. Но ту было не остановить, уже пошла цепная реакция.

– Зрителям нет дела до наших проблем, неурядиц, всего этого дерьма! Они приходят в театр на спектакль. А мы всего лишь проводники. И у нас не может быть недомоганий, не может быть никаких косяков, срывов, понимаешь ты это? У тебя даже голова не может разболеться. И температура под сорок не оправдание. Если, конечно, ты называешь себя актрисой. Актеры даже подышают на сцене! А тебе вчера были нужны суфлер и валерьянка!

– Вот только не надо из себя строить... Сару Бернар!

– Лучше Сару Бернар, чем вздрюченную истеричку, – припечатала Леля, давая понять, что разговор окончен. Она шагнула вниз с таким грозным видом, что Римма отшатнулась и пропустила ее без единого возражения.

После репетиции стала известна новость, расшевелившая их осиное гнездо даже сильнее, чем ссора двух актрис. Муниципалитет урезал финансирование, и театр «На бульваре», и так едва державшийся на плаву, оказался на грани полного краха. Объявив это, Липатова, не будь она так подавлена, вполне могла бы запечатлеть на будущее эту немую сцену в своей памяти: на тот случай, если придется ставить финальную сцену «Ревизора». Ника тут же вспомнила и нервозность худрука в последние дни, и визиты по инстанциям и чиновникам, и бутылки коньяка, которые худрук таскала к ним в своей мешковатой сумке – в качестве «приятного презента».

– А новая постановка?

– Мы можем позволить себе нашу Троию?

– А зарплаты?

– А костюмы? – сыпалось на Липатову со всех сторон. Она с каменным лицом смотрела в окно на двор, где мусоровоз с грохотом опустошал мусорные баки. Один из пакетов порвался, и на асфальт хлынула хлопьями старая штукатурка вперемешку с обрывками обоев и обломками деревянных реек – строительный хлам, принесенный в жертву будущему уюту.

– Господа, – попытался утихомирить присутствующих Борис Стародумов, поняв, что жена не собирается этого делать. – Вопрос еще решается. Я думаю, не стоит видеть все в багровых тонах.

– Вот только не надо лжи, милый, – Липатова допила кофе, поморщившись так, что Ника заподозрила: в кофе вполне мог быть и коньяк, который, она знала, хранится в третьем ящике липатовского стола. – Вопрос уже решен, и если ни у кого нет идеи, как нам выкрутиться,

не зашибая монету у метро, то конец уже не за горами.

Раздалось тактичное покашливание, и Ника с мурашками у затылка услышала слова Кирилла:

– Вообще-то есть.

Все тут же обернулись к нему. Кирилл стоял небрежно облокотившись на крышку рояля и постукивал ладонью о лакированную поверхность, выбивая одному ему ведомый ритм. Ника невольно улыбнулась: раз Кирилл не видит поводов для тревог, то и ей не стоит беспокоиться.

Впрочем, ее доверчивый настрой разделили не все. «Как, скажи на милость, он сможет это уладить? Разве что он по совместительству директор банка», – пробормотал Трифонов Леле. Липатова не пригласила Кирилла в кабинет вместе со Стародумовым и Ребровым. Остальных распустили до завтрашней репетиции – при условии, что она все же состоится.

Совещание затягивалось. Ника, не в силах усидеть на месте, поминутно выходила в фойе и коридор, ведущий к кабинету худрука, и прислушивалась. Через западные окна театр заливал мрачный бордовый свет ветреного февральского заката, небо было исполосовано красным и фиолетовым, и стекла содрогались от шквалистых порывов. По тротуарам и над сугробами то и дело проносились пустые пакеты, обертки, куски картона, и все это взметалось в воздух в изломанном и бессмысленном танце. Люди шли сгибаясь и склонив головы, придерживая капюшоны и пытаясь заслониться от свирепого ветра кто портфелем, кто рукой. В такую погоду немногие доберутся до здания на бульваре, чтобы купить билет на спектакль, решила Ника.

Спектакль... Сколько их еще осталось сыграть здесь? А вдруг идея Кирилла не так уж хороша, а сам он не всемогущ? Ника впервые допустила вероятность того, что ее жизнь продолжится без этого театра. Без молчаливого рояля, битого молью бархата пурпурных кресел, запаха пыли и пудры, без оторванных корешков билетов и стеклянной перегородки с черными буквами «КАССА», которую она протирала фланелью каждый вторник, и без половичка на паркетном полу буфета, скрывавшего огромную щербину от опрокинутого однажды глиняного вазона с драценой – земля тогда разлетелась от порога до самого окна. Несмотря на то что сама Ника была для театра не важнее вешалки или углового золоченого торшера, театр занимал важную часть ее жизни. Всю ее жизнь, если признаться честно. Ее надежное убежище, ее приют. Дом, где каждое утро солнце не просто встает – оно переступает порог, в пальто и с растрепанной темной шевелюрой. Если детище Липатовой перестанет

существовать, все обитатели его разлетятся кто куда и Ника, возможно, никогда больше не увидит Кирилла Мечникова. А сама Липатова – каким ударом это станет для нее!

Ника снова прошла по коридору, ворс ковра заглушал шаги. И тем громче прозвучал жалобный вздох из приоткрытого проема зрительного зала. Ника вздрогнула. Она точно знала, что все театралы покинули здание, за исключением тех, кто остался в кабинете Липатовой. Мысли зашевелились и тут же приняли зловещее направление. Что, если Римма права – немного, отчасти? Немыслимо. Призрак? Нет-нет, прочь суеверия!..

Вздох повторился. Тихий, шелестящий, с присвистом в самом конце. Ника стиснула зубы и выглянула из-за портьера, наискосок прикрывающей вход в зал, внутренне уже приоткрывшись увидеть ее. Маленькую призрачную девочку, полупрозрачную, в гольфах, собравшихся складками под коленками, и белом переднике. В галстук, с простертыми вперед руками и, наверное, с зияющей раной на лбу или затылке – смотря как она падала с галереи, вперед лицом или на спину. Из всех историй про привидения в детстве Нике нравились только те, в которых люди помогали им найти упокое, и сейчас она шагнула в холодный сумрак затаившегося зала с рядами кресел, готовая, – убеждать, утешать, помогать. Как иначе спастись и избавиться от того, кто и так уже мертв, она не представляла.

Когда глаза привыкли к мраку, Ника осторожно огляделась. Словно нарочно пугая, одно из пустующих откидных сидений вдруг поднялось с сухим хлопком, и из-за него неторопливо вышла кошка Марта, та самая бродяжка, которую театралы недавно приютили. Зрачки животного вспыхнули зеленым огнем, заблестели, как монетки, данные мертвецу на переправу в иной мир.

– Ника... – едва слышно зашуршало где-то справа. И Нику, до этой секунды уговаривавшую себя, что бояться живых следует больше, чем мертвых, все-таки прошиб липкий пот.

– Д-да? – она словно во сне повернула голову, силясь рассмотреть зовущего. В кресле седьмого ряда, вполоборота к ней, шевельнулась темная фигура, слишком большая для призрачной пионерки. Ника нахмурилась.

– Хорошо, что ты пришла... Одной мне как-то не по себе.

Это была Лизавета Александровна Рокотская. Ника с облегчением подошла и присела рядом:

– Вы что тут в темноте?

– Да... вот... – выдохнула дама через силу. Ника заподозрила неладное и сжала ее цепкую сухую руку:

– Вы себя хорошо чувствуете?

– Не особенно, – Рокотская осторожно глотнула воздуха и потерла грудную клетку костяшками пальцев. – Там, в гримерке, сумка моя...

Ника, понятливая и перепуганная, обернулась меньше чем за минуту и застала актрису все в той же позе, с неестественно напряженными плечами и рукой у груди, словно та хотела вырвать что-то, мешающее дышать. Вспыхнувшая в зале люстра озарила заострившееся лицо и сжатые губы в неприятной лиловой обводке. Рокотская положила под язык таблетку.

– Ничего, сейчас полегчает.

– Лизавета Александровна, я вызову «Скорую»!

– Нет! – властно осадила ее Рокотская на полпути к дверному проему. – Никакой «Скорой», никаких врачей, и точка.

– Но вам плохо...

– Нечего тут обсуждать. Хочешь помочь, так посиди рядом, а нет – я никого не держу, ступай.

Такой жесткой, с каркающим непререкаемым голосом, Ника наблюдала Лизавету Александровну впервые. И неожиданно для самой себя покорилась и опустилась в кресло по соседству. Снова взять Рокотскую за руку она не решилась, но искоса продолжала следить за биением сизой жилки у нее на виске, словно это могло сообщить нечто важное. Пожилая дама не глядела на нее и то и дело рассеянно касалась рукой любимой подвески в виде песьей головы, на черной ленточке висящей у горла.

Через некоторое время, проведенное в гробовом молчании, Рокотская повернулась к девушке с привычным лукавым огоньком в глазах:

– Пошли, что ли, чаевничать?

Они обосновались в Никиной каморке. Несмотря на собственное предложение, Рокотская благоразумно обошлась без черного чая и меленькими глотками изящно отхлебывала из чашки горячую воду:

– Помню, в общежитии, на первом курсе, приходят к нам в комнату ребята. Дайте, говорят, нам, барышни, горстку чаю. Я отвечаю: а мы вместо чая «белую розочку» пьем! А они мне: что за «белая розочка», и нам дайте... Это мы так в студенчестве кипятков называли, «белая розочка». На заварку стипендии уже не хватало, важнее было тушь купить да помаду. Искусство требует жертв! Косметичка одна на восемь девушек с актерского, в складчину, зато полный комплект, и румяна, и даже пудра французская, одной генеральской дочки.

– Вы как себя чувствуете?

– Ох, вот ты неугомонная, – актриса махнула на Нику. – Хорошо я, хорошо. Уже и забыла. И тебе советую.

– Как я могу забыть? – волновалась девушка. – У вас был сердечный приступ. Неплохо бы «Скорую»...

– Неплохо бы коробку монпансье, но мечтать не вредно. И кстати, неправильно говорить «сердечный приступ», звучит как-то не очень. Надо говорить «сердце прихватило, сейчас отпустит».

Ника сокрушенно вздохнула:

– И давно у вас так... прихватывает?

На узких губах, уже вернувших розоватый оттенок, заиграла улыбка:

– Смотря что считать «давно». Пару лет, с прошлого инфаркта.

Рука ошеломленной Ники сама собой легла на телефонную трубку, но Лизавета Александровна проворно перехватила ее своей пергаментной, на удивление сильной ладонью. Ника рассердилась:

– Знаете, что? Так нельзя! Я и не знала про инфаркт!

– Из позапрошлого отпуска я вернулась на две недели позже, может, помнишь? Так вот, это был не пансионат в Евпатории, как все думают...

– А если с вами сегодня что-нибудь случится?!

– Не помру, не боись, – хохотнула Рокотская беспечно.

– Давайте хотя бы позвоним вашим родным. Детям? – продолжала настаивать Ника. Рокотская покачала головой:

– Не думаю. Ника, бог с тобой, все в порядке. Не болит, не давит, дышу хорошо, вдох-выдох. – Она продемонстрировала. – Детям незачем знать. Ну позвонишь ты им, ну примчатся.хлопотать начнут, невестка будет вздыхать и причитать. Привезут меня к себе, а у меня дома кошка останется некормленная. И что толку? Назавтра все на работу отчалят, а я приеду сюда. Скажи, есть польза от твоих звонков? А так я домой доберусь, в свою квартирку, никто вокруг меня не суетится – красота. Соседка Неля – медсестра. Если что, я ей в стену стукну, она тут же примчится. У нас с ней давний уговор. Она мне и уколы делает.

– Только я вас тогда провожу до дома.

– Это уж как тебе будет угодно, – колючие глаза Лизаветы Александровны смягчились, она пожала плечами и ощутимо подобрела, расслабилась. Оглядела комнатку, завешанные старыми афишами стены, казенно-серый куб сейфа, легкомысленный абажур настольной лампы, к которому Ника прошлой зимой прикрепила полторы сотни разномастных пуговиц на шнурках, на манер бахромы, и, наконец, взяла в руки Никину чашку:

– На тебя похожа. Снаружи неприметная, а внутри яркие ромашки. Вот так и все мы. Не те, кем кажемся, и не те, кем прикидываемся. Знаешь, у меня уже Володя, внук, недавно семьей обзавелся... А я все не смирилась с тем, что я бабушка. Не хочу быть бабушкой. И еще бессонница... Иногда, особенно летом, когда ночами не спится, я выхожу на лоджию... У меня там всегда летом левкой цветут, такой по ночам запах от них, дурманящий. Открываю окно и подолгу смотрю во двор. Люди ходят. Чаще все по мобильным разговаривают. Молодежь пиво пьет на детской площадке и обнимается, к родителям возвращаться не хотят. Помнишь, как у Есенина? «Так же девушки здесь обнимают милых, до вторых до петухов, до третьих...» Я все думаю, наверное, это те самые ребята, что лет десять назад там куличики пекли и в песке копошились. И понимаю, что для меня ничего не поменялось. Ночи летом все такие же колдовские, тополиный пух летит, и мечтать хочется. Все та же свежесть, во всем, и запахи чувствую, и настроение. У каждой ночи ведь собственный тон, неслышное звучание... И я все та же. На парней по привычке заглядываюсь. С новеньким нашим болтаю, с Кириллом, и сама себя ловлю на том, что вот-вот кокетничать примусь. Больно уж он хорош, этот наш мальчик-с-секретом... А потом глаза-то опускаю, на руки свои. А руки морщинистые. И в зеркале я старуха.

– Вас язык не повернется назвать старухой, – не согласилась Ника.

– Язык, может, и не повернется, а так оно и есть. Старуха. В зеркале. А внутри все та же. Так что не надо внукам звонить. Для них я ходячая древность. Вот пусть так и остается. И от моей «ходячести» я отказываться не собираюсь, она моя и ничья больше. Я актриса, моя жизнь здесь, а не в больничном крыле с ходунками и капельницей на колесиках. Так что держу марку и тебе советую не киснуть! А то еще будешь жаловаться, как наша красавица... Хотя нет, не верю, что ты способна расклеиваться, как она. Это целое искусство – так впадать в отчаяние. Даже не переигрывает – загляденье!

Ника заколебалась:

– Думаете, это игра... Мне кажется, ей правда не по себе. А вы... Вы верите в привидения?

Лизавета Александровна усмехнулась.

– Я прослужила в театре всю жизнь и знаю огромное количество баек. Были там и проклятия, и порчи, и несчастливые спектакли, и любовные зелья, и еще полно всякой чертовщины. Были и призраки, начиная с Ермоловой и заканчивая сторожем, который бродит по закоулкам театра после того, как его переехал экипаж тамошнего антрепренера. Но лицом

к лицу с привидениями я не сталкивалась ни разу. Зато множество раз встречала человеческую зависть. Которая может быть очень изобретательна и эффектна, уж поверь. И кстати, собирайся, нам пора. Наши руководители и вдохновители давно ушли, а ты и не заметила...

## Явление шестое

### Перипетия

Ходили слухи, что Кирилл, как и обещал, нашел спасение для театра. Что-то связанное со спонсорской помощью от его знакомых – подробности не оглашались, и все замерли, напряженно ожидая, когда одна из чаш весов опустится, знаменуя итог, благословение или крах. Липатова со свойственным ей упрямством не отменила ни единой репетиции нового спектакля, хотя костюмерша Женечка, уже чертившая в альбоме эскизы костюмов, не торопилась на оптовый склад тканей за покупками. И в этом актеры видели тревожный, парящий надо всеми знак вопроса.

В репетициях Ника вдруг распознала подобие групповой терапии. Лариса Юрьевна была достаточно опытна, чтобы сообразить, что работа вполсилы внесет лишь большую сумятицу в души ее подопечных, поэтому она, никого не щадя, требовала выкладываться в полную мощь. Подглядывая за ходом репетиции, Ника с волнением видела, как быстр и полон ярости Кирилл, уже и не Кирилл вовсе, а решительный Гектор, уверенный в собственной способности предотвратить надвигающуюся войну. Он являлся полной противоположностью Римме, играющей Елену, которой Липатова наказала быть как можно более плавной, соблазнительной и засасывающей, как черная дыра. Каждое его движение – нарочито резкое, удар меча, каждое ее – мягкость и пелена преступной, обволакивающей безмятежности. Кирилл распластывался на полу, вскакивал, карабкался на металлическую конструкцию, еще не скрытую фанерными очертаниями крепостной стены Трои, и прыгал вниз, так стремительно, что Ника затаивала дыхание. По непонятной причине она боялась за него, словно чувствуя какую-то слабость, но где, в чем – не могла определить. А он поднимался на ноги и уже снова был готов идти до конца.

Ника упрекала себя. Ей бы наслаждаться его игрой, его самоотдачей, но полностью увлечься мешало волнение, она замечала едва уловимую дрожь, пробегающую по его лбу, – от каких-то тайных усилий, моральных или физических. В этом она не могла помочь, как бы ни желала. Но она видела, как его босые пятки и ладони сереют от налипающей на них пыли – на сцене было грязно, и это заставляло Нику чувствовать досаду. Вставая со сцены, Кирилл бездумным движением смахивал пыль с холщовых

штанов, а ей тут же мерещилась его мать, которая когда-то могла бы присесть рядом на корточки и отряхнуть колени малютки-сына, – но так никогда этого и не сделала, даже не осознав, несчастная, чего лишилась.

В один из дней Ника пришла на час раньше и, вооружившись тряпкой, ведром воды и флаконом чистящего средства, отдраила сцену дочиста. Просить тетю Веру она не хотела: это действие доставило ей несказанное удовольствие, еще более острое оттого, что проделано все было втайне. Еще один в шкатулку ее трепетных секретов. Касаясь пальцами поверхности сцены, составленной из затертых квадратов старого ДСП (поворотного круга на их сцене не было), она думала о больших ступнях с торчащими в стороны мизинцами, которые скоро пробегутся по ней, и зорко отыскивала занозистую щепку или блестящую шляпку вылезшего гвоздя. К приходу Липатовой все стало идеально, и даже молоток успел вернуться в деревянный ларь с инструментами, под шаткий стеллаж в реквизиторской. Изменений никто, конечно, не заметил, но Нике это было не нужно, главное, что босые ноги, невероятным образом и непонятно когда оказавшиеся главными ногами в мире, могли теперь перемещаться по настилу сцены так, как им угодно и без всякого риска.

К концу недели стало понятно, что Кирилл происходит из древнего рода волшебников и магов, не иначе: он все-таки нашел спонсоров. Правда, решение об их участии в финансировании театра еще не было принято наверняка, так что Липатова предприняла шаг вполне режиссерский, театральный. Пустить пыль в глаза, заморозить, очаровать – вот что она задумала, через Кирилла приглашая его знакомых-предпринимателей прийти на пятничный спектакль.

После спектакля, когда за последним зрителем были заперты двери, в буфете быстро организовался фуршет. Несколько чистых скатертей, пара тарелок канапе, бананы, от воздуха ржавеющие на срезах, и игристое, призванное своими лопающимися пузырьками убедить спонсоров в том, что театр «На бульваре» обязан жить дальше. По такому случаю актрисы щеголяли в платьях, позаимствованных с вешалок в примерках, а актеры в костюмах, и только Даня Трифонов, переодевшийся в неприменные джинсы и клетчатую ковбойку, выбивался из картины общей торжественности.

– А что? – воскликнул он в ответ на укор Липатовой. – Мне в костюмах только людей хоронить!

– Даня, давай посерьезнее.

– Куда уж больше. – Он подцепил двумя пальцами губную гармошку в нагрудном кармане. – Хотите, гимн сбацаю?

Липатова вздохнула и отошла: Трифонов был неисправим, а на пререкания не было времени и возможности. Труппа должна была произвести хорошее, серьезное впечатление, с легким флером богемы, искусства и его благословенного покровительства. Будь у Липатовой бюстики кого-нибудь из меценатов, Морозова и Мамонтова, она непременно достала бы их из закровов в качестве примера и призыва – но таких не наблюдалось. Зато весь вчерашний день по приказу худрука Ребров, вооружившись дрелью, развешивал по стенам дипломы и награды конкурсов и фестивалей, накопившиеся у театра за все годы его существования. Столичных среди них не было, все сплошь провинциальные.

На банкете Ника, не получив никаких распоряжений от начальницы (та попросту о ней забыла), маячила в сторонке, у самой стены, делая вид, что изучает грамоты под стеклами. Ей было неуютно среди всеобщего оживления. В юбочке и свитере, надетых за последний месяц вот уже второй раз, но не идущих ни в какое сравнение с туалетами актрис, она ежилась при мысли, что кто-нибудь подойдет к ней, желая затеять разговор. Совершенно беспочвенное опасение: на нее не обращали внимания. Все оно было сконцентрировано на двух представительных мужчинах средних лет, с которыми непринужденно общались Стародумов, Липатова, Кирилл, Римма и еще несколько актеров из тех, кому довелось сегодня играть, сначала на сцене, а затем и в жизни. У Бориса Стародумова сгустились повадки барина и гедониста, он громко и сочно, хорошо поставленным голосом превозносил успехи театра, красочно живописал истории с гастролей и из своего прошлого. Ника припоминала, что лет пятнадцать назад ему и правда выпала удача сыграть в довольно заметных фильмах, которые она видела еще у себя на родине, по телевизору. Сегодня вечером Стародумов являл собой Знаменитость, на нем обозначилось теплое свечение славы, и никому не приходило в голову, что после тех знаковых ролей Стародумов на четыре года как в воду канул, пока не возник в труппе крохотного театра «На бульваре» и не женился на Ларисе Липатовой. Сведений о том, чем занимался актер в тот перерыв и что стало причиной такой стремительной перемены статуса по возвращении в профессию, у Ники не было. Ясно было одно: за четыре года о нем все позабыли и сниматься в кино его больше не позвали.

Леся Сафина почти не вслушивалась в главный разговор. Стоя у стола, она уплетала крохотные канапе на разноцветных пластиковых зубочистках. Мила Кифаренко меланхолично жевала повядший стебель сельдерея, из стыдливости прикрыв салфеткой принесенный из дома лоточек.

– Мила, детка, ешь, пока дают, – посоветовал подошедший Даня. – Скоро мы станем крепостными. Если повезет. Нас посадят на хлеб... Хлеб и зрелища...

– Тем более что зрелища мы производим сами, – отозвалась Леля и прихватила зубами лоснящуюся маслину. С блаженством сжевала ее и покосилась на Милу. – Мил, пожертвуешь?

Мила с готовностью протянула ей свой сельдерей. Даня скривился, похлопал Лелю по плечу – в жесте была опаска, скрытая под слоем наигранного панибратства, так, хорохорясь, протягивают руку к дикому животному:

– Ты не приболела? Ты же ненавидишь сельдерей.

– Я ненавижу, когда кто-то лучше меня знает, что я ненавижу, – мирно отозвалась Сафина.

Присутствия Ники на фуршете не требовалось, но и уходить ей не хотелось. Пока все были увлечены спонсорами и перспективами, которые еще могли ускользнуть, обнажая оползающий обрыв, она пользовалась случаем, чтобы вдоволь насмотреться на Кирилла. Издалека это было безопасно – и волнительно. В нем, в его расслабленности, непривычно мягких, будто бы усталых жестах, в том, как небрежно он держит витую ножку бокала, рассуждая о новой постановке, как отпивает шампанское, над поверхностью которого брызги от лопающихся пузырьков скачут точь-в-точь как блохи, – в нем не было ничего ни от просителя, ни от обиженного сироты. Ничего от того бывшего Кирилла, только теперешний. Другой.

Улучив подходящий момент, Липатова пустила в ход тяжелую артиллерию:

– А теперь, если позволите, наша Римма устроит вам небольшую экскурсию за кулисы.

– «Римма в Закулисье», – заулыбался один из гостей неуклюжему каламбуру. Римма взглянула на него благосклонно.

– Хорошо что не «Римма туда и обратно», – фыркнул проходивший мимо Ники Даня Трифонов, говоря будто сам с собой. Ника сделала большие глаза, призывая к приличиям, а Даня ухмыльнулся во весь рот.

Глядя на Корсакову, проворно постреливавшую глазками то в одного, то во второго гостя, Ника гадала, что по поводу ее флирта думает Кирилл. Конечно, актриса не выходила за рамки дозволенного, однако сигналы ее считывались так же легко, как и всегда, – казалось, они лежат в самой ее природе, безыскусные, необдуманые и потому особенно разрушительные. Любой мужчина на месте ее возлюбленного не преминул бы показать,

что эта женщина принадлежит именно ему. Любой, но не Кирилл. Он все так же невозмутимо взирал на происходящее, шутил, болтал с коллегами, перемещаясь от одного кружка к другому. Ни беспокойного взгляда не бросил он, ни властного жеста не позволил, ни ревнивого слова, намека – ничего. То ли он настолько в Римме уверен, то ли – не так уж сильно влюблен?.. А вдруг? Никино сердце предательски заворочалось под прутьями ребер, и в межреберье проросла луговая овсяница и мятлик.

Процессия удалилась с Риммой во главе. В полутемном фойе та очаровательно рассыпчато засмеялась, и один из гостей ослабил узел галстука. Выглядело это будто ему не хватило воздуха, и Ника улыбнулась уголком рта. Потом по укоренившейся, определенно вредной привычке поискала Кирилла. И вздрогнула. Кирилл стоял на другом конце буфета, подперев спиной стену и скрестив на груди руки, и смотрел на Нику. Она покосилась вправо, влево – а ну кто-то стоит рядом, и это внимание обращено на другого, но нет: Кирилл протянул свой взгляд именно ей. Склонив голову набок, по-птичьи, до невозможности напоминая умного грача или ворона, он изучал ее неторопливо, обстоятельно и, как ей почудилось, чуть насмешливо – или это игра света? Ника проворно опустила глаза, стараясь выглядеть незаинтересованной, но не удержалась и посмотрела снова. Ее смятение во взгляде – как приглашение: скрещенные руки тут же расплелись, Кирилл легко оттолкнулся от стены и направился напрямиком к ней.

Ника запаниковала. Мгновенно пересохло горло, и рой мыслей пронесся пустынным ветром, оставив колючие песчинки. Не дожидаясь, когда намерение Кирилла станет очевидно кому-нибудь еще из присутствующих, Ника развернулась и вышла из буфета, за порогом едва не сорвавшись на бег.

– Я сказала «нет», Борис! Мы это уже проходили.

– Ну Лариска...

Ищущая убежища Ника чуть не наскочила на Стародумова, который, стоя за углом коридора, просил о чем-то жену. Та была непреклонна, и Ника почувствовала, что раздражение худрука самым краешком зацепило и ее.

– Простите, – пробормотала она, проскальзывая мимо супругов. Лариса Юрьевна нервно дернула подбородком и, не дав Нике отойти подальше, прошипела мужу:

– Езжай домой, если не можешь держать себя в руках! Ведешь ты себя совершенно не комильфо! Никакой выпивки.

Ника поспешила запереть за собой дверь каморки. Она долго не могла

отдышаться, думая о внимательных глазах Кирилла. Что он хотел ей сказать? Она и желала узнать это, и боялась. И уже чуточку сожалела о бегстве. Но так все же лучше – не попадаться.

Она уже не вернулась в буфет, просто не осмелилась. Трусиха. Какая-то часть ее ждала, что Кирилл вот-вот постучит в дверь, или заглянет в окошко, или словно невзначай пройдет мимо кассы, но ничего этого не произошло. И Ника, снова ругая себя за глупость, предпочла уйти.

На улице царило безмолвие.

После недавнего снегопада все успокоилось, воздух был прозрачный и такой вкусный, что хоть на хлебный мякиш намазывай. Сугробы алмазно и тихо мерцали. Ника отошла в сторонку от крыльца, куда не падал охристый свет фонарей, с облегчением чувствуя, что остывает, что щеки перестают гореть и унимается в голове бушующая кровь.

– Изнутри все иначе. – Она узнала раскатистый бас Стародумова и встрепенулась. В желтом куполе фонарного света появились две фигуры. Одной был Борис, а во второй Ника с удивлением узнала его поклонницу. Нику они не заметили, поглощенные друг другом. Катины глаза блестели восторгом.

– Когда я в роли, кажется, что все подвластно. Держишь зал за горло и чувствуешь себя на вершине. А потом вполне может оказаться, что выходило это из рук вон плохо.

Стародумов важно кивнул, ожидая возражений.

– Нет-нет, такого не бывает! – с готовностью зачастила Катя. – У вас никогда не бывает неудач, поверьте. Никогда, даже не сомневайтесь! Борис Евгеньевич, ваш талант так велик, я... я не знаю, как сказать. Вы простите меня, я такая косноязычная, все путается в голове...

Стародумов понимающе улыбнулся. В зеркале ее зрачков он видел самого себя, значительнее и лучше, и это пьянило сильнее вина. Катя облизала шершавые губы:

– Я не представляю, просто не представляю, как вы... Это же откровение, Божий Промысел, так играть. Вот правду говорят, что талант – это Божья искра.

– Кое-кто с вами поспорил бы. Кое-кто у нас, особенно в последнее время, считает, что навлек на себя проклятие, и все мы, актеры, прокляты...

– Какие ужасы он говорит. Вы не верьте! Вы дарите целый мир людям, разве это может быть во вред! – Катя в порыве сделала шаг навстречу и тут же смущенно отступила.

Нике было неловко слушать их беседу, но теперь уже поздно обнаруживать свое присутствие, а к метро она могла направиться, только

пройдя мимо них. Придется подождать. Девушка отступила за колонну, стараясь не очень вслушиваться, но голоса зазвучали еще явственнее, словно нарочно проникая внутрь ее головы.

– А можно спросить? Мне всегда было интересно, каково это – существовать на сцене? Вы ведь все-таки постоянно думаете, что скажете и сделаете в следующую секунду?

– Когда как. Иногда меня просто захватывает и несет. Это как волна. Ведь то, чего нет, можно легко себе представить. – Разговор доставлял Стародумову удовольствие, и отвечал он подробно, но тоном не менторским, а вкрадчивым, словно за словами скрывался какой-то иной смысл. – Взять хотя бы расположение предметов на сцене. Их не надо запоминать, как не надо запоминать расположение шкафов на собственной кухне. Все это существует, действительно существует, хоть и в воображении. Какое-то пограничное пространство, где реальность искривляется, истончается, и через нее, как сквозь тюль, как через сито, в дырочки, просачивается другой мир. И одновременно с этим кто-то бесстрастный внутри трезво оценивает, рассчитывает количество шагов до края сцены, нужный такт в едва слышимом музыкальном сопровождении, чью-то реплику, после которой идет моя собственная. Вот как сейчас. Я говорю, а сам вижу, как ты замерзаешь...

Он обратился к Кате на «ты», и Ника скорее от удивления, чем из любопытства, выглянула из-за колонны, о чем тут же пожалела. Стародумов стоял к Кате близко-близко, взяв ее дрожащие ладошки в свои. Поднес к губам эту трепетную лодочку и подул в нее, согревая дыханием. Потом аккуратно снял совиные очки с Катиного носа и прильнул к ее покорно и жалобно приоткрытым губам.

Ника отвернулась. Перед глазами встала сцена еще одного поцелуя, не так давно разбившего ей сердце. Неужели она навсегда обречена лишь подглядывать? Захлебнувшись синильно-горьким отчаянием, девушка, не разбирая пути, бросилась за угол здания: так к метро было в полтора раза длиннее, но уж лучше перелезть через сугробы и обходить бесконечный бетонный забор, чем стоять на обочине чужой жизни.

В метро, среди нахохлившихся пассажиров последнего поезда, дремлющих и вздрагивающих в сонных провалах, то и дело отталкивая ногой катающуюся взад-вперед пивную бутылку, льющую коричневый след на зашарканный пол, Ника постепенно приходила в себя. И размышляла над словами Стародумова. Они оказались удивительно созвучны одному из прежних ее разговоров с Кириллом, запечатленному в памяти почти

дословно.

– Твое тело знает миллион вещей, о которых ты даже не задумываешься, – негромко говорил Кирилл, убаюкивая ее. – Ведь ты не глядишь на отметку «максимум», когда наполняешь водой чайник? Нет, ты и так чувствуешь, когда пора закрыть кран, потому что твоя рука помнит вес полного чайника. Заходя в темную спальню, ты безошибочно находишь на стене выключатель и не думаешь о том, как завязываются шнурки, как заплетается коса – если у тебя длинные волосы, конечно. Длинные, кстати?

– Да...

– Хорошо. Все это твое тело знает без раздумий. А значит, знает мозг. Ты когда-нибудь думала о том, сколько видит человеческий глаз? Вытяни руку вперед. Давай, вытягивай. Вытянула?

– Да, – Нике было приятно слушаться его.

– Видишь ноготь большого пальца? Это по площади то пятно, которое глаз действительно видит. Все остальное в легком размытии, оно достраивается, домысливается. Мозг – самый совершенный компьютер, с оперативной памятью такого объема, который неведом созданной человеком технике. Он занят 3D-моделированием каждую секунду бодрствования и почти все время во сне. Подгоняет, достраивает, реконструирует, воссоздает, творит. Так что придумать второй, третий пласт пространства для нас не проблема...

Так вот как устроено актерское мышление? Просто еще один пространственный пласт, чистое творение реальности. Не сообщая ничего о своей профессии, Кирилл говорил достаточно, и будь она чуть поумнее, ей бы непременно стоило догадаться, что он актер. Хотя – что бы это дало? Спасло бы от его появления в театре «На бульваре» и в ее жизни? Или, может быть, спасло от того, что рядом с ним оказалась Римма? «Римма – хорошая», – шепнула Нике совесть. Снова. А сама Ника никак не влияет на происходящее и только подбирает его крошки, вот и все. Величиной с ноготь, а может, еще меньше.

Ужинать она не стала и сразу прошла в спальню, тронула холодную раму – сквозь щели сильно дуло. Это была третья ночь с полнолуния. Ника глядела в темноту окна бездумно, впав в какую-то прострацию, и заметила, что с соседнего дома, с самой его крыши, светит фонарь, которого раньше не было. Фонарь горел, во много раз превышая яркость остальных фонарей и окон в округе, и увеличивался в размере, будто рос. Только тут она и догадалась, что никакой это не фонарь вовсе, а луна восходит из-за дома: горизонты, слияние неба и земли, в городе непозволительная роскошь.

Луна выплывала из-за крыши, и на желтке ее круга четко, как на постановочном фото, проступал геометрический излом телевизионной антенны, это Христово распятие новой цивилизации. Ника поразилась, как быстро движется по небу светило: с каждым мгновением диск был виден все больше, и не успела закончиться минута, как луна появилась вся, оторвалась от крыши и устремилась вверх, идеально круглая, с наброшенной с одного бока легчайшей тенью, но еще целая. В ее скольжении было непреклонное, упрямое равнодушие, и Нику охватило тоскливое чувство собственной конечности перед лицом бессмертия неведомых богов. Луна восстала, самодостаточная, самодовольная, хохочущая, и Ника снова уверилась в том, что лунное одиночество придумали поэты: чтобы не быть одинокими. Луне было все равно. Страхась ее желтого взгляда, девушка задернула шторы.

### *Сон о потопе*

В лифте Ника всем телом чувствовала, что спускается вниз, но, когда двери разомкнулись, поняла, что приехала на верхний этаж, точнее, на крышу небоскреба. Пространство бара было обнесено стеклянными прозрачными стенами и перекрыто стеклом кровли, так что днем здесь наверняка было замечательно. Но Ника не могла припомнить, каково это – днем. Что такое день, как не набор звуков? Д-е-нь. Она не могла сообразить, когда вообще последний раз видела это явление, словно всю ее жизнь составила тьма полуночи, черно-белые, как шахматная доска, плиты пола и серый мглистый свет, идущий от каждого предмета и ниоткуда. Лифт, доставив ее, закрылся и слился со стеной, так что Ника даже ковырнула ногтем едва приметную щелку дверных стыков, чтобы убедиться, что ей это не почудилось. Хотя, если верить отцу, все и так – чудится.

Дождь продолжал идти, наверное, пару земных веков. Земли, впрочем, как и всего человечества, он не касался, ведь тучи плывут над землей, а этот дождь идет из туч все так же вверх. Ох уж этот опрокинутый мир... Никогда ей его не понять. Ника задрала голову и долго смотрела прямо над собой, в черное разверстое нечто, что невозможно назвать небом по понятной причине: это не небо, – и бездной тоже не назвать, потому что дно у всего сущего располагается внизу, а не вверху. Белесые ливневые потоки срывались со стеклянных углов бара и уносились прочь, тая в антрацитовый бесконечности, а за ними вдогонку летели другие, и так без конца. У Ники закружилась голова, и она опустила подбородок:

– К чему все это?

Они лишь вдвоем. Ника медленно подошла к Зевсу, сидящему на высоком барном стуле возле зеркальной стойки. Хорошо, когда на зеркале не остается следов от пальцев, подумала богиня, кладя ладонь на столешницу, и сама удивилась абсурдности мысли: разве где-то во Вселенной на зеркалах остаются пятна?

– Ты о чем? – отозвался отец нехотя.

– Я о дожде.

Зевс пожал плечами и хлебнул вина.

– Так странно, – проговорил он, наконец, с легким недоумением. – Из всех детей ты была самая покладистая и веселая. Победа, что с тебя взять. Тебе даже спорить не с кем и нечего делить. Если бы не люди. Взгляни на олимпийцев, каждый занят только собой. Афина никак не решит вопрос собственного совершенства, Гермес валяет дурака, Афродита заиклилась на идее любви и красоты, ничего не смысля ни в том, ни в другом. Она любит саму идею любви, но не любит никого. Аполлон сойдет с ума, если отпустит от себя Артемиду. С начала времен всегда – одно и то же. Скука. Все это не твоего ума дела, не стоит так переживать. Тебе ничего не изменить. Никому ничего не изменить.

Зевс вытащил из кармана пиджака игральные кости, потряс их в кулаке, как в коробочке, и бросил возле графитового кубка. Выпало шесть-три. Потом еще раз, и еще, и еще, и снова: шесть-три.

– Видишь? – вздохнул он.

– Вижу, – Ника сгребла кости и легко выпустила на зеркало. Щелк-щелк. Шесть-три.

– Когда выпадет что-нибудь другое, на Земле разразится потоп. Я так решил. Неблагодарные людишки, мелочные, лживые, гордые, враждующие, они ведь меньше тараканов, а как докучают!

– Разве докучают? Они приносят нам дары, молятся, когда уже не могут сдержать слез... Ведут на заклятие черных быков, чтобы услужить тебе, а ты называешь их неблагодарными? Смиловись, прошу. Они не виноваты... Что еще нужно тебе, отец, какая благодарность?

– Мне нужно, чтобы их не стало! – Зевс возвысил голос.

– Это прихоть, – не согласилась Ника.

– Это судьба. А ты, вздорная девчонка, все время встаешь на защиту всех и вся, и твое счастье, что я тебя люблю.

– Ты и Прометея любил! – она закричала так, что имя изгнанника звоном отлетело от заплаканных стекол. – Но его печень сжирают орлы. А ты теперь льешь дождь, желая гибели настолько несправедливой, что даже бездушные кости отказываются тебе помогать! От скуки!

Ударом открытой ладони Зевс обрушил стойку в мириады зеркальных брызг. От взрыва осколки разлетелись во все стороны и оцепенели в воздухе, так и не упав вниз или вверх. Ника увидела свое яростное лицо в каждом из парящих вокруг отражений. За каждым из ее лиц маячат другие, людские, и им несть числа. Ника не испугалась, куда страшнее было бы промолчать.

– Отец, ведь они настоящие. Они дышат, кричат, ругаются и смеются. Они совсем как мы. Но жизнь они ценят больше, тысячекратно. Они боятся смерти, они знают ее и потому всегда делают что-нибудь. У них есть цель и страх не успеть, а мы... А мы застыли. Совсем нет движения... Нет страха... И ты зол, тебе невыносимо, ты решаешь их судьбу костями, потому что не хочешь решать сам!

– Никто ничего не решает, девочка, – вдруг тепло улыбнулся Зевс. – Мы все просто ждем нужного момента.

Осколки по его молчаливому усталому разрешению посыпались на пол, застучав дробно, мелко и сухо. Зеркальный песок, захрустевший под ногами, когда Ника сделала шаг к отцу.

– Видишь? – указал он пальцем, не давая ей приблизиться. И она увидела: среди крошечных зеркал лежали игральные кости. На них выпало три-пять. В это же мгновение дождь переменял вектор. Страшный шум заполнил собой весь мир. Струи захлестали по стеклянной крыше, обтекая куб стеклянного бара пентхауса, и устремлялись вниз, в головокружительный обрыв к земле, уничтожая на ней все живое. И прежде чем осознать, Ника с криком уже падала сквозь этажи.

Падение. Все стороны света смешались в мрачную карусель. Она летела со сложенными крыльями, скомканная и кувыркаящаяся, и только у самой земли расправила их, чтобы замедлиться. Ее ноги коснулись тверди – того немногого, что осталось.

Вокруг разносились вопли отчаяния и ужаса, жалобный плач потерянных детей. Беспокойно мычали коровы, блеяли овцы, целыми стадами захлебываясь водой, которая все прибывала и прибывала. Моря уже вышли из берегов и затопили долины, луга, седловины холмов и перешейки, и над оливковыми рощами резвились косатки и иглозубые акулы с дохлыми глазами, а улочки еще вчера процветающей, многоязыкой, согретой послеобеденным зноем островной Атлантиды стали лабиринтом для скатов и желейных медуз, плоских камбал, крутолобых золотистых дорад. Потоп погубил виноградники, деревушки, вал воды смывал высокие утесы, и портовые города с грохотом обрушились в мокрую океанскую пасть, погребая под собой мирных горожан.

Ника носилась меж обезумевших людей, но никого не могла спасти. Ее не слышали, не видели, не замечали. Она была бестелесна, как тень, и так же беспомощна. Слишком долго она позволяла себе быть равнодушной и беспечной, слишком долго и без колебаний возвещала несправедливые победы и довольствовалась негой Олимпа. До того как пару веков назад на Олимпе вдруг начался дождь вверх и ее охватила беспричинная тоска от непогоды, до той минуты, пока она не увидела в тысяче этажей под собой город сквозь всполохи молний, пока Трою не обрекли на войну шутя – человечество было ей безразлично. Чуждо. А теперь смертные ее уже не помнили. Не к ней взывали они в молитвах. Разевая рты, размазывая грязь по щекам и ползая на коленях по крытым соломой крышам жалких лачуг, где они еще чаяли уцелеть, люди простирали руки и молили о помощи Зевса, Геру, Деметру и заступницу Афины. Ника знала – никто из ее семьи не придет им на помощь. Богам нет до них дела, как и ей не было когда-то.

Мимо проплывали обломки кораблей, их ростральные фигуры с черными лицами, корыта и скамьи, домашний скарб тех, кому он уже никогда не понадобится, – и сами люди. Вне себя от горя и раскаяния, Ника схватила первых подвернувшихся под руку живых, мужчину и женщину, и вознеслась с ними домой, желая больше никогда не видеть этот несчастный разоренный мир.

В пустынном холле поджидала самая страшная из богинь, Геката. Даже Ника побаивалась ее. Связанная лишь отдаленным родством, Геката была намного древнее, ведала колдовством, ядами, смертью, ее часто можно было повстречать безлунной ночью на перекрестке в окружении призрачных стигийских псов, а остальное время она проводила в подземельях царства мертвых, заросших асфоделем и аконитом, и на Олимп не поднималась.

Опасаясь за участь спасенных ею людей, Ника заслонила их крыльями. Но Геката только покачала головой:

– Не стоило тебе такое творить. Мне-то до них никакого дела, но и тебе не должно. Зевс будет в ярости.

Не дожидаясь Никиного ответа, богиня тронула сухими пальцами амулет в виде песьей головы с оскаленной пастью, что на кожаной траурной ленточке висел у впадины ее горла, и пропала.

Ника велела смертным ждать на кожаном диване в стерильном холле, а сама ворвалась в бар. Кажется, все божества Олимпа собрались здесь, бурля от любопытного оживления, и на секунду ей почудилось, что мировой потоп тому причина. Но нет, в углу ссорились Зевс и Деметра,

а остальные жадно внимали.

– Операция по спасению мира завершена? – шагнул к ней Гермес. – Ты как раз вовремя.

– Что происходит?

– О, происходит форменное безобразие.

И Гермес, щурясь от удовольствия, пересказал последние сплетни. Оказывается, владелец царства мертвых, Аид уже давно воцарился Персифону, дочь Деметры, и воспользовался суматохой, чтобы унести ее в подземные владения и сделать своей женой. Безутешная и оскорбленная, Деметра требует сатисфакции – и возвращения дочери.

– Но жизнь трудна и несправедлива, – заключил Гермес, хмыкнув напоследок. Судя по всему, Зевс считал так же: Деметра отошла к прозрачной стене, сжимая кулаки, и воззрилась на далекую землю внизу. Даже ее косы, уложенные вокруг головы тяжелым пшеничным колосом, источали несогласие и гнев. Теперь Ника поняла причину присутствия Гекаты здесь, наверху: она посланник Аида и его мрачного царства. Разительно отличаясь от лощеных олимпийцев, Геката бесшумно прошла в самый темный угол бара, подметая пол обмахрившимся грязноватым подолом широкой черной юбки.

– Привести сюда спасенных моей благородной дочерью! – громогласно приказал Зевс, потеряв всякий интерес к Деметре и поглядывая теперь на Нику. Та, нахмурившись, глядела, как Гермес вводит в стеклянный зал смертных, вознесенных ею на Олимп. Люди еще не обсохли, с волос женщины падали капли, а босые ноги мужчины с отставленными в стороны мизинцами пятнали пол грязными следами. «Красноватая глина погибшего Средиземноморья, где ты теперь», – подумалось Нике с горечью. Мужчина держался с достоинством, а женщина всхлипывала и дрожала всем телом. Кажется, друг с другом они были не знакомы. Зевс в мгновение ока очутился возле смертной женщины и, взяв ее ладони в свои, коварно согрел дыханием. Когда Никин взгляд, с досадой описав неловкую параболу, вернулся к этой паре, волосы женщины были сухи, как щепка для растопки, а щеки покраснелись от жара. Зевс нехотя отступил, нимало не печалась, что ревнивица Гера, должно быть, уже подписала приговор смертной проститутке.

– Пирра и Девкалион, смертные! Вы спасены крылатой Победой, – объявил он с известной слабостью к торжественности. – Сейчас с материков и островов схлынет вода, и вы станете родителями нового века человечества. Читите же меня как своего бога и господина. Я повелеваю...

– Ну уж дудки, – Деметра рассерженно перебила громовержца

и направилась к нему через весь бар. Олимпийцы затаили дыхание, предвкушая новую сцену. – Ты можешь окончить потоп, воля твоя, братец. Но я не позволю весне ступить на нивы, а теплу согреть и высушить жидкую почву, не дам соку течь по стеблям. Пока моя дочь не вернется домой от Аида, не бывать и жизни на земле! Только зима. Дай мне знать, если передумаешь.

С высоко поднятой головой она покинула бар. Дождь, повинувшись воле Зевса, только что перестал, но, послушные словам богини, потоки воды с той стороны стеклянных стен заледенели, а по стенам и потолку стала шириться с тихим треском паутина узорчатой изморози. В баре ощутимо похолодало.

– Час от часу... – утомленно потерла лоб Афина. – Мне, конечно, снилось прошлой ночью, что я ловила руками форелей, но не припомню, чтобы их перед этим вырубали из ледяной глыбы...

Афродита зябко поежилась и тут же набросила на плечи пуховую шаль. Мельком полюбовалась на себя в стеклянное отражение и осталась довольна.

И тогда Ника схватилась за голову:

– О боги, боги! Да что с вами со всеми такое? Ради себя вы готовы погубить целый мир, но ради мира не ударите и пальцем о палец! Чем провинились люди, что ты их убил, отец? Они ведь твои дети. В мире не так уж много запретов, но не бросать и не убивать детей – один из них. Теперь Деметра решила заморозить их трупы. Вы погубили Трою. И Париса. Афродита, милая, помнишь Париса, того смертного симпатягу, что отдал тебе яблоко? Прекраснейшая ты наша...

Афродита наморщила чистый, мраморный лобик. Зевс приблизился к Нике и обнял, уколос ей щеку щетиной. Его дыхание кисло пахло вином.

– Ты все перепутала, – шепнул он. – Она не помнит. Потому что этого пока не было. Я создам новых людей, они заселят землю вместе с Девкалионом и Пиррой, и их потомки построят Трою. Спарту. Афины. И тогда ты отдашь ей победу, как и Парис отдаст то яблоко...

Ника почувствовала, что замерзает, и зажмурилась. Так начался новый век.

Она проснулась в выстуженной квартире, проснулась оттого, что замерзла. Тонкое одеяло было влажным, и ноги от холода покрывались судорожным потом. Тщетно пытаюсь согреться, Ника перебралась под душ и попыталась вспомнить, что ей снилось и почему внутри у нее лишь безысходность. Все было как в дыму.

Потом она звук за звуком произнесла имя:

«К-И-Р-И-Л-Л»... От имени пахнуло морским соленым бризом, зефиром цветущего олеандра и миндаля, попугаечными соцветиями колючих опунций и жаром белых стен где-нибудь на Санторини, на фоне густого ультрамарина неба... там так тепло...

Но уличный градусник, ничуть не впечатленный Никиной медитацией, показывал минус двадцать восемь. Она подкрутила вентиль на батарее в кухне, оглядела оконное стекло, и перед глазами всплыла картинка из детства, но будто бы виденная совсем недавно, – морозные узоры. На современных стеклопакетах таких не бывает, последний раз она разглядывала эти узоры много лет назад, на окнах родительской квартиры, в другой жизни. Там деревянные рамы на зиму были проложены ватой и поролоном и заклеены бумажными лентами, отдирать которые в апреле, выпуская на волю хлопья краски и мелкую труху, – ни с чем не сравнимое удовольствие.

До театра она почти бежала, ощущая, как смерзаются и индевеют ресницы, как стынет в горле дыхание: воздух почти трещал. Мечтала лишь о том, что устроится поудобнее на рабочем месте и заварит чаю. А дальше увидит Кирилла и уж тогда точно отогреется.

Но ее мечтам не суждено было исполниться: у театра дежурила желтая машина аварийной службы и сновали хмурые мужики в сапогах и тужурках поверх телогреек, разматывая гофрированную кишку шланга. Внутренне уже уверенная в том, что сейчас увидит, Ника ворвалась в театр.

Три ступеньки – ровно настолько пяточок у входа и комната кассы возвышались над уровнем первого этажа, фойе и коридорами. Никина каморка уцелела, все остальное было затоплено. Пар поднимался от воды, залившей этаж, и по ее морю плыли побуревшие дощечки паркета, какие-то фантики, куски картона, спички, клочья шерсти-пыли и весь тот неприметный хлам, что прячется под половицами и по углам и о существовании которого ни за что не догадаешься, пока не прорвет трубы. Именно это и случилось. Видимо, произошло все ночью, потому что, перекрытая, горячая вода больше не прибывала и успела изрядно остыть. Намокшая ковровая дорожка через фойе разбухла и выступала из водяной толщи неровными буграми, как шкура доисторического ящера, которого катаклизм заставил всплыть на поверхность с океанских глубин.

На Липатову, вызванную звонком из аварийки, было страшно смотреть. Поднятая из кровати и явно собиравшаяся впопыхах, с посеревшим лицом и горестным изломом губ, она молча взирала на крах своей жизни и даже не оглянулась на Нику. Стародумова рядом с ней

не было, и Ника некстати вспомнила его вечерний поцелуй с поклонницей, все еще ощущая укол припозднившейся совести. Сапожищи аварийных рабочих громко бухали по ступенькам – и хлюпали дальше. Уборщица тетя Вера вполголоса сетовала на коммунальщиков, чиновников и прочих вредителей, забыв упомянуть разве что о жуках-короедах.

– Все кончено, тетя Вер, хватит причитать, – устало поморщилась наконец Лариса Юрьевна. – Идите домой.

Она шагнула к ступенькам, спускающимся в воду, как у бассейна, и, по-мужски подпернув штанины, присела на корточки. Одной рукой придерживаясь за угол, второй что-то выловила среди всплывших ошметков и грязи. Подняла перед собой – это оказаласьдохлаямышь. Худрук держала ее за хвост, отставив мизинец, и рассматривала без гадливости, с мрачной задумчивостью. Ника сглотнула поднимающийся по пищеводу утренний кофе.

– О господи, что тут... – донеслось от входа звонкое Риммино восклицание. И тихое «ах!» следом. Корсакова и Кирилл пришли вместе, и рука Риммы в тонкой перчатке все еще сжимала его рукав.

Липатова выпрямилась в полный рост и вытянула перед собой руку:мышь качнулась. Вправо, влево, вправо.

– Обварилась. Крысы не бегут с тонущего корабля, только когда тонет он в кипятке, – пояснила Липатова хладнокровно и разжала пальцы. Трупик шмякнулся на пол, Римма всхлипнула. – Ох, Риммка, только давай без истерик. Не сегодня. Разренешься – я тебе по щекам надаю, честное слово.

Справившись с первой оторопью, Кирилл глубокомысленно процитировал:

– Обломки хижин, бревны, кровли,  
Товар запасливой торговли,  
Пожитки бледной нищеты,  
Грозой снесенные мосты,  
Гроба с размытого кладбища  
Плывут по улицам!..<sup>[8]</sup>

И вдруг наградил не Липатову, не Римму – Нику прямым взглядом, словно проверяя. Она, внутренне содрогнувшись, выдержала взгляд не мигая.

В дверь тихо вошла Леля Сафина. Она предпочла воздержаться

от комментариев, но цепко огляделась по сторонам – наверняка оценила масштабы трагедии. Корсакова еще раз беспомощно всхлипнула и обернулась к Ларисе Юрьевне:

– Вот, пожалуйста. Какие еще вам нужны доказательства?

– Доказательства чего?

– Этого. Того, что... кладбище, церковь... девочка... – Римма говорила тише и бессвязнее.

– Пока я не увижу всплывающие гробы, о которых твердит Пушкин устами твоего принца, – Липатова смерила обоих недобрым взглядом, – не говори мне о кладбище, моя милая. И вообще ничего не говори, если можно.

– Что вам нужно, чтобы поверить в проклятие? Чтобы она явилась и сама об этом сказала? – взвизгнула Римма. Кирилл осторожно привлек ее к себе, желая утихомирить. Но актриса не хотела молчать.

– Это снова она! Она! Ей не хочется, чтобы мы играли там, где она умерла. Это проклятие, оно висит над нами. Надо мной.

– Если над тобой, то какого лешего я крайняя?! – заорала внезапно Липатова. – Почему *мой* театр идет ко дну?

Римма съежилась. Ника никогда не видела Липатову в таком состоянии, да и вообще не предполагала, что эту железную леди можно так довести. Лариса Юрьевна на секунду закрыла лицо ладонями, а когда отняла их, была снова непроницаема и холодна.

– Ладно, проехали. Ты, – она ткнула пальцем в Нику, и та вспомнила, что еще недавно эта рука держала за хвост дохлую мышь. – Попробуй дозвониться тем, кто еще не пришел. Скажи, чтобы не приходили. Вероятно, чтобы никогда больше не приходили.

– Что? – Ника решила, что ослышалась. Липатова криво усмехнулась:

– А что? Спонсоры обещали дать деньги на новую постановку. Но никак не на ремонт сортиров и новый ламинат под березу. Знаешь, во сколько это обойдется? Лучше не знать. Ремонт, простой... Ведь давать спектакли сейчас нельзя. Убытки. Конец. Он оказался ближе, чем виделось... Не будет премьеры, не будет ничего. Костюмерную и гримерки наверняка тоже затопило. Есть сигареты?

– Бросаю, – отозвалась Сафина.

– Не курю, – Кирилл развел руками. Липатова вздохнула:

– Я тоже.

И, накинув шубу, вышла на улицу. Через окно было видно, как она стреляет у одного из ремонтников золотую «Яву» и жадно затягивается.

Обзванивая сотрудников – кого-то она успела застать на пороге

квартиры, кого-то уже в транспорте, – Ника объясняла ситуацию в двух словах и просила посидеть сегодня дома. В ответ почти все заявили, что приедут помочь. Прижав трубку плечом, она то и дело следила через окно за худруком и Кириллом, который, расхаживая перед начальницей по затоптанному грязному снегу, что-то страстно объяснял. Его руки – опять эти немислимые руки-птицы – взлетали в морозный воздух, и Ника с волнением замечала, как краснеет от холода натянутая на костяшках кожа. Липатова, судя по всему, отвергала все предложения. Но в какой-то момент сбавила тон и надолго задумалась. Потом потянулась к жестяной банке на внешнем подоконнике, затушила сигарету, и Ника услышала голос Кирилла:

– Доверьтесь мне.

– А знаешь, это чертовски приятно – услышать такое от мужчины. Заявляешься ты, весь такой сильный и красивый, и говоришь, что все уладишь...

На щеке у Кирилла едва заметно дрогнул мускул.

В театр они вернулись не одни: за ними незримо маячила безумная надежда. Пока Римма, Леля и еще несколько молодых актеров отсиживались у Ники в кассе, самом теплом и сухом помещении театра, Лариса Юрьевна отдавала приказания ребятам из аварийной службы. Они были явно недовольны невесть откуда взявшейся командиршей, но все-таки подчинились. Липатова по-прежнему оставалась главной. Было в ней что-то от небесного тела, планеты, чья гравитация захватывает и тянет, и с этим ничего нельзя поделать – только если вовремя не выработать собственную орбиту. Тогда появлялся шанс стать спутником. Или космическим мусором.

Вслед за надеждой пришла лихорадочность – во всем. Как только откачали воду и убедились, что не залило электропроводку, бригада уехала, а театр стал напоминать разворошенный муравейник. Все хватали и тащили что-нибудь куда-нибудь, переноса неисчислимый театральный скарб из пострадавших помещений в сухие. Без отопления было сыро и холодно, и люди, так и не сняв верхнюю одежду, суетились еще и поэтому – желая согреться. Костюмерша Женя, громогласная пятидесятилетняя матерщинница с толстой шеей и неохватным бюстом, которую труппа звала исключительно Женечкой, принялась спасать сценические костюмы, выжимая их, развешивая по всему зданию на веревках, вешалках, перилах, в гардеробе и буфете, и от полноты чувств то и дело сопровождая спасательную операцию крепким словцом. Пахло мокрой шерстью, нафталином и лавандой – от моли. Подъюбники,

камзолы, туники и панталоны, сюртуки, платья, плащи и накидки всех фасонов и цветов радуги заняли театр целиком, как толпа незнакомцев. Кое-что успело полинять, шляпы с картонными вставками и перьевые боа не подлежали реанимации, и Женечка, обнаруживая их, сокрушенно сопела.

В холле она раскрыла и поставила в ряд дюжину зонтов, от кружевных до совсем обычных и, наоборот, расшитых золотой нитью.

– Пускай сохнут, а то псиной завоняются.

Документы всех категорий перекочевали из затопленного кабинета Липатовой в помещение кассы, во владения Ники. Не доверяя компьютерам, уже подводившим не раз, Липатова хранила почти всю документацию по старинке, на бумаге. Ника как раз перекладывала огромную стопку в сейф по частям, когда наткнулась на пухлую черную папку «Кадры». Убрала в железный шкаф. Постояла. Сложила поверх этой папки порцию новых. Но черная папка блестела пластиковой обложкой почти вызывающе. Не удержавшись, повинувшись минутному помрачению рассудка и пользуясь тем, что никто не видит, Ника дрожащими руками вытащила ее из сейфа. Оглянулась воровато. И наконец, решилась, принялась быстро листать, пробегая глазами фамилии. Вот она наткнулась на последнюю, медленно прочитала и перечитала несколько раз, потом прикрыла глаза и повторила про себя домашний адрес Кирилла. Записывать Ника не стала, как преступница, опасаясь оставить улику. И вряд ли могла объяснить хотя бы себе самой, зачем она вообще это сделала, ведь не в гости же к нему она собралась... Когда в кассу заглянул Ребров, папка «Кадры» покоилась в глубине сейфа, а адрес – на хрупком, сплошь из ракушек и кораллов, дне Никиной памяти, как сундук с сокровищем из потонувшего испанского галеона.

Давно уже театр «На бульваре» не видел такого единодушия. Кое-кто из тех, кого Никин звонок застал еще дома, предусмотрительно захватил с собой обогреватели и фены и теперь под чутким руководством Женечки пытались просушить бутафорию из размокшего папье-маше.

– Только, пожалуйста, люди, аккуратнее, не спалите тут все, следите за электроприборами! – валькирией носилась Липатова мимо подопечных.

– Не переживайте, Лариса Юрьевна, что утонуло, то не сгорит!

За эту реплику Липатова чуть не испепелила Даню взглядом. Впрочем, тот не унывал и, перетаскивая огромный, в человеческий рост, кувшин, декорацию из детской сказки, бодро насвистывал.

– Даня, – взмолилась Римма, чуть не плача. – В театре нельзя свистеть, это плохая примета.

– Римма. Риммочка. Риммуся. Замерзающая вода в хлипких трубах – вот плохая примета, сама погляди. А свист – это... – Даня поискал остроумный образ, но не нашел и развел руками, – это свист. И вообще выведи ты уже список примет в алфавитном порядке, чтоб я знал. А то мне кажется, любое мое движение навлекает на тебя беду.

В суматохе Нике нравилось, что не надо искать предлог, чтобы оказаться поблизости с Кириллом, в одном помещении, ненароком задеть рукой, потянувшись к шляпным коробкам в костюмерной, со смущенной улыбкой разойтись в узком проходе и постоянно ласкать взглядом его плечи и покатый затылок. Кирилл работал наравне со всеми, таскал коробки и мебель. Только когда Паша попросил помочь перенести тяжелый шкаф из реквизиторской, он покачал головой:

– Прости, мне нельзя поднимать такие тяжести. Старая травма. Погоди, сейчас Даню пришлю!

Каким-то чудом не пострадал зрительный зал: вода так и не перехлестнула через высокий порог. Лариса Юрьевна, сновавшая повсюду и оценивавшая нанесенный аварией ущерб, снова воспряла духом. Ника замечала, как колеблется настроение начальницы, от отчаяния и тоски до нездорового оживления. Временами, глядя, как кутаются продрогшие актеры в свои пальто и куртки, Липатова останавливалась и от безысходности сжимала пальцами ноющие виски, но тут же отыскивала взглядом Кирилла, как маяк. Его вид напоминал, очевидно, о сказанном им раньше каком-то обещании, и Липатова воинственно встряхивала головой и снова принималась за работу. Ника удивлялась: чем же он ее утешил? Что такого мог предложить или придумать Кирилл? Чем таким невероятным, знанием или силой духа, он обладал, что Лариса Юрьевна поверила ему? Липатова, которая всегда полагалась только на себя. Дипломатичность и смекалка Кирилла, видно, были неисчерпаемы, так что его вполне можно было бы отправлять на Ближний Восток улаживать конфликты. Он не переставал интриговать и завораживать Нику.

– Я еще в детстве понял, что серьезно, а что нет, – сказал он как-то раз, в пору их телефонных бесед. – Что непоправимо, а что вполне сносно – стоит только включить мозги. Почти все можно уладить, знаешь ли. Если не в лоб, с наскока, то после ночи размышлений. Помню, однажды у моей подруги Оксаны, нам тогда лет по девять было, компания старших девчонок забрала дневник. Знаешь, такие девчоночьи дневники, с мыслями, любимыми цитатами, фантиками и всякими откровениями, которые вы почему-то обязательно пишете, а потом забываете под партой.

– Знаю, – засмеялась Ника. – Сама такие писала, только у меня

не было там ничего личного, скорее дань традиции.

– У нее тоже не было, но все-таки обидно. Тягаться со старшими нам тогда было не под силу, и их главная, Маринка, сказала, что отдаст дневник в обмен на бутылку кока-колы.

– Всего-то? – удивилась Ника и почувствовала, что Кирилл улыбается, его голос стал мягче:

– Это тебе «всего-то». А у нас кока-колы отродясь не было, один компот из столовки – и денег тоже не наблюдалось. Леха, мой друг, предложил украсть из киоска, но это вообще-то было довольно рискованно. Так что я задумал обман. Мы нашли на помойке пустую бутылку из-под колы, почти не затертую, с яркой еще этикеткой. И начали химичить. Набрали воды из-под крана, намешали туда коричневой и черной гуаши и чуток мыла, ну, чтобы пена была.

– О, нет, – простонала Ника. – И что, похоже?

– Нам в тот момент казалось, что очень. Нет, конечно, непохоже! Гуашь слишком мутная, от мыла пена не оседает... Да и крышка уже отвинчена, не цельная с кольцом. В общем, обреченное предприятие. Но на секунду одурачить Маринку все же удалось. Ровно настолько, чтобы подобрать брошенный нам дневник и смыться подальше.

– А я так надеялась, что эта вредная девчонка все-таки хлебнет мыльной воды!

– А уж как я надеялся...

После обеда Липатова взяла с собой Кирилла и куда-то снарядилась, оставив театралов хлопотать дальше. Все ближайшие спектакли были отменены, о чем уже гласило сообщение на сайте и объявление на входной двери. К вечеру напряжение окончательно спало, навалилась усталость, и, расходясь, многие высказывали упаднические мысли.

– Это ж сколько времени мы будем без спектаклей? – озадачился Паша Кифаренко, обнимая женственные изгибы своей гитары. Обнаружив ее, целую и невредимую среди разоренной гримерки, он не расставался теперь с инструментом ни на минуту.

– Пока все не просохнет, – отозвалась Леля, перетряхивая сумку в поисках перчаток.

– Пару дней будет сохнуть, а потом ремонт. Три гримерки, костюмерка, фойе, коридор, буфет... – Кифаренко загибал пальцы.

– Никто не обещал, что будет легко. – Леля наконец выудила перчатки. Вслед за ними из сумки вынырнул голубой сверточек, он выскользнул и покатился по полу мячиком. Ника подняла. Это оказались скомканые

бахилы, которые надевают на обувь в медицинских учреждениях. Она протянула бахилы Леле. «Вы не заболели?» – захотелось ей спросить актрису с беспокойством. Но она напомнила себе: не мое дело, меня не касается.

– Спасибо. До завтра.

Но ни завтра, ни через два дня они не встретились. Липатова отправила всех на неделю в отпуск. Кроме Ники – та продолжала мерзнуть в кассе, отвечать на звонки и возвращать зрителям деньги за билеты.

Одна она скучала. Раньше ей и в голову не приходило, что ее жизнь, кажется, такая незаметная и существующая всего лишь на обочине театральной кутерьмы, так зависит от актеров, Липатовой, спектаклей и репетиций. Привычный уклад был нарушен, и это приводило ее в уныние. И отсутствие Кирилла тоже не добавляло оптимизма.

На третий день она не выдержала и принесла с собой несколько дисков. Результатом краткого поиска в Интернете стал список фильмов, чьи герои говорили в русской озвучке ее любимым голосом, и за неимением этого человека она хотела хотя бы слышать его речь. Не особо следя за сюжетом, Ника иногда прикрывала глаза, и Кирилл тут же восставал перед ней во всех подробностях. Словно школьница, влюбленная в заморскую звезду и готовая выискивать в каждой роли кумира природные, а не выработанные жесты, те, от которых не под силу избавиться даже самому гениальному актеру, Ника искала в репликах персонажей то, что могло дать хоть какой-то намек на него настоящего. Интонацию, заминку, усмешку. Она знала, что в отличие от того же Стародумова, который, кстати, так и не появлялся, Кирилл не говорит репликами своих персонажей в обычной жизни – на это у него вполне хватает собственных слов и мыслей. И все же, и все же...

На пятый день она внезапно рассердилась. То, чем она занималась, показалось ей извращением. Чем она уж так разительно отличается от мучителя Мити, державшего ее взаперти в подвале и следившего через окошко за ней? Ведь она так же подглядывает! Надо оставить Кирилла в покое, пусть любит красавицу Римму, играет в театре и будет счастлив, а к ней это не имеет никого отношения. Он до сих пор не узнал в ней свою ночную собеседницу – а значит, никогда уже не узнает, и не важно, что за все это время она просто не предоставила ему такого шанса. Это никому не нужно. В сердцах Ника разломала все диски на мелкие зеркальные кусочки. На миг ее охватил озноб – где еще она видела такие же куски, в которых отражается ее лицо снова и снова? Не найдя ответа, она ссыпала их в корзину для бумаг. И даже постаралась забыть домашний

адрес Кирилла, но чем больше старалась, тем упрямее память называла улицу, номер дома и квартиры.

## Явление седьмое

### Реквизит и бутафория

Спустя неделю Ника по-прежнему не знала, как Липатовой и Кириллу удалось все уладить. И удалось ли. В любом случае, репетиции продолжились, включили отопление, начался ремонт – театр ожил. Более того, его охватило небывалое оживление, словно за неделю простоя все окончательно осознали свое высокое предназначение и теперь горели желанием работать. Даже Римма до поры оставила истеричные страхи, привидений и суеверия.

Вслед за документами в Никину уцелевшую комнатку переехал почти весь липатовский кабинет. Среди стопок бумаг, книг, коробок, компьютера, принтера и раскидистой гляцевитой монстеры в кадке Ника ютилась на своем стуле, задевая локтями то одно, то другое. Зеленые листья цветка лезли в глаза. Дверь поминутно распахивалась, и девушка больше не чувствовала себя в безопасности, в уютной незаметной норке, как раньше. Это нервировало. Как будто поднялся восточный ветер, а ей нечего набросить на плечи, и ветер дует так сильно, что скоро подхватит и понесет прочь.

Третьего марта Светлана Зиминая переступила порог театра не одна. Позади нее, исподлобья взглядывая по сторонам, шла худая девочка-подросток в потрепанном пуховике и дутых сапогах, некогда бывших сиреневыми. Ни дать ни взять нахохлившийся воробей, городская птичка без гнезда.

– Ник, привет... – наклонилась Зиминая к окошку кассы. – Пусть... Дашка у тебя посидит немного, можно? Мне в костюмерку надо, Женечка вызывала на примерку.

Что за Дашка такая и откуда взялась, Ника не знала и спрашивать не собиралась, но беспомощно оглядела заваленную комнатку: вдвоем тут было не поместиться. Девочка переминалась в сторонке, сдвинув брови и вытирая кулаком текущий нос. От нескончаемого насморка над ее верхней губой уже образовалась темная короста.

– Может... – поколебалась Ника. – Я чаем ее в буфете напою?

– Ты чудо. Спасибо.

Ника с трудом выбралась из завалов кассы в фойе. Светлана, запутавшись в рукавах тонко выделанной сливочного цвета дубленки, тихо

и настойчиво твердила девочке:

– Я очень быстро. Ты только дождись меня обязательно, не уходи.

Вместе они дошли до буфета, пол которого зиял дырами от снятых паркетин. Светлана усадила девочку на стул, кинула рядом сумку и одежду:

– Я мигом.

Девочка кивнула, и Светлана выбежала в коридор, обернувшись напоследок в арке проема. Ника нерешительно смотрела на гостью.

– Я Ника.

– Дашка, – нехотя отозвалась та. – Только не Даша, а Дашка.

– Хорошо.

Ничего не спрашивая больше, Ника быстро достала из холодильника пирожки, купленные утром по дороге на работу, сунула их в микроволновку и тронула бок чайника – еще горячий. Пока она окунала пакетик в чашку с водой, в буфете появился Кирилл. Ника впервые видела его в ниспадающем хитоне Гектора и сандалиях, кожаные ремешки которых взбегали по ногам до колен, и обожглась чаем, пока бегло оценивала новый облик. Туника была сцеплена на живую нитку, и кое-где на бежевом полотне чернели крупные пунктиры стежков.

На мгновение его взгляд с затаенной смешинкой обратился к ней, а потом скользнул по Дашке – и вдруг зацепился. Замерев у входа, Кирилл изучал ее, все больше мрачняя, и Ника, забеспокоившись, тоже решила оглядеть ее пристальнее. Девочка не осталась в долгу, она нарочито развалилась на стуле, все еще в пуховике, который даже не расстегнула, и ее подбородок выдвинулся вперед – с вызовом. На осунувшемся лице серо-велюровые глаза казались неестественно большими и нахальными. Руки стремительно скрестились на груди, демонстрируя замызганные митенки и выглядывающие из них пальцы с грязью под ногтями.

Микроволновка издала мирное «дзинь», Ника встрепенулась и поставила перед Дашкой тарелку с пирожками и стакан чая:

– Кушай.

Дашка помедлила, не сводя глаз с Кирилла. Он невозмутимо отвернулся, плеснул в чашку воды, застучал ложкой, размешивая сахар. И девочка как по отмашке тут же накинулась на еду. Ника никогда прежде не видела, чтобы люди так быстро поглощали пищу. Челюсти девочки двигались торопливо, крошки падали на складки пуховика. И Нике отчего-то стало больно и неловко.

Кирилл отошел к окну и по уже сложившейся привычке присел на подоконник. Ника видела, как он, с якобы отсутствующим выражением лица, все-таки неотрывно наблюдает за Дашкой краем глаза. И тут в буфет

влетела Липатова.

– Кирилл, ты можешь... – заметив Дашку, худрук остановилась. – Так, а что посторонние делают в театре?

Дашка перестала жевать и уткнулась в стол перед собой. Ника замаялась, не зная, как лучше объясниться. Тогда Кирилл соскользнул с подоконника, выплеснул в раковину кофе, к которому почти не притронулся, и спокойно бросил через плечо:

– Пусть посидит.

Каково же было удивление Ники, когда Липатова, вместо того чтобы выяснять и допытываться, а после непременно настоять на своем, лишь покладисто кивнула головой:

– Ты мне нужен на сцене.

– Иду, – лаконично отозвался он и вслед за Липатовой скрылся в коридоре.

Чтобы справиться с изумлением, Ника тоже взяла пирожок. Дашка сидела понуро.

– Дашка... Ты не волнуйся, ешь. А я схожу за Светланой, она, наверное, уже заканчивает.

С начала примерки прошло от силы минут пять, да и не стоило оставлять девочку одну, но Ника ничего не могла с собой поделать. Присутствие Дашки, весь ее вид причинял необъяснимую боль, и Нике хотелось поскорее скинуть с себя это гнетущее ощущение. Лишь выйдя из буфета, она почувствовала облегчение.

В костюмерной, выбеленной ртутными лампами, Светлана терпеливо стояла перед необъятной Женечкой. Та, держа во рту булавки с разноцветными шишечками, ловко закалывала костюм прямо на актрисе, ползая по полу на коленях.

– Что-то случилось? – Светлана заметила Нику и сделала шаг к ней.

– Тише-тише! – предостерегла ее Женечка, шепелявя от набившихся в рот иголок.

– Нет, я просто так... узнать, – отозвалась Ника.

Она устыдилась собственной слабости и вернулась в буфет. Но там обнаружила лишь пустую тарелку от пирожков и пустой стул. Дашка ушла.

И только теперь, с опозданием, переводя взгляд со стула без Дашки на подоконник без Кирилла, Ника словно вживую услышала его недавние мысли.

– Нас всегда было трое. Я, Леха и Окси. Втроем против всего мира.

Шел уже третий час ночи – и третий час их разговора. Ника,

с прижатым к уху телефоном, успела полить цветы, вымыть забрызганную жиром духовку, протереть пыль с телевизора, посидеть с задранными вверх ногами в кресле. Все это она делала неосознанно, слушая рассказы Кирилла, млея от его голоса и видя картинки из его прошлого, такие красочные, что они затмевали собой убогую реальность ее квартиры.

– С Лехой мы дружили сколько себя помню. С горшка. А Окси приплелась позднее, в первом классе. Ее родителей тогда лишили прав, вот она и оказалась с нами. С девчонками почему-то не дружила, да и вообще ни с кем не дружила, сидела в углу целыми днями. А потом обживаться стала помаленьку. Однажды подходит ко мне, глазищи зеленые, вполлица. И протягивает мне фигурки. Черепашки ниндзя, знаешь такие?

– Еще бы! Кажется, их звали Леонардо, Микеланджело, Донателло и... Рафаэль? У нас пацаны по ним с ума сходили! – припомнила Ника.

– Вот-вот. Мы и сошли, с Лехой на пару. Она нам подарила их, просто так, потому что мы ей понравились. Неслыханное богатство! Откуда взяла – ума не приложу. И мы, конечно, тут же принялись ее защищать ото всех. Окси вообще-то недолюбливали, у нее волосы были странные, блондинистые пряди вперемешку с седыми. Воспитатели сперва думали, что ее так покрасил кто-то из взрослых, знаешь, в шутку. Но крашенные пряди все не отрастали. Сколько ее помню – всегда была наполовину седая голова. Сама можешь представить, как ее травили. Людям не нравятся непохожие. Так что дрались мы почти каждый день. А потом и Окси научилась давать сдачи.

– Окси – в смысле Оксана?

– Да. Это мы ее потом так прозвали, когда химию начали проходить. Оксиджен – кислород по-английски. Потому что она сама была как кислород. Глоток свежего воздуха. Ветер, вихрь. Бойкая, даже борзая. Не было ни помойки, ни заброшенного склада, ни стройки, где бы она с нами не побывала. Никогда не видел, чтобы она чего-то боялась. Спрыгнуть с крыши на «слабо» – не вопрос. Перебежать железнодорожные пути перед поездом – тоже. Ужас, что мы творили... Мозгов ноль. Но Окси везде была первая, главная зачинщица. С Лехой они постоянно спорили и собачились, но она долго не могла обижаться, сразу приходила мириться. Отходчивая. Для женщин это редкость.

То, как Кирилл вспоминал об Окси, почему-то не вызывало в Нике ревности. В его словах, тоне, голосе была такая нежность, какая бывает у старших братьев, когда они упоминают сестер. Одна кровь на двоих. Точнее, на троих.

Пока Кирилл рассказывал о Лехе, Ника представляла вместо этого

незнакомого – своего Лешу. Друга, соседа, партнера по бальным танцам, вечно лохматого парня с шелушащимися руками и гибкой, чуть наивной улыбкой, поднимавшей уголки губ точно вверх, как за вязочки. Того, что всегда был рядом, кто отпугивал от нее поклонников и чинил в доме Ирбитовых все, начиная со стиральной машинки и заканчивая старым проигрывателем для пластинок. Того, который утверждал, что у Ники «перпетуум-мобиле в одном месте». Того, которому она не звонила вот уже несколько лет.

А Кирилл продолжал рассказывать:

– Из нас троих Окси соображала лучше всех. Учительницы ее, понятное дело, недолюбливали, такие независимые для них – все равно что красная тряпка на быка. А Окси, если что-то не нравилось, заявляла прямо. Как-то раз биологичка подняла ее со стула посреди урока и принялась распекать, в итоге сорвалась на крик. А Окси возьми да и скажи, заботливо так: «Вера Федоровна, зачем вы лезете в бутылку? Вы же все равно не залезете, вы толстая...» В общем, на ковер к директрисе ее таскали частенько. А вот физик и математик ее обожали, тем более что их формулы и уравнения у нее от зубов отскакивали. К тому же физики, в принципе, трепетны к женскому полу, у них это с одичалого студенчества. Хотя, конечно, Окси была пацанкой...

– А где она сейчас? Вы до сих пор дружите?

– Окси не стало семь лет назад.

Так вот кого так внимательно рассматривал Кирилл в Дашке, пока та поглощала пирожки в театральном буфете, чуждая всему окружающему. В этом грубоватом и явно обиженном на судьбу подростке ему мерещилась его Окси.

Возвратившейся с примерки Зиминой Ника с сожалением сообщила, что Дашка сбежала. Светлана погрузилась, ее движения стали вялыми и заторможенными. Она надела дубленку, долго не попадая пуговицами в кожаные прорези петель, и устало опустилась на стул.

– Она попросила у меня мелочи у метро. Я сначала прошла мимо. Таких ведь полно, то на выпивку просят, то на наркотики, наверное. Прошла... а потом что-то кольнуло. Она другая. У тебя так бывало?

Ника неопределенно мотнула головой.

– Вернулась, дала ей денег... Мне вдруг так захотелось, чтобы она дошла со мной до театра. Я собиралась потом, после примерки, повести ее обедать куда-нибудь. А она вот сбежала...

– Я накормила ее пирожками, – Ника попробовала утешить актрису.

– Спасибо тебе.

Зими́на раскрыла сумку и принялась там что-то искать. Долго перебирала вещи, все больше нервничая, наконец выложила почти все содержимое сумки на стол. И закусила губу, задумалась. Огорченно вздохнула:

– Я тебе завтра деньги верну за пирожки, хорошо?

– Ой, да бросьте вы. Не надо.

Ни слова не говоря, женщина сгребла вещи обратно и побрела к выходу, и что-то в ее походке, наклоне головы и плечах заставило Нику впервые задуматься о возрасте Светланы. Раньше такая мысль просто не приходила ей в голову.

Спектакль о Троянской войне репетировали постоянно и с полной отдачей, с азартом. До позднего вечера труппа засиживалась в театре, обсуждая с Женечкой костюмы, с бутафором-реквизитором Сашей предметы, что будут окружать их на сцене. Липатовой виделось большое деревянное колесо, которое будет вертеться, символизируя и неумолимость времени и судьбы, и безвыходность, невозможность вырваться из цикла.

– О, я придумала! Давайте сделаем его наподобие тех, в которых бегают грызуны в клетке? – обрадовалась Римма, с сильным, всем заметным запозданием схватывая режиссерскую мысль. – Знаете, как «белка в колесе».

Липатова улыбнулась в свой пышный палантин.

– Так и будет, – подтвердила она, стараясь, чтобы в голосе не слышался смех.

Нежданно-негаданно возникли сложности с пластическими номерами. Штатного хореографа у театра не было никогда, ведь прежде спектакли обходились и без танцевальных вставок, а театр «На бульваре» считался строго драматическим. Сейчас же Липатовой хотелось превзойти саму себя и сотворить нечто, замечательное и по драматическому, и по пластическому исполнению, но она никак не могла поставить запланированную танцевальную интермедию. Ника видела ее сомнения, ее отчаянное желание создать спектакль, выходящий за прежние рамки, но также видела и все недочеты в хореографии и даже прикидывала, как могла бы решить их сама. Достаточно добавить несколько необычных связок и псевдобалетную поддержку, чтобы этюд заиграл новыми красками. Как только худрук нажимала кнопку на пульте и вступала музыкальная тема, Ника видела себя, проносившейся над сценой. Никакой греческой пластики, никакого сиртаки, все современное и энергичное. Шаг, шаг, шаг, поворот, припасть к полу, да так, чтобы распущенные волосы плетями

свесились вперед. Левая нога уходит в поперечный шпагат, правая согнута. Руки расслабленные, кисти свободны. Подъем, поворот... Спина выгнута грибком, мелкие шажки, пауза. Руки влево, наверх, пальцы напряжены. Раз! Два! Три! Затяжной прыжок. Ощущение полета. Эйфория...

Ника уже прикинула, кто смог бы воплотить эти движения на сцене: Мила, Римма, Даня. Паша слишком высок, чтобы смотреться в таком номере гармонично, да и моторика у него довольно характерная, разболтанная. Кирилл? Он пластичен на зависть, но ноги... Что именно с ними не в порядке, Ника так и не узнала, хотя его реплика о старой травме не осталась ею незамеченной.

И тут девушка открывала глаза и находила себя стоящей на пороге зрительного зала, неприметной и никакого отношения к театральной хореографии не имеющей. Кассирша...

Елена Троянская вовсю кокетничала с юным царевичем Троилом. Она порхала, вся поглощенная осознанием собственного совершенства, подхватывала с пола цветков на проволочном стебельке и подносила к лицу, посверкивая глазами поверх бумажных лепестков. Липатова останавливала репетицию и давала указания – Гектору, Кассандре, Троилу, Гекубе.

– В глаза бьет, – Леля приставила ладонь козырьком ко лбу. – А можно как-то притушить свет?

– Это разве бьет, – хмыкнула Рокотская, в то время как свет приглушили. – На больших сценах рампа сильная, а у нас так, фонарики... В Малом я однажды заблудилась на сцене прямо во время спектакля. То-то смеху было.

Липатова дала знак начинать. Действие на подмостках возобновилось. Римма в очередной раз подняла со сцены цветков, понюхала и, вдруг вскрикнув, отбросила в сторону.

– Стоп. Римма, что?

– Кто? Кто это сделал? – актриса отступила к рампе, пальцем тыкая в цветков. – Трифионов, это ты?! Лучше скажи сейчас!

– Чуть что, сразу Трифионов... – проворчал тот, подтягивая спадающие штаны. Актеры озадаченно переглядывались.

– Римма, можешь объяснить?

– Он живой! Это настоящая звезда, что, не видите?

– Ох, только не это...

Липатова грузно взобралась на сцену и подняла цветков, покрутила в руках.

– Саша, это ты положил?

Молодой реквизитор, к которому были обращены слова, покачал

головой, в его лице отразилось непонимание. Не будучи актером, он не понимал, что живым цветам позволено существовать на сцене лишь в качестве подношений от зрителей. И возле гроба, во время гражданской панихиды по умершему артисту. В качестве реквизита и костюмного аксессуара суеверный театральный народ использует только искусственные цветы, по крайней мере так издавна повелось в театре «На бульваре». Ничему живому нет места на театральных подмостках. Это все игра. Потому-то и Женечка, по основному занятию костюмер, стала большой мастерицей в этой области, умудряясь не только кроить цветы из ткани и сворачивать из бумаги, но даже лепить из полимерной глины и целлюлозной массы, легкие и прочные, вместе с гипсовым виноградом, восковыми яблоками и румяными французскими багетами из крашеного папье-маше. Чего стоили ее роскошные венки и гирлянды для детских сказок! Однако сейчас каким-то необъяснимым образом бумажный цветок превратился в настоящую, невинную на вид белую гвоздику с узловатым сизым стеблем и виньетками узких листьев.

В зале вспыхнул свет, и всем окончательно сделалось неуютно. Беглый допрос ничего не дал. Никто из присутствующих понятия не имел, откуда на сцене оказался живой цветок. Римма впала в прострацию, стоя у края сцены и ломая руки. Она была красива даже с перекошенным лицом, и Нике показалась, что актриса, несмотря на переживания, это отлично сознает. Липатова объявила, что на сегодня хватит.

Когда Римма выскочила из зала, а вслед за ней побрела и большая часть актеров, Даня Трифонов шагнул к Паше и промурлыкал, ничуть не стесняясь замешкавшейся поблизости Ники, которая до последнего мгновения держалась взглядом за ускользящую спину Кирилла.

– Отлично сработано.

– Ты о чем? – нахмурился Кифаренко.

– Это же ты подсуетился? С Риммкиным цветком.

– Э-м... Вообще-то нет.

Даня подмигнул, мол, ладно, как знаешь.

– Что-что-что? – из-под локтя Паши вынырнула любопытная сестра.

Он потрепал ее по волосам, тоненьким и мягким, напоминающим одуванчиковый пух:

– Ничего, пошли.

Даня высказал предположение, которое незадолго до того возникло и у Ники. Если скинуть со счетов вероятность паранормальной природы событий, происходящих в стенах театра, то вообще-то недавно Римма обидела Милу Кифаренко. А Паша всегда вступался за сестренку, так что

ему ничего не стоило зло подшутить над обидчицей. И уж, конечно, вряд ли он признался бы в этом Трифонову. Но в отличие от Дани Ника предпочитала держать домыслы при себе и не задавать лишних вопросов.

Сегодня она задержалась. Реквизитор Саша, убегая на вторую работу, попросил ее еще пару часов приглядывать за какой-то замысловатой клееной конструкцией из реек, сохнувшей в углу, – и перевернуть перед уходом. Она видела, как удаляется Римма под руку с Кириллом, бледная, шмыгающая носом. Рокотская поделилась с ней эфирным маслом мелиссы, и красавица то и дело запрокидывала голову и нюхала натертые им запястья. Сбитый перестук ее пульса распространял аромат особенно интенсивно.

– Она хочет, чтобы я умерла. Почему, ну почему она выбрала именно меня? – Жалобный голос Риммы взмывал под своды фойе, словно она обращалась не к присутствующим, а к призрачной пионерке Нине, умоляя отступить.

Рядом вполголоса переговаривались другие актеры, старательно не ввязываясь в дискуссию с Корсаковой.

– Я близка к краю. Я чувствую, что близка. Зачем мне жить, если даже духи хотят моей смерти. Так будет проще... всем. Я умру, и все закончится. Может, я даже спасу вас всех, спасу театр?

Экзальтация Риммы явно нервировала остальных, и Ника подумала, что Корсакова не позволила бы себе такой сцены, не уйди Липатова в зрительный зал. Только вот она не учла присутствия Сафиной.

– Нет, не спасешь, – отозвалась Леля равнодушно. – Потому что ты не покончишь с собой. И уж тем более не умрешь от рук мертвой пионерки.

Судя по ошарашенным лицам, никто не ожидал от Сафиной такой черствости, хотя все догадывались, что Римму она не любит и выбирать слова помягче обычно не утруждается, а говорит все как есть. Сама Корсакова от такой бессердечности опешила и растерянно спросила:

– Почему?

Леля пожала плечами:

– У тебя в мае одиннадцать съемочных дней. Сама говорила, такое не упускают.

Даня закашлялся, стремясь скрыть приступ веселья. Стайка юных артистов, державшаяся в стороне, суетливо попрощалась и выскочила на улицу, и даже оконные стекла не смогли заглушить взрыв хохота во дворе. Римма запрокинула голову – слишком высоко, чтобы расценить это как признак оскорбленных чувств, она явно пыталась не позволить слезам вытечь из уголков глаз. Ника не стала опускаться до цинизма

и рассуждать, боится ли Римма заплакать при всех или просто стремится сохранить макияж своих прекрасных глаз.

Тем временем Кирилл подал актрисе шубку, умело надел на плечи и на несколько мгновений ласково задержал свои руки на груди Риммы, на меховых отворотах. В ответ пальцы Корсаковой заскользили вверх по его запястьям, Римма вздохнула, откинувшись назад, на крепкую мужскую грудь. И Ника вдруг почувствовала острую резь в глазах. И, провожая парочку в сиреневый мартовский вечер, ощутила, как следом за ними по грязному снегу волочится что-то, чему нет названия и что тянется жилой и разматывается прямо из ее груди.

Заперев кассу, Ника шмыгнула в реквизиторский цех. Он почти не пострадал во время потопа, бетонный пол уже давно высох, и ремонт здесь не требовался, так что вещи постепенно возвращались на свои законные места. Комната, перегороденная несколькими стеллажами, представляла собой лабиринт, заполненный тем, что могло бы называться рухлядью, но гордо именовалось театральным реквизитом. Чего здесь только не было! Манекены, поясные и в рост, без глаз и лиц, и потому жутковатые, парики на округлых держателях, накладные носы, ресницы, животы, усы, бороды и косы всех мастей. Веера, трости, кокошники и короны со стразами, вычурные и чрезмерные при близком рассмотрении, но так эффектно смотрящиеся с последнего ряда зрительного зала. Утонченные венецианские маски, сомбреро и голубая шляпа жевуна из «Волшебника Изумрудного города», с веселенькими колокольчиками под широкими полями. Целый шкаф был забит разномастной посудой, частью настоящей, с хрустальными штофами, бокалами и кофейными чашечками на один глоток, частью бутафорской, легкой и небьющейся. Картины в рамах с зеленоватой патиной, кувшин в провансальском стиле, весь в сеточке кракелюра. Несколько жостовских подносов, черный чугунный утюг, огромный сноп колосьев, которые вечно осыпались шелухой по коридорам, старинный телефонный аппарат с золоченым рожком, шпаги и алебарды, развешанные на крючьях по стенам, кинжалы, ружья и пистолеты. И зажаристый гипсовый окорок на вертеле, прямиком из очага Карабаса-Барабаса, причем Ника точно знала, что снять его с вертела нельзя, потому что это единое целое. В окружении подделок, бутафории и муляжей даже настоящие вещи казались игрушечными, истории смешивались с вымыслом, со сказками, и было уже не разобрать, где заканчивается одно и начинается другое. Все вокруг пропитывалось ирреальностью, и было в этом что-то от сна или зачарованного морока.

Ника с наслаждением втягивала носом запах пыли, подвальной

затхлости, клея, старого крашеного картона. Во всем театре она не могла больше найти места, чтобы побыть наедине с собой, спрятаться: в кассе постоянно крутилась Липатова, или Ребров, или те, кто их ищет, и это ее угнетало. Но здесь, в самом углу реквизиторской, заставленной предметами из разных историй, рассказанных и еще нет, ее настигло умиротворение. Она опустилась на табуретку возле просыхающей конструкции, вверенной ей реквизитором Сашей, и принялась размышлять о недавнем происшествии.

Конечно, цветок на сцене просто так появиться не мог. Все знают суеверность Риммы, и никому не составило бы труда подкинуть живую гвоздику в нужный момент. Но в театре в это время было полно народу, а цветок перед выходом Риммы лежит у правой кулисы – подменить его мог любой. Кому это нужно? Вот вопрос. Хотя в последнее время Римма вела себя довольно неосмотрительно. Обидела Милу, поссорилась с Лелей, отпустила пару едких замечаний в сторону юных актрис, которых пока ставили только на эпизодические роли. Бедный Кирилл, ему ведь приходится терпеть ее скверный характер и дома. Какие, должно быть, сцены она ему устраивает.

«Не обольщайся, – Ника призвала к порядку себя. – Он в нее влюблен, ему сейчас любая ее слабость внушает восторг...»

Накатившееся оцепенение помешало ей вскочить в первую же секунду, когда дверь распахнулась и в реквизиторскую почти ворвались Сафина и Трифионов.

– Нет, ну что с тобой творится в последнее время? Ты же все время в раздрае, хотя и пытаешься сохранить лицо. Мне-то можешь сказать, мы же приятели! – Даня поймал Лелину руку и не выпускал. Слово «приятель» меньше всего на свете подходило Леле Сафиной. Она это знала и сморщилась, осторожно высвободила запястье.

– Дань, не начинай. Да где эта чертова накидка?

Леля принялась рыться в большой картонной коробке, доверху набитой плащами, платками, лентами, шальями и шарфами. Ника с тоской покосилась на дверь. Даже здесь нет покоя, остается надеяться, что актеры скоро уйдут, так и не заметив ее, слившуюся с интерьером, словно хамелеон. Или она давно стала частью реквизита театра «На бульваре»?

Даня, сунув руки в карманы узких джинсов, подпер спиной стеллаж.

– Слушай, я тут много думал... Не ты ли пытаешься доконать нашу истеричную принцессу? Может, потому и волнуешься...

Леля так натурально удивилась, что даже Ника, видя ее лицо через просвет между полками, поверила.

– Забавно, что спрашиваешь именно ты, – хмыкнула актриса. – Вообще-то я тебя подозревала...

– Не-е-е, – замотал головой Даня. – Не мой стиль.

– Как раз твой! Идиотские истории и страшилки в духе летнего лагеря после отбоя. Пионерка, призрачная радиоволна, цветок... Только что «гроб на колесиках» у нас еще не появлялся.

– Вот я и говорю: не мой стиль. Слишком жестоко. И планомерно. Мне бы это давно наскучило. Да и с чего так измываться над Риммкой, не понимаю... Она, конечно, не подарок...

– Это еще мягко говоря.

– Да, но девка-то она неплохая.

– Паша и Мила с тобой бы не согласились.

– Ой, да ладно!.. Что, думаешь, Пашка?

Леля пожала плечами и стала рыться в ворохе цветастых тряпок с удвоенным рвением.

– Говорит, что не он, – подытожил Даня. – Да и бог с ним! Кто без греха, пусть пойдет и удавится, святым не место в нашей песочнице. Может, вообще совпадения? Мистические знамения? Мы ж все обречены, забыла?

– Отлично... – Леля вздохнула.

– Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго с тех пор, как святой Илион им разрушен... – начал декламировать Трифонов нараспев первые строчки гомеровской «Одиссеи».

– Мы-то с тобой прекрасно знаем, что Илион еще не разрушен. Троянской войны-то ведь не будет, – Леля попробовала пошутить, но рот исказила гримаса. С глубинным, внешне не обоснованным отчаянием она вдруг оттолкнула от себя коробку, и та опрокинулась бы со стола на пол, не придержи ее Трифонов.

– Мы-то с тобой прекрасно знаем, – отозвался он, – что все предначертано. В том числе и Троя... Лелька, скажи, что случилось, а? Не могу я больше смотреть, как ты мучаешься. Нет, ты, конечно, можешь и дальше твердить, что все в порядке, но я тебя хорошо знаю и вижу, когда ты врешь. Так что мне можешь не заливать. Скажешь, что все о'кей, и я от тебя не отстану, а когда доберусь до правды...

– Я беременна, ясно? – Леля всем телом развернулась к Трифонову, глядя ему прямо в глаза со злостью. Брови ее выгнулись надменными дугами. Даня с усилием сглотнул.

С минуту все было тихо, стало слышно, как по трубе с шорохом течет вода. После резкого всплеска у Лели будто не осталось сил, она сникла

и тихо опустилась на низкую садовую скамеечку. Трифонов потер переносицу, бормотнул:

– И ты мне говоришь это потому...

– Потому что ты спросил! Потому и говорю. Хотя зачем тебе знать, отец-то все равно не ты.

– О да, я бы такое запомнил, – Даня взглянул темно и серьезно. И присел рядом на корточки, сцепив руки в замок и упершись в него лбом. Оба замолчали. И Ника, притаившись в углу, молила бога, чтобы они ее не заметили. Только не сейчас, не после всего сказанного и услышанного! Если бы существовала хоть малейшая возможность провалиться сквозь бетон пола, она молила бы об этом.

Наконец, Даня спросил, не поднимая головы:

– И что будешь делать?

– Сам знаешь что. Я актриса, буду играть в театре. Я родилась для этого, я училась для этого и только этого я хочу. Кто сказал, что участь женщины – быть босой и на кухне? Я приношу пользу, максимум из того, что могу! Я ведь стараюсь изо всех сил! То, что я, все мы делаем на сцене, кому-то нужно, люди приходят посмотреть и пережить это вместе с нами. И я переживаю не одну свою жизнь, серенькую и невзрачную, а многие. Многие жизни, такие насыщенные, горестные... Счастливые. Кто знает, что более реально? Может быть, ты знаешь? Я всю жизнь знала, что буду играть в театре, с пяти лет знала. С первого раза поступила в театральный. Я играла с воспалением легких, с подвернутой ногой, с температурой. Я вышла на сцену после того, как застучала своего первого мужчину, с которым планировала умереть в один день... У него была расстегнута ширинка, а у стоящей рядом моей лучшей подруги – задрана юбка... Я думала, что сдохну, но через час уже вышла на сцену и сыграла так, что получила фестивальное диплом за лучшую женскую роль. Не переношу тех, кто обсуждает актеров, читает все эти сплетни в бульварных газетенках и говорит, что актерам все достается легко. Легко, как же! Кто из этих обывателей способен по собственному решению набирать вес или худеть, как этого требует роль, всего за пару месяцев? Качаться в спортзале? Не жрать неделями! Учиться играть на фортепиано, петь, свистеть, фехтовать, скакать верхом... Терпеть холод во время зимних съемок, когда бюджет у фильма мизерный и он потом не выйдет в прокат, дай бог покажут в полвторого ночи по телику... Но приходится сниматься на берегу заснеженной Волги, ждать, пока часами выставляется свет, и все это время тебя пронизывает промозглый ветер. И потом оттаивать в захудалой гостинице, отпаиваться водкой... Были у меня такие съемочные

дни, помню. Нет у меня славы и всенародного признания, но я не пропустила ни одной репетиции за последние четыре года в этом театре... Какая из меня мать! Что может быть неправдоподобнее и глупее? Я ведь не белая и не пушистая, не умею подтирать сопливые носы, менять подгузники. И не умею быть милой. Ай, да что там!.. Не будет этого... Короче, – она вдруг поперхнулась и пару раз откашлялась. – В понедельник у меня собеседование в Вахтанговском театре, а на вторник я записалась на... к врачу. Не нужен мне этот... ребенок.

Слово вышло так коряво, будто застряло. Трифонов поднял на нее глаза:

– Мне нужен.

Леля усмехнулась. Но Даня оставался все так же серьезен, и она презрительно сощурилась:

– Трифонов, кончай с этим, а?

– Я серьезно. Мне нужен.

– Ты понимаешь, что несешь? Хочешь, чтобы я родила ребенка и отдала его тебе, так, что ли? Спасибо, я не просто матка на ножках! Я, если ты не заметил...

– Нет. Мы будем воспитывать его вдвоем, ты и я. Это будет наш ребенок.

И во внезапном порыве он прильнул к Лелиным губам.

Сначала она даже ответила на поцелуй, ее рука легла на его плечо, поползла к рыжему затылку, но уже в следующее мгновение Сафина вскочила на ноги.

– Придурок! – в смятении выпалила она. Ее расширенные глаза смотрели со страхом.

– Ну да, придурок... – зло заключил Даня, тоже выпрямляясь. Он был выше ее на полголовы и в эту минуту стал намного внушительнее и крупнее, чем обычно. – Я ведь шут! Веселюсь, прикалываюсь, такой всеобщий клоун. Тебе никогда не приходило в голову, что это единственный способ оказаться рядом с тобой? Кого еще из мужчин, кроме такого безобидного меня, ты подпускаешь к себе? Не так, чтобы сделать тебе ребенка, а по-настоящему близко. А?

Он вышел не оборачиваясь, и дверь притворилась за ним с жалобным тонким скрипом. Леля, ошеломленная, медленно приложила ладони к щекам и надолго затихла. Она не плакала, ее лицо вообще ничего не выражало. Нике очень хотелось прижать к себе Лелю, обнять, чуть покачиваясь из стороны в сторону. И найти какие-то слова, пусть бестолковые, зато успокаивающие самим звучанием участливой,

неравнодушной речи. Но в разговоре в реквизиторской участвовали только двое.

А ведь Ника могла догадаться. Она же умела замечать детали и сопоставлять их, а тут было все одно к одному: тошнота, перепады настроения, любовь к ненавистному раньше сельдерею, голубые бахилы медцентра, даже приснившийся Леле сон о том, как она ловила руками форель, – девушка только не могла припомнить, когда именно Леля делилась с ней увиденным сновидением. И любовь Дани не стала для Ники откровением, слишком часто он вился около Сафиной, хохмач и балагур, слишком много видел, чтобы быть просто другом. Но Ника не придавала этому значения. Ее мысли были заняты совершенно другой парой. И теперь... Ох, почему же на душе у нее скребут кошки? Она ничего не могла сделать, не могла повлиять на решение Сафиной – потому что не имела никакого права. Возможно, раньше, несколько лет назад, она бы наплевала на то, как будет выглядеть, если признается, что была в реквизиторском цехе и все слышала. Тогда она была юной, принципиальной – и ей до всего было дело. Она изменилась.

Но когда в означенный день, вторник, Леля не пришла на репетицию, сказавшись больной, Никино сердце тоскливо сжалось, словно это она совершила непоправимое. Ничего при этом не совершая. Или именно поэтому?

Больше никто не знал про Лелю, театр жил тысячей мелких дел, актеры расхаживали в костюмах, наполовину уже готовых, Липатова твердила нанятому технику про неполадки на режиссерском пульте, Саша-реквизитор не мог отыскать затерявшуюся в хаосе банку бутафорской крови. Все это сопровождалось невообразимым шумом отбойного молотка, шлифовальной машинки и дрели – ремонт продолжался, причем ускоренными темпами. И лишь Ника украдкой взглядывала на проходящего мимо Даню Трифонова, молчаливого и смурного. Губная гармошка сегодня ни разу не выпорхнула из его карманного гнезда.

Ника не могла читать, не могла занять себя ничем – да и работы ей не осталось, продажа билетов прекращена, зрителей не было, потому что не было спектаклей, и даже вечная Катя куда-то запропастилась после того случая со Стародумовым. Девушка не могла избавиться от тревожного чувства, будто была карасем в пруду, оказавшемся ванной, воду из которой уже начали спускать.

Не ожидая никого чужого, она даже не повернула голову, заслышав звук отворившейся и закрывшейся входной двери. И только последовавшая

за этим тишина и по-прежнему бросающее в дрожь ощущение чьего-то пристального взгляда заставило ее поднять глаза. У окошка стояла Дашка. Несмотря на весеннюю, не по-мартовски теплую погоду, на девочке был все тот же ветхий пуховик. Вероятно, из теплой одежды у нее больше ничего не было.

Поскольку Дашка не заговаривала, Ника крутанулась на кресле и приоткрыла дверь каморки, указывая на нее через стекло:

– Заходи сюда!

Дашка прошла за угол и появилась на пороге.

– Привет... – улыбнулась Ника. Девочка кивнула. Шагнула к столу и положила прямо перед Никой черный кожаный кошелек. Ника вопросительно приподняла бровь.

– Передайте это... Светлане. Я случайно у нее взяла.

Ника покраснела.

– Конечно, передам.

Дашка тут же отвернулась, чтобы уйти.

– Дашка, подожди! Может, ты сама ей передашь? Она здесь... на репетиции. Она будет очень рада тебя видеть, она так расстроилась, когда ты в тот раз ее не дождалась.

– Это вряд ли, – пробормотала Дашка и кривовато усмехнулась.

– Нет-нет, я тебе точно говорю. Подожди, я сбегаю!

– Да не надо, ясно?!

Грубость Дашки не могла обмануть Нику, она понимала, что это лишь защитная реакция. Но не знала, стоит ли пытаться пробить броню. Поэтому она молчала, стоя напротив девочки и предоставив ей возможность самой подумать.

Дашка не уходила. Сначала она ждала Никиного ответа, но не дождалась. Посмотрела с удивлением и даже любопытством. И, внезапно осмелев, принялась глазеть по сторонам, изучая старые афиши, закрывшие обои внахлест, одна на другую, покосилась на липатовскую монстеру, раскидистую, с хищными резными листьями. Тронула пальцем сухой кончик одного из листьев, и Ника заметила, что с прошлого раза митенки на ее руках стали еще грязнее.

– Воздух слишком сухой, комп все время работает, сушит. Брызгать надо, а то она загнетса у вас, – посоветовала Дашка и озабоченно нахмурилась. Было видно, что ее действительно задевает невнимание к комнатному цветку.

– Хорошо, я прямо сейчас побрызгаю, – пообещала Ника, и Дашка кивнула успокоенно. – Только... пульверизатора-то у меня нет... Надо

в костюмерной...

– Не надо.

Без спроса взяв чайник, Дашка плеснула из него в стакан воды, сделала пару больших глотков, еще раз долила и набрала полный рот, так что щеки надулись бочонком. Подступилась к растению и принялась разбрызгивать воду изо рта. «Точь-в-точь моя мама во время субботней глажки...» – Нику охватила щемящая грусть.

Опустошив стакан, Дашка вытерла мокрые губы тыльной стороной ладони. Покосилась на Нику и взяла со стола кошелек, раскрыла его, причем Ника заметила атласную пустоту купюрных отсеков, и вытащила из прозрачного кармашка маленькую фотокарточку.

– Это кто, знаешь?

Ника пригляделась и вздохнула:

– Володя. Светланин сын.

– А, – равнодушно отозвалась Дашка, вставила фотографию на место и небрежно кинула кошелек на столешницу.

– Он умер, – продолжила Ника. – Год назад. Хорошо, что ты принесла... Светлана наверняка расстроилась, что потеряла. Деньги, кошелек – это все так, мелочи, а вот фотография...

– Кому мелочи, а кому и нет.

Деловито сунув руки в карманы, Дашка еще раз осмотрела обстановку. Она имела привычку обкусывать изнутри губу и щеку, отчего лицо ее кривилось, как от нервного тика. Наконец, девочка решилась:

– А... сколько стоит билет на какой-нибудь спектакль тут у вас?

– Я могу выписать тебе контрамарку, если хочешь.

По озадаченному виду Дашки Ника поняла, что та впервые слышит это слово, и пояснила:

– В смысле, могу пропустить тебя и так, бесплатно. Я ведь стою на контроле иногда.

– Не надо мне подачек, – резко отозвалась Дашка и принялась грызть щеку с еще большим остервенением.

Ника почувствовала досаду и попробовала смягчить впечатление:

– Сама видишь, сейчас у нас простой. Трубу прорвало. Так что спектаклей не будет какое-то время. Но ты можешь посидеть на репетициях, я спрошу у Ларисы Юрьевны...

– У той-то? Местной хозяйки? Она не разрешит. Слишком правильная. Таким главное, чтобы все шло по правилам. Ладно, я пойду.

Не прощаясь, она толкнула дверь и вышла в фойе. Ника метнулась к своему окошку и окликнула ее уже у выхода:

– Ты же все равно вернешься, да? Светлана очень обрадуется...

– Ага... А потом догонит и еще раз обрадуется, – зло отозвалась Дашка и ушла, не оборачиваясь.

Ника безнадежно вздохнула и отправилась на поиски Светланы Зиминой.

На сцене шла репетиция. Актерам приходилось говорить громче обычного, чтобы перекричать грохот ремонта, Липатова в первом ряду страдальчески морщилась.

Девушка, привычно огладив глазами стоящего вполоборота к ней Кирилла, скользнула к Светлане и тронула ее за плечо.

– Светлана... Ваш кошелек? Я нашла...

Актриса встрепенулась:

– Она приходила? Ведь приходила, да? Дашка.

Помедлив, Ника кивнула.

– Когда?

– Только что ушла.

Светлана вскочила и выбежала в коридор с явным стремлением пуститься вдогонку. Липатова обернулась. Раздраженно затрясла головой и прикрыла ладонями уши.

– Невозможно! Это невозможно! Все! Перерыв пять минут! – И тоже вышла своей решительной тяжелой походкой, в это мгновение даже борцовской.

Мила Кифаренко спрыгнула со сцены в зал и принялась поправлять прическу в греческом стиле.

– С этими ободками такая морока! А еще в моду вошли, не понимаю – как? Все время на затылок съезжает!

Она нетерпеливо дергала застрявшую шпильку. Паша с готовностью поднялся с кресла:

– Давай помогу...

Мила ссутулилась перед братом, по-детски надувая губы:

– Может, мне череп попался бракованный?

– Самый лучший в мире череп, – тут же отозвался Паша.

– А вот у меня, например, – подала голос Римма с самодовольным видом и легчайшим жестом, рассчитанным на стоящего рядом Кирилла, прикоснулась к завернутым прядям над висками, – все прекрасно держится.

Брат с сестрой проигнорировали эту реплику. Ника воспользовалась возможностью и пытливо, боясь не успеть, посмотрела на Кирилла. Тот проверял крепость одной из металлических конструкций декорации, дергая на себя перекладину. В течение спектакля ей предстояло выдержать

не один резкий прыжок актеров. Длинные пальцы Кирилла обхватывали алюминиевую гладкость приваренной трубы, и Ника видела это движение в замедлении, в увеличении, схваченное крупным планом – не столько своими глазами, сколько чувствами. Через его руки она сама ощущала прохладу и глянец металла, диаметр, размер, твердость. И видела, как напрягаются мышцы руки, предплечье, плечо... Кирилл перехватил перекладину поудобнее и повис, покачался, подтянулся. Мускулы рельефно и чувственно проступили на его спине. Жгучая кровь ударила Нике в голову, она не знала, куда деться от стыда своих желаний. И с трудом подавила свои фантазии.

Тем временем вернулась Зиминая, и Ника сразу поняла – не догнала. Паша Кифаренко сноровистыми движениями, которые едва ли можно было заподозрить у этого неловкого парня, подплел сестрины волосы под резинку ободка. Ника прикинула, что он, наверное, еще со школы умеет обращаться с кудрями Милы, а та без него совершенно беспомощна. Ей, помнится, даже не хватает терпения снимать длинные вечерние перчатки как полагается: потянув попеременно за несколько пальцев. Нет, она стаскивает их с руки одним махом, подцепив над локтем и попутно выворачивая наизнанку, точно зная при этом, что стоит протянуть перчатки Паше, и он тут же приведет их в надлежащий вид.

– Пойди спокойно, – попросил он с улыбкой.

– Когда-нибудь, – личико у Милы стало мечтательным, – может, в Голливуде или еще где-нибудь... у меня будет свой ассистент. Чтобы тебя не отвлекать.

Она наморщила лоб и запрокинула голову, глядя на высоченного брата через себя.

И тут без видимой причины у Трифонова внезапно сдали нервы. Он в мгновение ока оказался рядом с обоими Кифаренко и взвыл:

– Ты что, не понимаешь? Ау, очнись! Никто из нас не станет знаменитым и в Голливуд уж тем более не поедет! Ты что, не поняла смысл пьесы? Войне – быть! Все без толку! Мы как дрова для костра, мы овцы, которые сами себя режут на алтаре. А бог жестокий и довольно равнодушный. Его зовут Театр. Мы стареем, бьемся друг с другом насмерть, сидим на диетах, плетем интриги, режем из-за новой морщины, и после этого появляется еще одна... Мы себя попросту гробим. Отказываемся от всего настоящего – во имя чего, искусства? Все зациклились, с ума сошли. Театр, театр, спектакли, репетиции. Слава? Нет ее, забудь! Ты ждешь, мечтаешь, а так проходит жизнь! Настоящая, твоя!

Даня ткнул пальцем в Милу так, что едва не задел ее курносый нос. Парень был сам на себя не похож. Куда только делась привычная беспечность? Одна только Ника знала. У Милы вдруг задрожали губы, то ли от его слов, то ли от такой неожиданной и такой разительной перемены. Трифонов ее испугал. И тогда Паша подошел к Дане вплотную и с едва заметной заминкой положил ему ладони на грудь и стиснул фланель клетчатой рубашки. Тихо стоящую в проходе Лелю Сафину они не заметили.

– Не смей так разговаривать с моей сестрой, – Паша угрожающе понизил голос до баса. – Если тебе все кажется именно так – пусть. Я всегда знал, что ты слабак. Но не надо убеждать других в том, что все кончено. У Милы все еще точно впереди. Я сделаю что угодно, чтобы...

– Чтобы исполнить все ее мечты? – Между бровями Дани проступила глубокая складка. – Ну да, ты же у нас Дон Кихот. Давая, валяй, кидайся на мельницы. Получишь лопастями по физии, я хоть посмеюсь...

Верзила Паша оттолкнул Даню, вроде бы легко, но тот шатнулся и ухватился рукой за стену, чтобы не упасть.

– Дети. Вы просто дети. – Леля стремительно рванулась и встала между ними, высокая и крепкая, будто в доспехах вместо пальто. Паша и Даня свирепо переглянулись и разошлись по углам. И только теперь Даня осознал, что пришла его Леля.

– Ты же вроде заболела... – он спрашивал совсем другое.

– А я выздоровела, – отрезала она и стала разматывать пуповину белого шарфа длиной метра в три.

## Явление восьмое

### Рефрен

Мороз, из-за которого в театре «На бульваре» прорвало трубы, оказался последним в эту зиму, а потому самым лютым, озлобленным от ощущения собственной конечности. Теперь по ночам еще примораживало, но с первыми лучами солнца асфальт улиц заливало мутной жижей. Из-под сдувшихся сугробов текла вода, машины фыркали в грязевые усы, проносясь по проспектам, обдавая ошалелых пешеходов московским мартом. Солнце припекало жарко, телесно, словно к лицу прикасается кто-то горячечный, в сухой жестокой лихорадке. Так в город вошла весна, и первый раз за долгое время Ника почувствовала ее внутри себя. Не радостным восторженным оживлением, о котором твердили рекламные щиты, пестрящие слоганами в духе «Весна – пора влюбляться» и улыбающимися моделями, одетыми или скорее раздетыми совсем еще не по погоде, а волнительным, тяжело и неуклонно проворачивающимся в животе колесом со множеством спиц, то холодящих, то обжигающих нутро, то скользящих быстро-быстро, сливаясь в один гладкий круг. Она припоминала, что и раньше, в другом городе, в другой жизни, по весне ее всегда охватывало это щемящее ожидание, как за кулисами перед выступлением. Только она не знала еще, что ей предстоит танцевать – и предстоит ли вообще. И это незнание, томительное, сумасшедшее, накатывало волнами.

Новые сапоги немного жали: в магазине оставалась только эта пара, и Ника решила рискнуть и купить на размер меньше своего. Чисто женская беспечность, подкрепленная торжествующим удовлетворением от каждого пойманного отражения – в витрине, магазинном зеркале, двери павильона метро. Непривычная невесомость после зимней обуви делала шаг легким и скорым. Блестящая кожа и тонкий острый каблук сглаживали неудобство хотя бы тем, что заставляли Нику ощущать себя иначе, забыто: высокой, стройной, хрупкой. Танцевальное прошлое приучило ее и не к таким тяготам, что ей сапоги другого размера! Нет мозолей и ладно, зато есть балетная осанка. Развернув плечи, Ника зажмурилась от наслаждения – ее сущность принимала давно отринутую форму, как рубиновое божоле, вливающееся в бутылку с узким горлышком, и впервые Ника всерьез усомнилась в том, что прожила эти три года *правильно*.

Перед входом в театр этим утром ей пришлось отыскать лужу почище и хорошенько сполоснуть в ней подошвы сапог. На черных кожаных носках подсыхали серые брызги, и Ника по очереди сунула их в сахарный островок снега, накиданный дворниками с крыши. Именно в этот момент она заметила бездомного человека. В углу за крыльцом, на каменной отмостке возле водосточной трубы, схваченной скобами и ведущей к канализационной решетке, под которой неумолчно журчала весенняя вода. Бездомность в нем (или в ней – принадлежность к полу было не разобрать) зияла как болезнь, печать, как нечто, не требующее объяснений, ответов, очевидная и чуждая всем тем, у кого есть дом. Сперва Ника даже не поняла, что это живое существо, скрытое в бесформенном ворохе разномастной одежды, ей знакомо. Оно сидело на корточках, нахохлившись, так что не видно было лица. Поверх заляпанного пуховика наброшена старая растянутая кофта с чужого плеча, бордовая в коричневую полоску, со спущенными в некоторых местах петлями. Совершенно явно этот человек надел все, что у него было, чтобы не замерзнуть прошедшей ночью. Только непонятно, удалось ли ему это. Там, где должна быть голова, покоилась большая меховая шапка, поглотившая своего теперешнего хозяина, надвинутая на самый его лоб. Пальцы поджалились внутрь рукавов так, словно этот чудовищный снеговик и вовсе их не имел. Ника шагнула, еще не понимая, хочет ли она помочь или прогнать, – и только тут поняла, что это Дашка. Девочка спала скукожившись и опершись плечом о стену.

Сон не был пьяным: чутко услышав чье-то приближение, девочка встрепенулась, проворно подняла голову и подскочила на ноги, еще толком не проснувшись.

– Дашка... Боже мой...

Дашка смотрела на Нику, узнавая и не узнавая. И Ника точно знала, что произошло что-то непоправимое, из взрослого мира, и слова не имеют сейчас никакого смысла. В глубине серых глаз ворочалась такая тоска, которой нечего было противопоставить. И, повинувшись интуитивному желанию, Ника шагнула еще ближе. От кофты шел терпкий запах бездомности, перебить который не могла даже свежесть льющей с крыши капли. От Никиного стремительного приближения Дашка вздрогнула и съежилась – и отступила бы, если бы было куда. Но Ника привлекла ее к себе за плечи и крепко обняла. Шапка соскользнула назад и упала, и тогда Никина ладонь легла на маленький затылок. Только теперь Дашка задрожала, крупно, всем телом.

– Тш... все хорошо... тшш...

Капель лилась обеим за шиворот, но Ника ощущала только

запутанные, слипшиеся на затылке волосы и дрожь маленького затравленного зверька, которому некуда деться.

Есть люди, один облик которых уже говорит: «Спроси, спроси же меня, начинай расспрашивать сейчас же». Они наслаждаются своим нездоровьем, своими горестями, им нужно, чтобы их выслушали, приголубили. Пожалели. Ника догадывалась, что Дашка не относится к таким. Но даже при этом знании настороженность и пугливость этого подростка причиняла боль. Когда Ника делала шаг в ее сторону, подходила чуть ближе допустимого, из Дашки словно выпускали воздух, как из резинового мяча. Она с трудом дала уговорить себя раздеться, снять кофту и пуховик, под которым оказались еще два свитера и футболка, растянутая, с серым от грязи воротом, насквозь пропитанная потом и страхом. Ника завела девочку в актерский душ, что располагался через стенку от гримуборных, и оставила там, успев заметить, что предплечья худеньких рук покрывают синие и багровые кровоподтеки, свежие, еще не пожелтевшие. И снова в глазах это предостережение: не спрашивай, не говори ничего, чтобы мне не пришлось врать. Ника предпочла покориться и плотно притворила дверь, тут же услышав, как предательски поспешно с той стороны рванулась в паз задвижка шпингалета.

Пока Дашка принимала душ, Ника, пользуясь своим ранним появлением и пустынностью театра, выстирала всю ее одежду, стараясь тереть как можно мягче и бережнее: она опасалась, как бы ткань не расползлась прямо в ее руках – такая она была ветхая. Потом девушка успела позвонить Светлане, обрисовать ситуацию в общих чертах и попросить захватить из дома другую одежду на смену. До тех пор Дашку ждало кое-что из Никиных вещей, на всякий случай висевших в шкафу.

Ника предполагала, что будут проблемы. Выйдя из душа, Дашка восприняла устроенную ею стирку как оскорбление, и ни слова благодарности Ника от нее не услышала. Только категорически пресекла Дашкину попытку натянуть на себя мокрое.

– Ни за что! Простудишься.

– Подумаешь! Заботливая какая... Мои вещи всегда на мне сохнут. Я вообще на улице сегодня ночевала, между прочим.

– Между прочим, ночевать можешь где тебе вздумается, – намеренно резко ответила Ника, решительно отбирая у девочки кипу кофт и свитеров, противно поскрипывающих влажным синтетическим волокном. – Но это я повешу сушить.

– Где? – нахмурилась Дашка.

– На чердаке, если хочешь. Там их никто... то есть... туда никто не ходит, – сориентировалась Ника и невозмутимо направилась к винтовой лестнице. Дашка побрела за ней, из вредности отстав на несколько шагов.

Под крышей было по-весеннему гулко. Запыхавшись от крутого подъема, Ника осмотрела помещение под косым скатом, и от ее глаз не укрылся ни солнечный луч, перерезавший пыльный воздух от маленького мутного окошка до заваленного трухой пола, ни свитый прошлогодними осами серый кокон гнезда у потемневшего стропила – даже в городе природа умудрялась взять свое. Зацепляя предусмотрительно захваченные из костюмерной вешалки на петельках скоб, стежками идущих по деревянной перекладине, Ника краем глаза ухватила что-то чуждое, совершенно на чердаке необязательное, и внутри у нее тут же неприятно набух узловатый комок. Ника присмотрелась внимательнее, и в кончиках пальцев закололи нервные иголки: прямо на полу, чуть прикрытые куском молочно-старого полиэтилена, стояли радиоприемник, вполне способный быть и радиопередатчиком, – и банка бутафорской крови, так и не найденная реквизитором после потопа. И хоть в театре не было никаких мистических происшествий при участии кровавых луж или надписей (слава богу, обошлось все-таки без кентервильского привидения – может, только пока?), Ника моментально смекнула, что кровь и радиоприемник относятся к одной и той же истории, к уже написанной и только намечающейся ее главе про погибшую пионерку, изводящую Римму Корсакову. И злой умысел неизвестного Риммино не доброжелателя стал до невозможности очевиден. Никакие это не совпадения, никакая не чертовщина, никакая не шутка. Шутка не затягивается так надолго, а так жестока бывает лишь с подачи действительно скверного человека.

И он – один из театралов.

Дашка, изучавшая чердачное помещение, не заметила смятения Ники, и та быстро взяла себя в руки. Посвящать во внутренние дела постороннего девушка не собиралась. Только досадовала на себя за то, что притащила сюда сушиться вещи: стало быть, придется возвращаться за ними, причем самой. Нельзя допустить, чтобы кто-то еще *знал*. И что делать, говорить Липатовой или нет?

Нет. Ответ возник сразу же, и в его правильности Ника ни разу не усомнилась.

Когда они спустились в коридор и вышли в фойе, в театре уже начинался новый день. Навстречу спешила Светлана Зимина, при приближении которой Дашка, хоть и стремилась выглядеть

равнодушной, все-таки принялась обкусывать изнутри щеку. Бригада строителей втаскивала коробки с кафелем. Чуткое Никино ухо выхватило из обилия звуков прекрасный голос, вроде бы негромкий, но легко совладавший с окружающим шумом, и от неожиданной радости в голове стало пусто и звонко, несмотря на то что Кирилл всего лишь обсуждал с Липатовой организационные вопросы по спонсорству. Явно скучающая неподалеку Римма дергала из шали длинную ворсинку, и Ника, вспомнив увиденное на чердаке, неожиданно горячо пообещала себе, что будет приглядывать за красавицей. На всякий случай. Чтобы Риммин мужчина мог жить чуть спокойнее.

Несколько дней спустя стало ясно, что Дашка поселилась у Светланы. Теперь актриса приходила вместе с ней на репетиции и примерки, и девочка ждала, либо забившись на чердак, который облюбовала с первого взгляда, либо просто в уголке гримерки, зала или Никиной каморки, на удивление терпеливо и безропотно, хотя глаза оставались прежними, резкими и чуть вызывающими – от страха, что прогонят. Ника так и не узнала, почему девочка провела ту ночь у порога театра, что произошло в ее маленькой взрослой жизни, но было понятно, что идти Дашке больше некуда. Раньше было куда, а теперь нет. Та бездомность, что исходила от девочки и которую так безошибочно, внутренним чутьем уловила Ника, улетучивалась нехотя, постепенно и лишь благодаря присутствию Светланы.

Вынужденно оставаясь наедине с Никой, Дашка обычно отмалчивалась. Однако ее насупленная немногословность казалась качеством приобретенным, скорее развившейся привычкой, чем природной данностью, потому что на лице ее, довольно хмуром и неприветливом, то и дело мелькали выражения любопытства, иронии, интереса, презрения или надежды – когда она думала, что на нее никто не смотрит. В такие минуты Ника четко считывала, какого Дашка мнения о Римме Корсаковой (левый уголок губ при появлении красавицы дергается довольно нелестно – для Риммы), о Дане Трифонове (при нем Дашкины брови взлетают вверх, делая черты лица асимметричными и очень оживленными). Лелю Сафину она, кажется, побаивалась, Липатову недолюбливала, над несуразностью Реброва втайне посмеивалась. При этом со всеми ними она оставалась настороже, чуткая до второго и третьего смысла услышанных слов и интонаций, словно в грудь ей был встроен барометр. Она ждала подвоха даже от Зиминой, особенно от Зиминой, от которой зависела. Но женщина этого не замечала или делала вид и каждый раз

светлеела лицом при виде своей подопечной, даже если оставила ее всего на минуту. Нику забавляло, как явно их обеих пугает одинаковая мысль: что вторая куда-нибудь денется.

– Кажется, дела у вас идут на лад... – улучив момент, шепнула Ника.

– Кажется, – улыбнулась Зиминая. – Слушай, я давно хотела спросить... Забавно, сколько лет мы друг друга знаем, а я все не в курсе... Ты по должности у нас кто?

– Я кассир.

– Значит, гардеробщицы у нас нет?

– Я дежурю в гардеробе во время спектаклей, но денег мне за это не платят, – усмехнулась Ника. – Сами знаете, как у нас с бюджетом. Туго.

Зиминая в раздумьях вытащила из прически шпильку и, повертев в пальцах, воткнула обратно. Ей хотелось поделиться своими мыслями, и Ника с удивлением поняла, что именно ее актриса выбирает в качестве поверенной.

– Волнуюсь я, за Дашку, – решила признаться актриса. – Едва уговорила ее пожить у меня, буквально с боем. Она просто зациклилась! Что ей ни предложу, она все говорит, что ей не нужны ни подачки, ни благотворительность. Хотела купить новую одежду вместо тех ужасных обносков, а она ни в какую. Согласилась только поносить кое-что из Володиных вещей. Джинсы, футболки...

Имя сына Зиминой произнесла с едва заметной заминкой.

– Ей нужно время, – отозвалась Ника. – Сами подумайте, еще недавно она была предоставлена сама себе. Она привыкла надеяться на себя, и только на себя. И совсем не верит в добрые намерения, ей кажется, что потом от нее потребуют чего-то взамен. Ей не хочется быть кому-то обязанным. А вам она обязана, с этим ничего не поделаешь, и это сильно ее задевает.

– Точно, – Светлана удивленно взглянула на собеседницу, словно эта простая мысль не приходила ей в голову.

– Не все сразу, дайте ей привыкнуть, – продолжила Ника тихо.

– Послушай, а что, если... Что, если попросить Липатову взять Дашку на работу? Хотя бы этой самой гардеробщицей? Так у нее будет зарплата, и она перестанет чувствовать себя должной мне. И при этом не надо будет работать где-то далеко, она всегда будет у меня перед глазами. А?

– Не думаю, что Лариса Юрьевна согласится. Сейчас у театра и так много расходов, она все время на взводе. Не будет она создавать новую должность. По крайней мере до премьеры.

– А разве на премьеру нам не понадобится гардеробщица?

Ника пожала плечами. Она могла бы сказать, что премьера будет летом, а значит, вещей в гардероб сдадут совсем немного. С другой стороны, ей хотелось бы обнадежить Зимину, но опять-таки: зачем вводить человека в заведомое заблуждение? Липатова только вчера орала на бригадира, потратившего лишние деньги на линолеум для буфета. Все-таки линолеум, хотя в наводнении погиб паркет...

Через час они со Светланой снова столкнулись в коридоре, когда та покидала кабинета худрука, неся в складках юбки ядреный запах свежей, еще не просохшей нитрокраски и разочарования. Женщина сокрушенно качнула головой, встретившись с Никой глазами, и та в ответ сочувственно улыбнулась. Не судьба, значит.

Тем более сильным было ее изумление, когда на завтра в обед Дашка, с самого утра переполненная восторгом, который почти проливался из ее блестящих серых глаз, все-таки не выдержала, выпалила:

– А я теперь тут работаю! Гардеробщицей!

В доброту Липатовой Ника не поверила ни на секунду. Худрук была неплохим человеком, но широта ее души заканчивалась там, где начинались интересы театра. А гардеробщица сейчас в эти интересы никак не входила.

Тем не менее известие оказалось правдой. Дашку взяли на оклад, мизерный, правда, но настоящий. И Нике оставалось только подивиться, чем таким особенным Зимина купила Липатову.

– Эй, но ты же не думаешь, что я тебя «подсидела»? – озаботилась Дашка чуть позже, сверля Нику глазами. – Ты скажи, если так, я мигом отсюда свалю, лады?

Ника заверила девочку, что не имеет никаких претензий. Но было заметно, что Дашка ей не поверила – но не настолько, чтобы отказываться от места. Несмотря на официально подписанный приказ о назначении, работы у нее не появилось: в отсутствие спектаклей отсутствовали и зрители, а актеры со своей одеждой справлялись и сами, гардеробом никогда не пользуясь. Дашка по-прежнему часами высиживала в самом темном и неприметном углу, и, идя на днях по коридору мимо реквизиторской, переступая через наваленные кучей доски и куски крашеной фанеры, оставшейся от декораций, Ника замерла от поразившей ее мысли: ведь Дашка совсем как она сама! Только в сравнении с девочкой Ника уже не так дичится всех и вся. Как, когда произошла в ней эта перемена? И что стало причиной? Теперь Ника уже не чувствовала себя мышкой, шуршащей под половицами. Она не стала заметной в театре персоной, но и невидимкой больше не была. И это доставляло волнение –

но не страх, больше нет.

Римма, услышав новость, фыркнула:

– Гардеробщиками должны становиться только проверенные люди. С такой профессией легче всего обчищать чужие карманы.

Ника видела, как Дашка вспыхнула до корней волос, когда эта реплика достигла ее ушей. Она ненавидяще зыркнула на Римму, а потом перевела взгляд на саму Нику, кажется, подозревая в излишней болтливости. Ника выдержала взгляд спокойно, но не заступилась за девочку. Но в этот момент Светлана Зиминая подошла и взяла Дашку за руку.

– Не суди других по себе, дорогая. Целее будешь, – посоветовала она Римме. И Ника могла поклясться, что в этой фразе явственно расслышала угрозу.

Несмотря на то что Липатова приняла Дашку на работу, относилась она к ней не лучше, чем к пришедшей кошке Марте, – то есть никак не относилась. И обеих это, казалось, полностью устраивало. Если Дашка и имела насчет худрука театра свое мнение, а так оно, конечно, и было, то держала его при себе. Нику вообще поражало, какой серьезной и благоразумной оказалась ее новая коллега, не спрашивая ни о чем, но во многих хитросплетениях тайной театральной жизни разбираясь абсолютно интуитивно, тоже по-кошачьи. Девочка исподтишка следила за Никой, явно отмечая то, с какой осторожностью девушка относится к своим поступкам и словам, и в какой-то момент Ника даже испугалась, что ее чувства к Кириллу не останутся для Дашки секретом. Это напоминало двойную слежку, когда за ведущим преследование детективом наблюдает еще кто-то. Ничего не пропуская и все отмечая про себя. Делилась ли Дашка с кем-то еще (под кем-то Ника подразумевала Светлану Зиминову), она не знала, но была почти уверена, что нет.

И лишь при одном человеке Дашка не стремилась скрыться в собственной раковине. Единственный, кого она выделяла тем, что словно бы и не замечала, был Кирилл. В его присутствии ее плечи не поджимались, а взгляд не становился беспокойным и выжидающим. Она не боялась и не напрягалась, не стремилась выглядеть кем-то и казаться кем-то, словно Кирилл и так знал о ней все, что нужно. Сам Мечников, когда он появлялся в поле ее видимости, будто не существовал вовсе, не тревожа ее и ни к чему не вынуждая. На памяти Ники эти двое ни разу не обмолвились друг с другом ни словом, но почему-то ей продолжало казаться, что только с Кириллом у Дашки существует глубинная, надсобытийная связь, тем более крепкая, что она никак не проявляется, а лишь протягивается в воздухе, гибкая и не натянутая,

точь-в-точь бельевая леска, провисшая от долготы использования, но от этого не менее прочная. Чувствовал ли это кто-нибудь еще, Ника не могла бы сказать с уверенностью. Все ее ощущения были зыбки, и только они у нее и имелись.

Ника наблюдала за Кириллом хоть и издалека, но довольно пристально. И ждала, что с появлением Дашки он упомянет о своем детдомовском детстве, в ее поддержку или просто так, к слову. Но он хранил свою историю. Более того, по-прежнему ни разу не обнаружил тех стереотипных черт, которые, по мнению Ники, присущи детдомовцам. А значит, когда-то Кирилл приложил много сил, чтобы полностью себя переделать, и Нике отчаянно хотелось узнать больше об этой части его жизни. Ее терзал настоящий информационный голод. Каково это было? Кирилл корпел по ночам над книгами? Старательно забывал мат и уличные повадки? Ведь маловероятно, что он вырос таким уж приличным. Взять хотя бы Дашку: она хрестоматийная девочка из неблагополучной семьи, грубовата и дика, смотрит волчонком, во всем ей чудится подвох. Кирилл не такой. А какой? Вспоминались все чаще слова, оброненные невзначай Рокотской – та назвала Кирилла «наш мальчик-с-секретом»... Наконец, с сожалением Ника оставила попытки разузнать о нем что-нибудь из этой области: там лежало сплошное серое поле, в которое никто не собирался ее допускать. И, стремясь унять раздражающий ее голову голод, Ника вспоминала ту, кого никогда не видела и уже никогда не увидит. Окси.

В том давнем, долгом разговоре, закончившемся под дремотный скрип лопат, которыми дворники поутру вышли сгребать только что выпавший снег, Кирилл рассказал ей историю своей подруги до конца. О том, как в старших классах они, детдомовцы-мальчишки, на уроках труда перебирали транзисторы и проигрыватели, из некоторых делали новые, другие пускали на запчасти, чтобы потом загнать на рынке, в то время как их девчонки пекли пирожки и торговали ими на станции и в пригородных поездах, бегая от контролеров. Пока все остальные подростки влюблялись друг в друга и творили глупости, Окси встряхивала полуседой головой, втягивала носом запах пыльного шоссе, терпкого креозота, что пропитывал шпалы, и мочи от вокзального туалета, сплевывала на рыжие камни между рельсов и, поставив между широко расставленных ног сумку с товаром, бросала:

– В любовь верят только сытые. А я голодна.

Она была королевой пригородных поездов. В электричках Окси могла всучить покупателям все, что угодно, даже зонтики в сорокаградусную засуху июля, даже эскимо и «Лакомку» в январе, когда пассажиры жались

к тарахтящим вагонным печкам и дышали на замороженные стекла. Она заходила в вагон с неподражаемой улыбкой, означавшей примерно «А вот и я, соскучились?», с сумкой-тележкой и синицей на плече. Синицу звали Митрофан, и когда-то Окси подобрала ее со сломанными крыльями и едва живую. Потом птица окрепла, хотя и не могла летать, и находилась при Оксане постоянно, цепко держась когтистыми лапками за вязку старого свитера.

Оксана говорила громко, звонко и ничего не боясь.

– Милые пассажиры! – вместо безличного «уважаемые». – Сегодня у меня пирожки с капустой, картошечкой с луком и сосиски в тесте. Вкусно безумно, потому что пекла я сама утром. Разбирайте, пока все свеженькое! На всех не хватит, но кому хватит – тем соседи будут завидовать!

Пока пассажиры несмело обменивались добродушными улыбками, она медленно шла по проходу, останавливаясь – почти у каждого сиденья. И обычно двух вагонов хватало, чтобы сумка, пропахшая жареным маслом, опустела. Тогда девушка шла в магазин и затоваривалась продуктами, чтобы испечь еще партию – на вечер, попутно прикупая несколько шоколадок, а в особо удачные дни и киндер-сюрпризов, чтобы порадовать самых маленьких своих приятелей, которым еще рано было болтаться на улицах и вокзалах.

После окончания школы директриса детдома уже не жаждала видеть в своих владениях повзрослевших подопечных: со взрослыми детьми всегда много проблем, особенно с девочками. И Окси ушла. Несколько лет торговала на рынке, так и не рискнув попытаться счастья в Москве, потом устроилась в салон сотовой связи. Леха ушел в армию, Кирилл нет. Ника до сих пор помнит, как, сообщая это, он на мгновение задумался, словно взвешивая, посвящать ли Нику в причины своего освобождения от армии или нет, – и решил умолчать.

– А спустя несколько лет Окси все-таки влюбилась. С головой ушла в это, потому что ничего не умела делать вполсилы. Знаешь, это проклятие – быть такой... неуемной, не знающей меры, не допускающей полутонов и оговорок. Она была непримиримой во всем и во всем шла до конца. Вот и дошла...

– Что произошло? – спросила Ника и тут же испугалась, что сейчас получит отпор.

– Тот парень, которого она полюбила... Скажем, он не был хорошим мальчиком. Из плохих парней, со своим шармом беззакония и грубой силы. Я знал его, пару раз встречались, и понимал прекрасно, чем он ее так зацепил. Он был как тигр. Обманчивая вальяжность, а внутри стилет.

И с ним она вдруг оказалась принцессой. Он подъезжал к ее работе на черной иномарке, выходил, в черной опять же футболке, под которой бугрились мышцы. И она таяла. Моя Окси, к которой не подъедешь и на кривой козе, становилась совсем маленькой! Он заваливал ее подарками, называл «девочка моя». Знаешь, такой бирюлевский, дворовый шик... Кормил в крутом ресторане на набережной. Безумно бесился, когда она при нем вспоминала о нас с Лехой, ревновал. Но не бил. Она как-то призналась мне, что тут же бросила бы его, подними он на нее руку. И я знаю, что обещание свое она бы сдержала, так что в этом смысле мне не в чем его упрекнуть. Да и вообще он очень хорошо к ней относился. Наверное, и правда ее любил... А потом он во что-то влез, по-крупному. И все закончилось, как в девяностые. Они выходили вечером из ресторана, когда... Он умер сразу, а она в больнице, не приходя в сознание. Двенадцать ножевых ранений.

Кирилл надолго замолк в трубке, а потом пробормотал глухо:

– Двенадцать... Даже животных забивают не так жестоко, да?

Ника, зажмурившись, грызла костяшки пальцев и не смогла выдавить из себя ни звука.

Позже, много дней спустя, она размышляла над жизнью Окси. Эта история была бы ничем не примечательна, если бы не касалась Кирилла. Девочка из детдома влюбилась в плохого мальчика и погибла из-за бандитских разборок. Боже, как избито. Банально... Но разве события и истории становятся банальностями сами по себе, просто потому, что им дают такое обидное имя? Сама жизнь, повторяя, обкатывая до затертости один и тот же сценарий, раз за разом, десяток раз за десятком, пока, наконец, не возведет его в ранг банальности, заставляя сердце загрубеть и не реагировать, ведь как можно с одинаковой болью реагировать на то, что случилось не впервые и повторится за краткий людской век еще не однажды... Теперь при каждой встрече с Дашкой Ника радостно вздыхала: эта девочка спасается от пресловутой банальности, по крайней мере теперь. В ее жизни уже нет вокзалов, засиженных голубями поручней, вонючих подворотен. Круг разорвался, колесо замедлило кружение и выпустило изнуренную белку в другое измерение.

Театр и правда был для Дашки иным измерением. Не имея возможности спросить напрямую и получить внятный ответ, Ника довольно долго не знала, что она думает по поводу перемен в декорациях собственной жизни. Пока не увидела лицо Дашки, притаившейся на последнем ряду во время сводной репетиции. Сценические конструкции были практически готовы, костюмы наполовину сшиты, реплики давно

выучены, и спектакль шел полным ходом, как огромный греческий пентеконтор<sup>[9]</sup>, с актерами в качестве гребцов. Каждый из них налегал на весла по-своему, но целиком зрелище было довольно впечатляющее. Ника с дрожью отметила, что вера Липатовой в себя и свой театр была совсем не беспочвенна и премьера действительно могла стать прорывом. Только бы все получилось...

Свет почти не достигал последнего ряда, но Ника все равно разглядела яростный блеск Дашкиных глаз и шевеление губ – она беззвучно проговаривала реплики героев, одну за другой, прежде чем они срывались с губ исполнителей. Как, когда она успела вызубрить весь текст? Уму непостижимо. Но девочка явно была влюблена в спектакль.

– Кирилл, – режиссер остановила репетицию взмахом руки. – Мне кажется, ты не слишком-то веришь в то, что говорит Гектор. Это так?

– Что вы имеете в виду? – отозвался Кирилл мягко, спрыгивая с декорации и подходя к рампе.

– Я говорю о его уверенности. Он весь – одно стремление предотвратить. Борьба против войны.

– Которая все равно разразится.

– Да, но он отдаст жизнь за эту веру! – Липатова горячилась, вся во власти нетерпеливого вдохновения. – А ты играешь Иисуса, который знает, что все неизбежно случится. Только Иисус был богом, единственный в трех лицах, одновременно существующий, знающий, не знающий, верующий, уже преданный и только предполагающий будущее предательство. А Гектор – человек, такая роскошь всеведения ему недоступна, так что он просто должен быть уверенным в своих силах.

– Не это ли честный взгляд на ситуацию? Понимать неизбежность? – Кирилл сощурился, и его голос наполнился завораживающей бархатистостью. Она уже отличала эту модуляцию: он стремился перетянуть собеседника на свою сторону. – Все, что предопределено, случится, мое мнение не играет такой уж важной роли. Гектор исполняет роль, но роль обречена, как и все обречены двигаться по предписанному пути.

– Нет, и еще раз нет, – резко оборвала его Лариса Юрьевна. – Он верит, он горит, он не допускает и мысли, что может ошибиться. Соберись, пожалуйста. Дай мне почувствовать твою веру в то, что закроешь ворота войны навсегда. Несмотря на вопли Кассандры.

– А может... – начал Стародумов свою мысль, но жена оборвала его:

– Не может. Давайте еще раз эту сцену.

И пока Ника переживала критику в адрес Кирилла как свою

собственную неприятность, холодея руками и ощущая биение гневливой крови в висках, Дашка взирала на Липатова почти с благоговением. Даже грубое отношение худрука к собственному мужу не смягчило Дашкиного восторга. А тем временем в семье актера и режиссера что-то явно происходило. Последние несколько дней, а возможно, и недель, они появлялись и уходили из театра поодиночке, не общались в перерывах, а на репетициях с мужем Липатова перебрасывалась исключительно рабочими репликами. Не иначе как поссорились. У супругов и раньше бывали разногласия, но никогда еще разлад не тянулся так долго. И не будь Ника так увлечена собственными чувствами, она непременно догадалась бы, в чем дело.

Во время очередной паузы, пока Липатова разводила новую мизансцену согласно только что пришедшей в голову идее, Ника присела рядом с Дашкой. Сколько времени, спокойного безопасного времени должно пройти, задалась она вопросом, прежде чем этот подросток перестанет ежиться от приближения любого человека? Сколько времени должно миновать с подписания мира, чтобы война вытравилась из души? Пока соседние кресла зрительного зала явно располагались для Дашки неудобно: чересчур рядом.

– Тебя бы в суфлеры... – шепнула Ника доверительно. Дашка обдумывала ее слова буквально миг:

– Сама такая.

Ника не смогла удержаться от улыбки:

– Опять ты бука. Суфлер – это тот, кто подсказывает актерам реплики, если они забыли. Ничего тут нет обидного, хорошая профессия, не хуже многих.

Дашка искала в ее лице признаки насмешки, не нашла и успокоилась. Покосилась почти виновато:

– А... кто тут суфлер?

– Да это я так, к слову... У нас и будки-то суфлерской нет. Сами справляются.

Когда дело дошло до танцевальной интермедии, Ника поспешила уйти, но в дверях не совладала с собой и обернулась. Она знала, Липатова точно понимает: интермедия неудачна. Без хореографа им не обойтись, танец разваливается на части, хотя при желании все можно было бы исправить за несколько часов. Однако в существующем виде лучше вообще было бы отказаться от этой вставки, она только портит общий рисунок спектакля: неудачные движения, громоздкая бестолковая композиция, лишнее мельтешение. Ника испытывала неловкость и не хотела смотреть на эти

потуги, не имеющие ничего общего с танцем. Ведь она точно представляла, каким он мог быть.

Спустя несколько часов Ника вернулась в зал. Его воздух еще помнил репетицию, еще искажался ее эмоциями, хотя и не так сильно, как бывало после спектаклей: не тот выброс энергии, намного меньше. Самым сильным ощущением, наливавшим тяжестью складки занавеса, оставалась все та же неловкость и досада плохо поставленного танца. И Ника вдруг услышала вызов, на который может ответить. Не отдавая себе отчета в том, что осмеливается сделать, она уже стояла за пультом и включала подобранную для интермедии музыку. Всего в несколько прыжков, пока играло вступление, девушка оказалась на сцене и ослепительным, ничего не видящим взглядом окинула ее, как сетью, скорее чувствами, чем глазами, измеряя ее протяженность и глубину, прикидывая, каким пространством располагает. А потом она стала танцевать.

Все прожитые в Москве годы она старалась не вслушиваться в мелодии. Пропускала новинки, забывала классику, чтобы ничто внутри не напоминало ей о прошлом музыкального диджея и призера танцевальных конкурсов. Прочь, прочь... Теперь все стало иначе – или было по-прежнему. Как когда-то. Пусть движения не такие четкие и ладные, но тело уже принаравливается к ритму, естественно и ловко, с каждым тактом все удачнее. Мышцы накаляются, вибрируют от усилий, таких приятных, знакомых и непривычных одновременно. Взлетают руки, вправо, влево. Поворот вокруг своей оси, так, что все сливается в смазанную пелену. Прогиб, прыжок. Раз, два, три. Резкий вдох, чтобы хватило воздуха на следующее движение. Четко, выверенно, умело. Тело живет само по себе, свободное, сильное, Ника почти не соображает, не гадает, что предпримет в следующий миг, – музыка ведет ее, и она подчиняется каждой клеточкой, каждым натянутым сухожилием. Ноет усталый голеностоп, но она не обращает на это внимание. Такие мелочи! Как можно думать о мелочах, когда тобою овладевает самый страстный, самый горячий партнер – танец. Противиться ему невозможно, он сильнее и неумолимее в этот момент, чем все сущее на земле. Да и нет ничего на земле, кроме музыки и желания ответить ему. Двигаться. Выразить телом то, что никогда не осмелишься произнести вслух. Лететь, парить над сценой – когда привыкла ходить, поджав плечи. Чистое, незамутненное наслаждение, взрывающееся в ступнях и кистях рук стекольными брызгами, острыми до боли. Настоящая жизнь.

Музыка кончилась. Всего сто семнадцать секунд экстаза, и вот Ника очутилась на середине сцены, приходя в себя. Она стояла на коленях,

ощущая суставами твердость сценического пола. Голова запрокинута, рот исказила сладострастная улыбка, грудь под футболкой неровно вздымается и опадает, прядь волос петелькой прилипла ко взмокшему виску. Ника отвела ее рукой, вдруг ставшей чужой, неподатливой. И тихо, счастливо и устало засмеялась.

И тут внезапно в гулкой, особенно сильной после взрыва звука тишине зала раздались хлопки. Ника испуганно и некрасиво дернулась и замерла, застигнутая врасплох. Хлопки раздавались с края первого ряда, с дальнего от прохода места.

– Это было шикарно. Нет слов, просто – шикарно.

Кирилл и его ни с чем не сравнимый голос, который заставлял Нику покрываться сладкой испариной, сейчас довел почти до тошноты. Она вскочила на ноги, чувствуя, как кружится голова и все вокруг нехорошо плывет. Надо было что-то сказать, как-то оправдаться... Сколько времени он провел в кресле? Он видел весь танец, нет смысла отрицать очевидное.

– А ты, оказывается, настоящее сокровище, – продолжал Кирилл, не замечая ее состояния, близкого к обмороку. – Липатова знает, что ты умеешь так танцевать? Ты ведь билетер?

– Я... – она услышала свой моментально севший от волнения голос и тут же вспомнила, что не должна при нем говорить.

Не дождавшись продолжения, Кирилл поднялся с кресла и в порыве оживления приблизился к сцене.

– Нет, я серьезно! Это было здорово. Так... легко, и одухотворенно... Причем под ту самую музыку, что выбрана для интермедии. Тебе, наверное, смешно смотреть на наши жалкие попытки двигаться под музыку. Полная лажа. А ты грандиозна. Профессионально занимаешься? Я же вижу...

Молчать дальше было бы идиотизмом, и, хотя Ника секунду всерьез обдумывала возможность убежать без объяснений, здравый смысл одержал верх. Она довольно нарочито откашлялась и поморщилась, придерживаясь рукой за горло и делая вид, что больна.

– Да, я занималась танцем. Раньше, – голос намеренно хриплый, как при ангине. – Теперь уже нет.

– Твое тело говорит другое. Ты двигаешься... Просто удивительно. У актеров это просто сценическое движение, знаешь... А у тебя что-то совершенно иное... Как вспышка. Как... Ох, где же мое красноречие, нет слов! Ты часто репетируешь под эту музыку?

– Впервые. Не знаю, что на меня нашло, – призналась Ника нехотя.

– Значит, ты все это делала... просто так, не обдумывая заранее? Не планируя? – Теперь он стоял внизу, прямо у ее ног, а Ника по-прежнему на подмостках, глядя на него сверху и чувствуя себя словно на пьедестале.

У Ники перехватило дыхание. В эту минуту Кирилл смотрел на нее так, будто видел впервые, видел по-настоящему. В его зрачках, широких от полумрака, влажно горели огоньки потолочных светильников, но казалось, что за этим отражением, в самой глубине, шевелится кто-то. Древний, чуждый и пугающий. Девушке захотелось отшатнуться, но, когда Кирилл протянул ей узкую выточенную руку, она отозвалась всем телом, подалась вперед и положила свою ладонь в его. Прикосновение было сухое, будто даже с примесью мела или талька, и очень горячее. «Я Ника», – чуть не сказала она ему, чувствуя, что только теперь они познакомились.

Кирилл помог ей спуститься со сцены, и она оказалась в привычном положении, ниже его на голову. Робко улыбнулась и пробормотала хрипло:

– Мне пора.

Он окликнул ее уже в дверях:

– Подожди!

И, потрясенная силе своего страха перед Кириллом, перед этим залом, который видел и испытывает то же, что и она, как живое существо, да еще и запоминает, отпечатывая на самом себе каждое слово и ощущение, она замотала головой что есть сил. Ей хотелось разогнать морок. Слишком много призраков, слишком много глаз для двух оставшихся наедине людей. Она закашлялась, уже по-настоящему.

– Извини, болею. Мне пора.

Убегая, она продолжала нести на острых уголках своих плеч его взгляд, не ведая, каков он в реальности, в это мгновение: пристальный, медлительный. И темный.

## Явление девятое

### Импетус

[\[10\]](#)

Из жирной, напоенной талой водой земли лезли первые ростки, на клумбе показались уже клювики первоцветов, а ветви деревьев наливались пока не зеленью, но силой и упруго покачивались на фоне вечеряющего, пронзительно-высокого неба, хотя ветра и не было. В холодном воздухе стоял сильный запах прели и почвы, от него после духоты зала щекотало в носу. И, лишь чихнув, неожиданно и неприлично громко, Ника осознала, что запыхалась, – стало быть, бежала, сама того не замечая. Пока вот – не чихнула, по стечению обстоятельств оказавшись при этом на середине большой лужи. Ноги успели промокнуть, вероятно, еще раньше, и девушка, уже не торопясь, побрела к берегу, то есть к бордюру, где и замерла серой болотной выпью.

Хорошо еще, что Кирилл не стал задерживаться. Она слышала его шаги по фойе, его морскую походку с заминкой, которая к вечеру становилась едва заметным прихрамыванием, но не подняла головы от компьютера, даже когда взвизгнула, растягиваясь, пружина на входной двери. После его ухода ей хотелось бежать – и она бежала. Теперь, в двух шагах от станции, она потерянно озиралась по сторонам. Жизнь текла мимо, непрерывным людским потоком к хлопающим стеклянным крыльям павильона метро, нервной гусеницей автомобильной пробки по проспекту. Гусеница то растягивалась, то поджималась, надрессированная по сигналам светофора, и Ника вдруг усомнилась в только что произошедшем на сцене театра. Все это было так неправдоподобно, что смахивало на видение. Неужели она и правда танцевала? Мышцы вдоль локтевых сгибов еще помнили каждый взмах рук. И Кирилл это видел? Зачем, зачем все так выстроилось – видит бог, она не хотела попадаться ему на глаза.

Ей было стыдно от того, что он наверняка теперь думает о ней. Жалкая кассирша возомнила себя актрисой и по вечерам отплясывает на сцене, пока никто не видит. Точь-в-точь девочка, красящая губы помадой и шаркающая перед зеркалом мамиными туфлями, не лодочками, а целыми лодками. Конечно, он похвалил ее, он же воспитанный человек... И от этого все еще хуже. Сейчас ей казалось, что танцевала она ужасно, и память трещала, как счетчик Гейгера, регистрируя каждую помарку,

каждое неудачное па, гоня образы по кругу, пока Нике не захотелось кричать. Все было плохо, хуже некуда, и *он видел* все это. И, хотя и сознавая всю бестолковость, она впервые в жизни разозлилась на Кирилла Мечникова – сначала за то, что он оказался в зале в неурочный час, да еще на самом краю ряда кресел, утонувшем в тени, так, что и не заметить. А через секунду и за то, что это вообще его конек: оказываться на грани ее жизни, и даже оттуда уметь беззастенчиво все изменить и пустить прахом. Как там у Земфиры? «И убить тебя – не-о-сознан-но, не-чаян-но...» Где мирное топкое болото, которое принадлежало только ей, серой выпи с худой шеей? Где скорлупа, в которой так спокойно и тесно? Почему все пошло трещинами, захрустело и рассыпалось?..

И лишь дома, вслушиваясь в невыносимый припев зациклившейся сигнализации во дворе, она вдруг смягчилась. Может, все не так уж страшно. Даже если он внутри посмеялся над нею. Ну да, такая вот она глупая и несуразная... Но то был всего один танец и всего один разговор, он как смятый комочек салфетки, смахнешь в корзину – и нет его. Завтра рядом будут и черноглазая Римма со своей кочевой любовью, и Липатова с тысячей поручений, вопросов, ценных указаний и претензий. И нынешний вечер изгладится из его мыслей. Уже, наверное, стерся. А ей это воспоминание останется «на потом», как десерт из горького шоколада, который можно съесть вдвоем, но можно и в одиночку.

Утром Ника даже уболтала себя стать оптимисткой. Общее с Кириллом переживание... Как будто это хоть чем-то их связывало! Зато не телефонный разговор, не дежурный кивок головы. Пусть неудачно, неудобно и жутко стыдно. Но он смотрел на нее, она на него, он подал руку, она взяла. Ничего ужасного не произошло. Ничего, что стоило бы его длительных размышлений.

Как же она заблуждалась...

Она ошиблась тем сильнее, что даже не предполагала, в какое русло направятся мысли Кирилла. Он все-таки думал о ней – но как!

Липатова была взвинчена. Через час после появления в театре она зашла к Нике и, плотно притворив за собой дверь, выложила все как есть: Кирилл сообщил ей, что Ника не просто профессиональный танцор, но еще и точно знает, как поставить танцевальный номер для спектакля и натаскать актеров. А значит, должна это сделать, просто обязана.

Обескуражена. Расстроена, подавлена. Еще недавно Нике казалось, что вчерашнее переживание сделало ее ближе к Кириллу. Раньше из них двоих лишь она хранила знание о нем, в которое не были посвящены все прочие, – теперь и он знал о ней кое-что сверх безликой нормы. У нее был

секрет, раскрытый Кириллом, пусть и против ее желания, но который она хотела сохранить нетронутым остальными. Она доверяла этому человеку, в глубине души надеясь, что он каким-то образом понимает ее больше всех других, и ей даже не нужно произносить вслух свою просьбу. Но все оказалось иначе. Сама Ника его не интересовала – только спектакль, и получив на руки козырь, он тут же пустил его в ход. Она почувствовала себя преданной, хотя и знала, что на то нет никаких причин. Просто он, такой близкий и родной, снова повел себя как посторонний, кем вообще-то являлся, несмотря на ее фантазии, и очевидность этого факта доставила ей боль. А просьба, даже приказ, Липатовой привела в ужас.

Она отказывалась, сначала робко, потом, по мере того как рос натиск Липатовой, все резче. Нет, и еще раз нет, исключено. Да, она занималась танцами, отрицать не имеет смысла. Но разве это каким-то образом обязывает ее ставить танец для «Троянской войны...»? Разве кто-то может ее заставить?

Худрук ушла ни с чем, и, оставшись одна, Ника перевела дух и вытащила из тумбочки сменную футболку – за время спора на ее собственной, под мышками, на середине спины и под грудью, расплылись пятна нервного пота. Появись сейчас Кирилл в поле ее зрения, она, возможно, не удержалась бы и сказала что-то необдуманное, несмотря на всю свою любовь к нему. Любовь? Кажется, она впервые призналась себе, что любит.

Но сейчас не время: бой еще не окончен. В другой ситуации Липатова оставила бы Нику в покое. Они довольно давно знакомы, и за эти годы Лариса Юрьевна привыкла относиться к девушке как к креслу или торшеру, который удобен еще и тем, что продает билеты, дежурит в гардеробе и на телефоне. А тут вдруг – хореография. Кто бы подумал, что торшер танцует и даже способен принести пользу спектаклю! Но влияние Кирилла оказалось удивительно велико. Ника не представляла, какими словами он убедил режиссера, но, вдохновленная им, Липатова не намеревалась отступить. А билась она обычно насмерть.

В обед худрук вызвала ее к себе. Здесь, в кабинете, в отсутствие привычной обстановки кассы, Ника чувствовала себя школьницей на педсовете. Если в этом заключался коварный липатовский план, то, надо признать, он был бы небесполезен – с кем-нибудь другим. В Нике же любое давление, запугивание и манипуляции порождали протест.

– Ну что, надумала?

– Лариса Юрьевна, – Никин голос соскользнул вниз регистра – таким увещевают упрямых детей. – Я ведь уже все сказала... Я не буду ставить

танец. Я вообще не танцую много лет, забыла и то, что знала. Вы ведь даже не видели меня – как вы можете уговаривать?

– Для того чтобы ставить танец, Барышниковым быть не надо. – Липатова стала раздраженно копаться в ворохе бумаг, под которыми уже оказался погребен ее новый стол. – Тем более что я верю Кириллу. Он разбирается.

«Да он во всем разбирается!» – чуть не выпалила Ника в сердцах.

– Могу я идти?

– Видишь ли, в чем дело, – начала Липатова вкрадчиво. – Идти ты, конечно, можешь, но вот в чем загвоздка. В этом театре работают лишь те люди, кому не все равно. Кому небезразлично. Кто горит желанием делать все ради искусства, ради лучшего результата, и они отдают этому всех себя. А ты не отдаешь. Разве я прошу так уж много? Нет. Но ты ради каких-то своих... амбиций... отказываешься участвовать в жизни театра. Возникает вопрос.

Она не озвучила вопрос, но намек был понят. Раз она такая неблагодарная эгоистка, ей не место среди служителей Театру.

Вместо того чтобы вжать голову в плечи и покорно согласиться на все, что требуется, Ника покачала головой:

– Я не буду ставить танец.

И вышла. Лишь в коридоре на нее стало накатываться осознание того, что же она натворила. Она потеряла работу. Театр «На бульваре» и Кирилл Мечников продолжат жить без нее. Наверное, они не особенно сильно почувствуют ее утрату, но что будет с ней самой...

И когда Ника почти уверилась, что все кончено, начался следующий раунд. Весть о ее профессии уже сквозняком промчалась по гримеркам. От женщин снарядили Рокотскую, но та лишь благоразумно помолчала, загадочно и насмешливо при этом щурясь. Мужчины отправили своим парламентаром Даню Трифонова, и тот постарался уговорить Нику на свой манер, шутками и прибаутками. Ажиотаж вокруг Ники приобретал нездоровые черты абсурда. Мягко посоветовав Дане не тратить попусту время, девушка предпочла ускользнуть с глаз долой, взлетела вверх по винтовой лестнице мимо курилки, в которой, к счастью, никого не было. Лишь на чердаке она почувствовала себя сравнительно безопасно. На беззвучно звонящем мобильном дважды высветилось имя Липатовой, но Ника не подняла трубку.

– Это все глупость несусветная! – донеслось до нее минут двадцать спустя возмущенное Риммино восклицание. – И что, я должна упрашивать какую-то кассиршу? Три ха-ха.

– Ты никому ничего не должна, – ответил Кирилл. – И она не кассирша. Если бы ты видела, как она танцует! Ни ты, ни я так не умеем. Никто из труппы не умеет. И если бы ты оценила эту красоту... Она танцевала так, будто каждое ее движение уже написано на сцене, уже висит в воздухе, а она, ее тело, собирает какие-то диковинные плоды. Это было так естественно...

Римма выхватила лишь то, что относилось непосредственно к ней самой, и тут же обиделась:

– То есть ты хочешь сказать, что я не способна оценить?!

– Я хочу сказать только то, что говорю. Хотел бы сказать больше, сказал бы, домысливать за меня не стоит.

Голос Кирилла был обманчиво серебрист и мягок, как алюминий. Ника слышала, как рассыпалась по лестнице дробь Римминых каблучков, и затаилась. Кирилл за ней не последовал. Еще пару минут было тихо, потом заскрежетала створка распаиваемой форточки, щелкнула разошедшаяся рама. Ника могла с легкостью видеть через опущенные веки и стену, как Кирилл, присев на лестницу, смотрит вдаль и вдыхает ветер. Наконец, и его шаги перебрали одну за другой ступеньки и затихли внизу. Наверное, он был бы очень удивлен, узнав, что именно в эти самые минуты он убедил Нику согласиться.

Пришлось вспомнить давно забытое искусство. Она устраивала такие представления только в детстве, когда ужасно не хотелось вылезать из-под теплого одеяла и топтать в школу через заснеженный двор. Для начала нужно было не встать по будильнику. Достаточно задержаться минуты на три – и вот уже в комнату заглядывает встревоженная мама:

– Никусь, ты чего?

– Горло болит... – отвечать следовало хрипло, улыбаться вяло и чуть виновато, а глазами двигать медленно. Мамина прохладная ладонь – у нее, худощавой до болезненности, всегда были холодные руки и ноги – ложилась на горячий ото сна лоб дочери. Мама озабоченно прикусывала губу и выходила в соседнюю комнату. Наступал следующий акт домашнего спектакля: Ника включала у изголовья бра в форме ракушки и утомленно щурилась, пока мама возвращалась, размашисто стряхивала градусник и ставила дочери под мышку. Тут наступала пора напряженного ожидания: если мама уйдет, все равно куда, в ванную или на кухню, – все получится; останется беспокойно искать в чертах Ники приметы болезни – все пойдет прахом... Но вот мама покидала детскую, всего на минутку, и этого хватало: Ника тут же касалась пальцами настенного светильника

над головой, терпя легкий ожог, а потом касалась ими ртутного наконечника, наблюдая, как ползет вправо серебристая змейка, деление за делением. Прислонить градусник к лампе напрямую было неудобно – не отследить нужный момент: в сорок градусов мама не поверит, а сбивая обратно зашкалившие показатели, можно было не рассчитать силы, и нужно было начинать сначала. Обычно Нику устраивали тридцать семь и четыре. Довольно, чтобы остаться дома, и маловато, чтобы вызывать врача. А к вечеру хворь проходила без следа.

Нечто подобное она проворачивала, став постарше, когда была не готова к очередному уроку по фортепиано в музыкальной школе. Она украдкой щипала щеки, покусывала губы, чтобы те лихорадочно покраснелись, глухо покашливала и шмыгала носом. Задача сильно упрощалась тем, что пожилая учительница, и без того боясь всякой заразы, с осени до весны мазала под носом оксолиновой мазью и пила настойку эхинацеи – для профилактики. Словом, Нику она отправляла домой без лишних сентенций, разве что сокрушаясь о хлипком здоровье современных детей.

В репетиционной зале Нике пришлось действовать так же. Отделаться от опасений, что Кирилл узнает в ней свою телефонную подругу и этим доставит еще больше проблем ее крохотной жизни, девушка никак не могла, а потому перестраховывалась. Хриплым ангинальным голосом она объясняла рисунок танца, поправляла, если кто-нибудь делал что-то не так, и раз за разом показывала сама. Если у Липатовой и были сомнения насчет ее мастерства, то вскоре они сменились удовлетворением. Ника заметила, как торжествующе переглянулась худрук со своим любимцем, Кириллом.

Все было примерно так, как Ника себе и представляла. Профессиональные актеры, все они обладали достаточной гибкостью и пластичностью, которая в умелых руках становилась отличным рабочим материалом. А у Ники руки были умелые, и исполнители повиновались, ощущая идущую от нее уверенность, как лошади чуют твердую хватку наездника. Даже Римма, несмотря на попытки продемонстрировать свое отношение к сомнительности всего предприятия, сама не заметила, как полностью подчинилась на удивление крепкой воле еще недавно неприметной кассирши. Мила и Даня прекрасно вписались в общее действо. А вот Паше Кифаренко пришлось отказаться от танцевальных экзерсисов, его неловкость здесь замечалась особенно ярко, но Ника с известной дипломатичностью повернула все так, что он сам попросил убрать его из танца, – и новоиспеченный хореограф отпустила его понимающей улыбкой, тем более что желающих хватало и без него.

Для театра «На бульваре» такие авантюры были внове, и все желали поучаствовать. Как быть с Сафиной, Ника не знала, опасаясь за ее физическое состояние, в подробности которого (да или нет?) ее так никто и не посвятил, но Леля настойчиво просила взять ее в танец, и Ника пошла ей навстречу, поймав при этом тревожный взгляд Трифонова. Не догадываясь, что Ника слышала тот судьбоносный разговор в реквизиторской, он все-таки доверял ей свою любимую женщину – и словно просил не сломать нечаянно.

Но не на Лелю, конечно, был направлен весь пыл Ники. Теперь она имела полное право отыграться на Кирилле. Вот кому она решила не давать спуска: пусть знает, каково это – выполнять работу на грани собственных сил. Ведь стоять здесь, отражаясь в огромном зеркале репетиционной залы, было для нее испытанием, да еще каким. Всколыхнулись воспоминания, видения проклятого Митино подвала смешивались с днями, проведенными в таких залах, как этот. Стараясь не подавать виду, Ника горела изнутри, ее мышцы натягивались, а кожа пылала и кололась от взглядов, направленных на нее, будто хотела слезть.

– Кирилл, нет, не так. Смотри, – она показывала пробежку, прыжок с поворотом и резкий мах ногой. – Ты не успеваешь вместе со всеми. Давай один, еще раз.

Он исполнял ее просьбу, больше походившую на приказ.

– А теперь вместе со всеми. И – начали!

Ника стремилась не смотреть на него прямо, лишь краем глаза. От прямого взгляда все приличные мысли вылетали из ее головы, и она могла замечать только красивый изгиб шеи, разворот мужественных плеч и лепную руку, всеми жилами напрягающуюся во взлете. Что при этом делали другие, оставалось загадкой, ведь ей тут же начинало казаться, что они в зале вдвоем. А если взглядывать коротко, искоса, то по очертаниям тела и его движений сразу заметны огрехи и рассинхрон с другими участниками танца. И тогда можно снова остановить репетицию и попросить его потренироваться отдельно. И тогда можно уже насмотреться оправданно и – вволю. Ника и не предполагала, что способна быть такой мстительной.

Корпусом и руками он владел мастерски, а вот ноги чуть запаздывали, двигаясь словно нехотя. Ника догадывалась, что это связано с его походкой, то есть со старой травмой, – и если бы он попросил пощады, она великодушно смилостивилась бы. Но Мечников молчал, и девушка продолжала следить за ним и терзать, как греческая эриния. В том, что касается танцев, она была неумолима и требовательна, к себе

и к остальным, вспомнить хотя бы ее старинного партнера Лешу: тренировки с ним продолжались до полного изнурения, до стертых пяток, до мозолей, до звездочек в глазах.

Наконец, объявив пятиминутную передышку, Ника отошла к окну и глотнула воды из бутылки. Ее тело, в трико и майке, было таким удобным, и, несмотря на смешанные переживания, ей на мгновение представилось, что она – река, после долгой засухи возвращающаяся в прежние берега.

– Ты как себя чувствуешь? – Все еще тяжело дыша, подошел Трифонов.

– Отлично! – жизнерадостно отозвалась Ника.

– Полегчало? Вот и хорошо. – Даня достал губную гармошку, любовно протер корпус пальцем. – И голос стал обычный. Всегда говорил, что работа лечит.

Он подмигнул и, направившись к зеркалу, возле которого стояла Леля, опершись на балетный станок, заиграл простенький блюз. И Ника могла бы даже узнать мелодию, если бы не покрывалась в это время холодным потом, осознавая его слова. Она забыла! Занятие так увлекло ее, а притворяться было настолько чуждо ее природе, что мнимая болезнь вылетела из головы. И она говорила своим обычным голосом – сколько, десять последних минут? Больше? И обращалась этим голосом к Кириллу!

Она поискала его глазами. Вот он, сидит прямо на полу, вытянув длинные ноги, прислонившись спиной и запрокинутым затылком к стене и смежив веки. Лицо кажется странным, нездешним, хотя в отсутствие светлой бирюзы глаз оно и не такое резкое. Он отдыхает? Думает о ней? Пытается понять, где слышал ее голос прежде? Времени с их последнего телефонного разговора прошло предостаточно, но все же она надеется... На его щеке дернулся мускул, дрогнули брови, всего одно микродвижение, но какая разительная перемена. Лицо стало пугающим от чего-то тщательно сдерживаемого. Внутри этого мужчины происходила гроза, но из всех присутствующих только Ника могла уловить отдаленный рокот, хотя и не зная причины.

И тут его ресницы взметнулись вверх, и взгляд припечатал Нику. Ей показалось, что глаза его побелели, стали почти серебряными. В них было столько муки, что первым желанием было броситься к нему, расталкивая остальных, и... что? Чем помочь, когда не знаешь причины страдания? И как двинуться с места, когда тебя к нему пригвоздили? На щебечущую рядом Римму он, казалось, не обращал никакого внимания.

Пройдясь по танцу еще раз, Ника отпустила всех в душ. И тоскливо

отметила, что Кирилл покинул залу первым, так поспешно, словно все время только об этом и мечтал. Даже если он узнал ее голос, это уже ничего не значило и не меняло.

Потерянная и огорченная, она бродила по театру, не зная, куда себя деть. Она затосковала по былым временам, когда по вечерам шли спектакли, когда надо было возвращаться в кассу и продавать билеты, развешивать на крючки гардероба чью-то одежду... и не надо было думать. Просто жить как живется. Все стало слишком сложно. Стоило появиться Кириллу, как она, не совладав с желанием видеть его, стала чаще появляться в коридорах театра, и за этим неминуемо возникли последствия. Как бы она ни хотела легко скользить по жизни, не касаясь, даже ее опасливые шаги оставляли следы. Она так старалась, чтобы ей больше ни до кого и ни до чего не было дела, и вот, пожалуйста, вместо этого она общается с Дашкой, Зиминной и Рокотской, оказывается посвящена в тайны Трифонова и Сафиной, Милы и Паши, и каждого из них порой подозревает в кознях против Риммы Корсаковой... Ее голова по вечерам буквально взрывается от перенапряжения. А теперь еще и танец. И во всем этом вторым, третьим планом непременно маячит Кирилл, трепещущие мысли о нем преследуют ее, не давая и минуты отдыха.

Запирая дверь своего кабинета перед уходом, Липатова даже наградила ее дружелюбным кивком. Этим вечером худрук снова покидала театр без мужа, ушедшего сразу после дневной репетиции.

– До завтра, Лариса Юрьевна.  
– Слышала, все прошло хорошо.  
– Они молодцы, – отозвалась Ника с готовностью.  
– Может, сделаем еще парочку пластических вставок? Теперь в моде такие решения...

Невероятно. Липатова советуется с ней и говорит «сделаем», явно принимая Нику в свой закрытый клуб.

– Надо прикинуть, как будет смотреться целиком, – ответила девушка серьезно.

– Завтра пройдем отдельные сцены, а послезавтра можно прогнать все вместе. Тогда и решим.

Кивнув с достаточным энтузиазмом, Ника распрощалась с режиссером и свернула в боковой коридор, уводящий к дальней гримерке и реквизиторской. Самый конец коридорной кишки был заставлен старой мебелью, пострадавшей во время потопа и еще ждавшей высочайшего решения Липатовой: остаться в театре или отправиться на помойку. На вытертом сиденье диванчика лежала оставленная впопыхах греческая

маска для нового спектакля. Ника взяла ее в руки. Гипс был на ощупь почти теплый, как будто еще помнил человеческое тело. Гротескный, растянутый в гримасе ужаса рот, крупные страшные черты, багровый цвет – все это было призвано производить отталкивающее впечатление. Тем сильнее был эффект, когда в одной из сцен эту маску примеряла на себя неотразимая Елена Троянская. «Маска не только прячет человека. Сам ее выбор уже обнажает его сущность...» – подумала Ника и внезапно приложила ее к своему лицу. Там, где маска прилегла плотно, лоб и щеки почувствовали шероховатость. Закрепив завязки под волосами, Ника двинулась по коридору к маленькому зеркалу, висящему прямо напротив выхода из гримерки, чтобы выбегающий из нее в спешке актер успел заметить, если с его обликом что-то не так.

Дверь внезапно открылась, выпуская в сумрачный коридор полосу света – и Кирилла. Ника видела, как изменилось выражение его лица при виде ее, через оторопь к веселому изумлению.

– Маска, я тебя знаю! – И, прежде чем она успела что-либо сообразить, он уже прижал ее одной рукой к себе. Ника ощутила силу его тела, неожиданно сокрушительную. Она представляла его нежным, но от нежности здесь не было ничего. На ощупь он весь оказался твердым и очень горячим, словно обтянутый человеческой кожей раскаленный металл. Обвитая вокруг ее талии рука держала крепче каната, и Ника поняла, как безнадежно слаба перед этим человеком: даже ноги подкашиваются. Соприкасаясь с его бедром и плечом, она думала только о том, как хорошо, что он не прижимается к ней целиком. Этого она не вынесла бы.

Объятия длились всего мгновение, пока Кирилл не осознал свою ошибку. Хватка ослабла, и, отступив на шаг, Ника почувствовала легкое... разочарование?

– Простите, я, кажется, обознался, – озадаченно проговорил Кирилл. И оглядел ее с ног до головы беззастенчиво. Она почувствовала язык пламени, облизавший ее. Как назло, пальцы плохо слушались ее, и завязки под волосами, затянувшиеся узлом, никак не хотели распутываться.

– Ника. Это ты.

– Да.

– Прости, я думал, Римма. Это ведь ее маска, вот и... – видя Никины отчаянные попытки содрать маску, не развязывая, он невозмутимо предложил: – Можно тебе помочь?

Чуть не всхлипнув от обрушившихся чувств, Ника повернулась к нему спиной. Кирилл шагнул ближе, и она испугалась, что грохот ее сердца

слишком заметен в этой тесноте. Когда пространство между ними сжалось до минимума, плечи опалил жар, волной идущий от Кирилла. Его руки скользнули по ее шее, ненароком тронув заправленный за ухо завиток, подняли всю тяжелую массу волос, и, ощутив его дыхание на своей коже, Ника оказалась не в силах скрыть мурашечную дрожь. Крохотные волоски на шее, руках и спине напряглись и замерли, не то в мольбе, не то в ожидании. Ей хотелось сказать что-нибудь ненавязчивое, остроумное, но в голову ничего не шло. Кирилл продолжал держать ее волосы на весу. «Чего он хочет?» – не сообразила девушка.

– Можешь вот так приподнять? А то одной рукой неудобно.

– Да, конечно! – спохватилась она и зажмурилась от досады. Глаза мучительно жгло.

Пальцы Кирилла ловко справились с задачей и освободили Нику от маски. Она несмело обернулась и увидела в полутьме улыбку.

– Вот и все.

– Да, все... – согласилась она. И только теперь, когда он оказался на безопасном расстоянии, Ника почувствовала запах. Непривычный тепло-ледяной запах ментола и камфары, Кирилл был весь пропитан им. Вот почему такая резь в глазах. Удивительно, как Ника не ощутила раньше, пока Кирилл стоял вплотную к ней и запах, верно, был сильнее. Впрочем, она ощущала слишком много, когда находилась с ним, ее органы чувств путали показания и сходили с ума.

Кирилл неуверенно переступил с ноги на ногу, и лицо его стало непроницаемым и отстраненным, точь-в-точь как во время перерыва, будто упал глухой занавес. Нике сделалось неудобно. В этот момент в освещенном конце коридора появилась Римма, подбоченилась:

– Вот ты где. А я тебя ищу-ищу! Уже заждалась.

– Я нашел твою маску, – объявил Кирилл, не сходя с места, но помахав до сих пор зажатой в руке вещицей. И уже не смотрел на Нику. Но, расходясь в узком коридоре с Риммой, она получила в награду ревнивый черный взгляд.

Перед закрытием театр полнился тишиной. Обходя его довольно поспешно, не вписывающаяся в эту тишь, все еще слишком для нее взволнованная, хотя Кирилл и Римма давно уехали, Ника лишь случайно заметила в углу фойе что-то бесформенное. И ахнула. Час от часу не легче: прямо на ковре лежал Борис Стародумов. В расстегнутом пальто, с разметавшимся по полу шарфом, почти удушившим своего хозяина. Ковровую дорожку только что перестелили, и яркие цвета лишь

подчеркивали бледность лица и неестественную красноту щек актера. Его глаза были закрыты. Ника кинулась к нему и принялась тормошить.

– Борис! Борис, вам плохо?

Стародумов вяло махнул рукой, словно отгоняя назойливую муху, и поудобнее пристроил под головой шуршащий обертками цветочный букет – на манер подушки. Теперь Ника учуяла сильный спиртной дух, шедший прямо из приоткрытого рта актера. И растерянно села рядом. Что ж, по крайней мере, врачи не понадобятся.

– Борис! – скорее всего, от беспомощности голос ее приобрел жесткость.

Стародумов разлепил глаза. Было заметно, что ему сложно сфокусироваться.

– О, Ника...

– Да, Ника. А вы лежите на ковре в фойе театра.

– Правда, что ль? – глупо ухмыльнулся он и привстал на локтях. – Ну и дела, да?

– Вам надо домой.

– А Лариска где?

– Лариса Юрьевна уже ушла.

В ответ он тихо засмеялся. Ника совершенно не умела обращаться с пьяными людьми и колебалась, не уверенная, стоит ли проявить твердость или, наоборот, начать уговаривать. Отсмеявшись, Стародумов помрачнел и принялся обрывать лепестки с белых хризантем, сперва по одному, а потом горстью, рассыпая вокруг себя белые нежные иголки. Наконец, он отшвырнул букет, и тот, описав невысокую дугу, шмякнулся ровно по центру фойе.

– Неблагодарные людишки, – заключил Стародумов. – Я все для них, а они твари.

Ника попыталась взять его под руки, чтобы поднять, но актер оказался очень тяжелым, да еще и ерзал, дурашливо посмеиваясь.

– Ты хорошая. Поэтому я тебя люблю.

– Я вас тоже. Давайте встанем?

– А! Очередная бабская блажь. Встань, иди, сиди, молчи. Надоело! Я актер, понимаешь ты это? Мне нельзя указывать!

В другое время Ника непременно поспорила бы с этим утверждением, сказав, что актеры – рабочий материал и исполнители режиссерского замысла. Но сейчас это было бессмысленно.

– Мне нельзя указывать... Мы и сами с усами... С усами, – он потрогал щетинистый подбородок. – Нет усов. Ладно. Все равно.

Ты помнишь, как все было когда-то, а, помнишь? Они меня на руках носили. Верещали у подъезда, так что оглохнуть можно. И не пройти. Приходилось в окно вылезать. Ох, и докучали они мне... Автографы, интервью, творческие вечера... А теперь? Неблагодарные твари. Забыли... Хоть бы их совсем не стало, всех, всех до единого...

– И что бы вы делали без зрителей? – не удержалась Ника от тихого вопроса.

– Я-то? О, я бы играл! Ты что, думаешь, все ради людей? Все ради меня. Мои истории, мои реплики, моя сцена. Я... А Лариска сво-олочь... Наобещала с три короба. Говорила, я у нее снова стану... Что она добудет... все это... для меня. Она обещала мне, понимаешь ты это?! Обещала! И обманула. Она всегда обманывает... Всегда. Такая уж уродилась, пронира. А остальным наплевать, все заняты только собой. Все одно и то же.

Ника была не в состоянии поддерживать сейчас философскую беседу. Она решительно распахнула полы его пальто, не обращая внимания на пьяненькую ухмылочку и масляные глаза в красных прожилках.

– Ох, ты какая...

– Да-да. – Она закатила глаза. Рука нащупала во внутреннем кармане телефон Стародумова, и Ника вытащила аппарат, принялась искать в списке контактов номер Липатовой.

– Эй, ты чего?

– Надо позвонить Ларисе Юрьевне, пусть вас заберет.

– Нет, не смей! – смазанным, но увесистым движением Стародумов выбил аппарат из ее рук, и телефон отлетел в сторону вслед за букетом. – Лариске не надо. – И жалобно добавил: – Она же меня в грош не ставит.

– Тогда кому? Не сидеть же мне с вами целую ночь? Решайте.

Стародумов с загадочным видом поднял вверх указательный палец.

– Никто ничего не решает, девочка...

Он долго шарил в карманах, выуживая и складывая горкой на ковер все их содержимое: связку ключей, мятые грязные бумажки, свернутые трубочкой рекламные флаеры, пару полосатых камешков, кусок зеленого мелка, тут же перепачкавшего пальцы, зажигалку, несколько монет и обломок игрушки из шоколадного яйца «киндер». Набор, больше подходящий десятилетнему мальчишке, чем пятидесятилетнему мужчине. Наконец, он вытащил игральные кости и продемонстрировал их на раскрытой ладони. Потряс в кулаке и осторожно выпустил. Выпало шесть-три. Ника ждала окончания непонятного ритуала, не обращая внимания на легкий озноб, пробежавший внутри ее головы.

– Катенька, – заключил Стародумов, как-то по-своему трактуя выпавшую комбинацию, и рассовал свои сокровища обратно по карманам. – Позвони Катеньке, она придет. Катенька меня любит. Она единственная, кто...

– И зачем ты мне позвонила? – прошипела Катя тридцать минут спустя, через Никино плечо глядя на сладко посапывающего на ковре Стародумова. Ника не припоминала, чтобы они с нею переходили на «ты». – Я думала, что-то случилось!

– «Что-то» и случилось! Этого, – она кивнула на актера, – вам мало? Он попросил звонить на ваш номер. Перед тем как...

– Как вырубился, – резко бросила Катя и поджала губы. – Здорово! Просто замечательно, спасибо тебе большое. И что мне с ним делать прикажешь?

Ника смотрела на женщину и не узнавала ее. Куда подевалась одухотворенная тургеневская особа в совиных очках, торчавшая часами в фойе и у входа в театр? В безвкусных одеяниях, с просительным выражением простенького личика. Теперь на Кате были новые сапоги, туго впивающиеся в упитанные икры, трикотажное платье в обтяжку и легкая курточка с пушистым воротником. Совиные очки, правда, остались, но глаза за их стеклами поблескивали раздраженно и колко.

– Мне, вообще-то, и своих проблем хватает. Почему ты не позвонила его жене? Или дочери, на худой конец!

– У него есть дочь? – нахмурилась Ника.

– Ага, вот и я не знала! Пока не заимела счастье познакомиться... Я вообще многого о нем не знала. Борис!

Теперь уже Катя тормозила актера, но делала она это безо всякой опаски. Голова Стародумова болталась, как у тряпичной куклы.

– Борис, а ну вставай. Пойдем! Борис, пойдем, а то я сейчас одна уйду, и оставайся как знаешь!

Угроза подействовала, Стародумов зашевелился.

– Катенька...

– Она самая. Шевелись-ка, давай-давай. Ну, Борис, не дурачься!

Катя высвободилась из прилипчивых рук и вместе с Никой помогла ему встать. После этого они повели Бориса, разморенного и то и дело тяжело оседающего, к выходу.

## Явление десятое

### Классика жанра

Назавтра Ника Стародумова не видела. Утром рабочие сцены демонтировали все декорации, и она сновала из зала в кабинет Липатовой и к себе в кассу, исполняя тысячу поручений в час. Каким-то образом за последнее время ее обязанности стали гораздо больше соответствовать должности администратора театра, чем у Реброва, который бесцельно слонялся из угла в угол, а получив указания от начальницы, кидался исполнять их с излишней торопливостью, а потому все путая и портя. Когда Липатова срывалась на него, сотрясая стены, Ребров вжимал голову в плечи и имел вид настолько жалкий и бессловесный, что Нике становилось больно за него. Помимо этого, она чувствовала свою вину за то, что, по сути, отбирает его работу, сама того не желая. Так что ко всему прочему добавились еще и незаметные хлопоты вокруг него, большого ребенка в вытертых брюках и рыжеватом пиджачке, которого так и хотелось напоить чаем или накормить ватрушкой. Услышав очередное приказание Липатовой, данное ему, Ника выискивала способ проверить, правильно ли он все делает, чтобы помочь в случае необходимости или просто проследить, не вмешиваясь, как ангелок на правом плече. «Правда, прошлое ангельское мое участие обернулось не лучшим образом», – досадливо морщилась девушка, вспоминая вчерашнюю встречу со Стародумовым и Катей, как-то уж очень стремительно покинувшей категорию безнадежно влюбленных поклонниц. Ребров замечал Никино участие и хоть и дулся обиженно и смотрел искоса, но от ватрушки и чая не отказался ни разу.

Из-за неприятного осадка, оставленного прошлым вечером, Ника постоянно возвращалась к нему в мыслях. А еще, отчасти, чтобы не думать об объятиях Кирилла, подаренных ей по ошибке – не иначе. Вот и теперь, когда во время репетиции очередь дошла до появления Улисса, роль которого исполнял Борис, все удивленно поискали Стародумова глазами, неминуемо утыкаясь в бесстрастную маску на лице Липатовой, и не посмели ничего спросить. Лариса Юрьевна схватила текст пьесы и принялась читать реплики мужа, заменяя его. Знала ли она, где он? Наверное, да, иначе перевернула бы вверх дном весь город, а не восседала бы тут, прямая, как будто проглоченный аршин застрял у нее

вдоль позвоночника.

Распечатывая несколько эскизов премьерной афиши, присланной знакомым художником для утверждения Липатовой, Ника глядела на нехотя, рывками выползающие из принтера плотные листы и думала о том, что говорил Стародумов, пока они ждали Катю, устроившись на ковре фойе. Ника сидела подтянув ноги к груди и поставив подбородок на удобную выемку колена, словно нарочно придуманную для этого природой. Борис лежал, склонив голову набок и, совсем изнуренный опьянением, которое все больше сменялось похмельем еще до наступления следующего дня, разговаривал все медленнее и неразборчивее. И вслушивалась Ника лишь потому, что темой разговора стал Кирилл.

– Мечников этот – пройдоха. Все от него будто башку потеряли. Даже Риммке – и той мозги снесло. Хотя у нее их вообще-то не было отродясь... Даже Лариска моя растаяла. А чтобы Лариска растаяла, ты мне уж поверь, это надо умудриться.

Ника стыдливо покраснелась и тревожно покосилась на актера, но тот был занят лишь развитием собственной мысли:

– Парень он, конечно... Не красавец, это уж точно. Но с изюминкой, с огоньком. Лариска таких любит. Вон как оживилась, когда он пришел. Перья распушила, дура. А он на нее внимания не обратил. Как уж она перед зеркалом вертелась! Кофточек прикупила, аж три штуки. Только куда ей с цыганкой тягаться – смех. Нет, я не против этого товарища, мне он даже нравится. Но рискованый. И если уж пошла такая пьянка – думать головой надо, а не одним местом. Составил он Лариске моей бизнес-план... ну типа развития театра, премьеры, привлечение капитала...

Увлекаясь темой, Стародумов стал выражаться довольно складно, и только частое громкое икание портило эффект. Ника принесла ему воды, и он несколькими глотками осушил стакан – и снова икнул.

– Ой. Так вот. Мечников. Это-то все хорошо, ладно, молодец, возьми с полки пирожок... Но потом-то я узнаю, что она кредит оформила в банке, понимаешь? Не иначе как с его подачи... Грамотей, умник!.. – Актер не удержался и добавил крепкое словцо, картинно похлопал себя по губам и лукаво блеснул уставшими глазами. – Кредит... Под залог квартиры! А лачуга-то наша хоть и записана на нее, но так ведь я тоже в ней живу. А меня спросить? А? Ни в грош меня не ставит, я тебе точно говорю. Как пустое место.

Ника этого не знала. Дело действительно рискованное. Но Кирилл – если это и правда была его идея – мог предложить такое только в случае полной уверенности в успехе всего предприятия и дальнейшем

процветании театра. Иначе не стал бы привлекать своих друзей в качестве спонсоров, он слишком хорошо знает, как дорого обходится «авось»... Так вот почему он так печется о том, чтобы спектакль получился как можно лучше! Ника улыбнулась с затаенной нежностью и в эту же секунду простила его: то, что ей пришлось вылезти из своей ракушки ради постановки хореографии, – отнюдь не самая большая жертва, на которую пошли в этих стенах.

– Но вот за что я ему буду всегда благодарен, так за то, что это он сплавил Валерку. Помнишь Зуева? Любовничек моей Лариски. Актер? Да ему только зайца-побегайца на утреннике играть. Она думала, я не знаю... Как же... А Мечников его каким-то своим друзьям подsunул в сериальчик, тот и свалил по-быстрому. Не то что я, дурак, сижу тут...

– Откуда вы все это знаете? – не утерпела Ника, несмотря на то что зареклась поддерживать разговор до прихода Кати.

– Они на банкете говорили, я слышал. Это ведь те же самые друзья, что у Лариски теперь за спонсоров.

Здесь Стародумов, конечно, привирал – или что-то перепутал. Ведь Валера Зуев ушел из театра «На бульваре» еще до появления Кирилла Мечникова. Ника как раз хотела прояснить этот момент, но в театр ворвалась Катя, неаккуратно стуча каблуками, и девушка с готовностью поднялась ей навстречу.

Дело было даже не в отсутствии Улисса на репетиции, все просто шло из рук вон плохо. Актеры путали текст, налетали друг на друга, в начале четвертой сцены плохо прибитая планка отвалилась от декорации, стоило Паше Кифаренко повиснуть на ней. Не удержавшись, парень грохнулся плашмя с высоты собственного роста, ударившись подбородком о пол, так что отчетливо клацнули зубы.

Лариса Юрьевна взирала на это с едва ли понятной апатией. А в какой-то момент вяло дернула рукой и встала, направилась к выходу из зала. Вмиг осиротевшие актеры доиграли сцену до конца и прервались нерешительно, не зная, вернется ли она.

Ника юркнула в коридор. Конечно, все это было не ее делом, но, согласившись ставить хореографические вариации, она стала каким-то образом причастна к спектаклю и даже чувствовала свою ответственность за всех этих людей. Постучав костяшками пальцев по косяку, она прокралась в липатовский кабинет, желая спросить, какие будут дальнейшие распоряжения.

Очевидно, никаких. Липатова сидела за столом, уставившись в одну

точку прямо перед собой, и кисть ее руки, свесившись с подлокотника, изогнулась красиво и безвольно, вся в переплетении лиловых веноч.

– Лариса Юрьевна...

Та даже ухом не повела, будто не слышала. Ника подошла ближе, хмурясь, и глаза ее выхватили синюю полицейскую кайму и желтый герб на экране монитора. На компьютере была открыта страница сайта с заголовком «Заявление на розыск человека».

– Лариса Юрьевна, там ребята...

– Да, сейчас, – худрук рассеянно потерла лоб унизанными кольцами пальцами. И вдруг подняла на Нику тоскливые, как у бродячей собаки, глаза. Девушка почему-то тут же присела на стул и, прежде чем сообразить, уже держала ее руки.

– Скажи, что мне делать? – прошептала Липатова беспомощно.

– Что случилось?

– Я... Борис... мой... – она поднесла ко рту руку, словно пытаясь поймать еще не произнесенные слова. И ткнула в монитор. – Можно уже сегодня написать. Раньше говорили, только через три дня, а теперь можно уже сейчас.

Ника никак не могла уяснить. Она прочитала официальную информацию. Действительно, о пропаже человека можно заявить сразу, как только это становится очевидно самым близким. Но при чем тут Борис?

– Ты только никому не говори. Хотя как не говори, они же будут допрашивать... Наверное. Они же должны всех допросить, нет? Может, кто-то что-то знает. – И, наконец, собравшись с духом, проговорила: – Борис не ночевал дома.

Прозвучало это так просто и обыденно, до смешного. И тем страннее выглядела Липатова, ее растерянность. Как будто это она пропала. Ника вздохнула:

– Лариса Юрьевна, не надо...

– Говорят, чем раньше начнут искать, тем больше шансов! – перебила и зачастила женщина, вцепившись в Никину руку. Ее ногти больно царапали, но хватка была такой крепкой, а сама Липатова такой огорченной, что Ника решила потерпеть. Гораздо важнее было все-таки сказать правду. Но Липатова не давала вставить и слова: – Конечно, мне наверняка скажут, что он взрослый мужчина и мало ли что бывает. Но я-то его знаю. Много лет. У него был сложный период, но все это давно в прошлом, он справился. И... сейчас не то время, не та ситуация. Все по-другому. Я чувствую, что-то случилось. Не мог он просто так... У него и друзей-то нет. Все, с кем он общается, служат у нас. Сложно с кем-то

поддерживать отношения, когда здесь днюешь и ночуешь. Мы же все как одна семья, никого больше-то у нас и нет... Нет, есть еще Свердловы, но у них он не появлялся, я звонила, понимаешь? Миша говорит, не знает, где он. Вчера на репетиции я его видела в последний раз, и... Такого никогда не было! Нет, было, конечно, он уходил, но это было в *то время*. И телефон у него вне зоны доступа...

– Не надо его искать. Он у своей... поклонницы. У Кати! – уф, наконец-то сказала.

Два разных человека. Еще секунду назад Ника могла бы поклясться, что только что познакомилась с настоящей Ларисой Липатовой-Стародумовой, а теперь перед ней оказалась худрук Липатова. Привычная. На лицо легла маска надменности, как оттиск монаршего профиля на монету, лоб разгладился, под кожей впалых щек прокатились желваки. Липатова медленно выпустила Никину ладонь и откинулась на спинку кресла. Подумала и положила руки на подлокотники. Девушке показалось, что этим подлокотникам явно не хватает львиных голов, выполненных из дерева какой-нибудь ценной породы. И почувствовала себя обязанной доложить:

– Вчера они были тут вместе. Точнее, Борис пришел...

– Уволь от подробностей, – Липатова повела плечом. – Не хочу ничего знать. Ты можешь просто... привести его сюда?

Он ночевал у Катеньки и, судя по виду и запаху, уже опохмелился пивом. После телефонного звонка Ника вышла выглядывать Стародумова на крыльцо театра, как будто могла этим ускорить его приход или просто побаивалась оставаться наедине с начальницей, так что явление актера заставило ее вздохнуть с явным облегчением. Но чего она не смогла понять, так это то, каким образом она очутилась вместе с ним в пещере дракона. И почему не осталась за дверью, в благословенном и безопасном театральном коридоре.

Они втроем не проронили ни слова. Липатова лишь окинула мужа долгим взглядом, по-режиссерски подмечая детали. И угрожающе двинулась на него. Ника отдала должное Стародумову: тот не выказал никакого трепета, даже когда супруга подошла совсем близко. Она казалась выше ростом, надвигаясь словно хищник со вставшей дыбом шерстью, чтобы выглядеть объемнее и самим видом вселять ужас во врага. Почуввав перегар, ноздри ее затрепетали.

– Опять забухал? – Тон на удивление будничным, но никого не обмануть. – Ай, молодца. Доволен собой, орел?

Ника сообразила, что ее не должно здесь быть. И шагнула к двери.

– Стоять, – негромко и непререкаемо приказала Липатова. И повернулась к мужу:

– Значит, зрители... Овация... Хочешь зрителей? А вот будут тебе зрители. Давай, играй на публику, позорься! Меня позорь, – Липатова в два шага достигла двери и, решительно провернув в замке ключ, сунула его в карман кардигана. Ника, обдумывавшая план бегства, обомлела. Пути к отступлению отрезаны, тем более что Липатова тут же перестала обращать на несчастную внимание.

Кажется, супруги припомнили друг другу все, что накопилось за долгую совместную жизнь. Ника предпочла бы не знать всего этого: как Липатова лечила мужа, знаменитого в прошлом киноактера, от запойного пьянства, из-за которого оборвалась его кинокарьера, как Стародумов закрывал глаза на ее измены и как Липатова ревновала его к поклонницам – если посудить, небезосновательно; как Стародумов тяготился тем, что вынужден находиться в тени авторитарной жены-режиссера, вместо того чтобы почивать на лаврах.

– Кто, я тиран? Грамотей выискался. Да ты меня в грош не ставишь! – кричала ему жена, не замечая, что даже фразу они выбирают одну и ту же, чтобы выразить взаимное пренебрежение.

– А ты ставишь? Ты взяла кредит, нашу квартиру заложила! А меня спросить ты не догадалась?

– Ты был слишком занят со своей девкой... Как ее, Катя? А я спасаю наши задницы! Потому что из нас двоих хотя бы кому-то надо соображать башкой.

– Башкой? А сама-то? Да тебя Мечников заколдовал! – не унимался Стародумов. – Ты с рук у него скоро есть будешь.

– И буду! Он сделал все, чтобы мы удержались на плаву. Деньги, связи! Он считает нам бухгалтерию, таскает реквизит, вкалывает до седьмого пота, он всегда знает, что делать, когда ничего сделать уже нельзя. Потому что ему в отличие от тебя не все равно! Он искренне болеет за мое дело. А ты таскаешься по бабам! – Липатова ткнула Борису в солнечное сплетение пальцем.

– По бабам? Да у меня никого, кроме тебя, за все эти годы не было! Таскаюсь, как же...

Но она не слышала:

– Этот спектакль станет прорывом! Открытием! Откровением!. Мы перепрыгнем сразу в дамки, дубина ты стоеросовая! С нами станут считаться.

– Ты всегда прикрываешься этим «мы». А думаешь только о себе.

Ты даже детей от меня не хотела поэтому!

– Не поэтому, – холодно проговорила Липатова. – Театр – вот мой ребенок. Ты мой ребенок! Только успевай носы подтирать и пеленки застирывать.

За мимолетную паузу она успела передохнуть и продолжила, сверкая глазами:

– Ты можешь валить прямо сейчас. Давай, я никого не держу. И когда все изменится... А все изменится. После премьеры мы обновим еще несколько спектаклей и наконец-то займем то место, которого заслуживаем уже давно. И тебя снова позовут сниматься. Если вместо этого не сопьешься в подворотне. Не пропьешь свое лицо. Стародумов, я всегда говорила, что мозгов у тебя как у курицы и сдаешься ты в первом раунде. Слабак!

Слушая их взаимные упреки, такие отвратительные, даже если в чем-то и правдивые, Ника не могла отвести глаз от обручальных колец, сжимавших их безымянные пальцы. Эти золотистые ободки, наивно призванные являться символом нерушимости и вечности союза, были сейчас как сама безысходность. Как безнадежность и растоптанные мечты. Ей вдруг привиделся тот день, когда кольца впервые оказались надетыми на их пальцы. Вряд ли тогда Липатовой и Стародумову могла пригрезиться эта минута. Сколько на планете Земля вот прямо сейчас, в данный момент, швыряющихся оскорблениями людей, еще недавно думавших, что уж их-то любовь – та самая? Борис и Лариса Юрьевна ненавидели друг друга, не замечая, как похожи в жестах, в словах и яростных гримасах, отраженные, проросшие один в другого, как привыкшие сражаться бок о бок солдаты, и Ника чуть не расплакалась от горечи и обиды, на них самих и на весь людской род. Чтобы не слышать их хлесткие слова, призванные уколоть побольнее, она схватила наушники и, отвернувшись, включила первую попавшуюся музыку с липатовского компьютера. Классика, что-то веселенькое и знакомое по рекламе консервированных овощей, но от волнения Ника никак не могла вспомнить автора и название, лишь дурацкую песенку про зеленый горошек и морковку.

Ссора все продолжалась, то затихая, то снова раздуваясь из искры в полномасштабный пожар, так что голоса перекрывали музыку. Когда за спиной что-то грохнуло, Ника подскочила и сорвала с головы наушники.

Липатова и Стародумов склонились над осколками большой вазы-кубка. Ника припоминала этот трофей, привезенный театром с фестиваля в Вильнюсе. Сейчас черно-золотое страшилище из фаянса превратилось в груду битых черепков, но понять, кто именно виноват в содеянном, Ника

не смогла. Липатова утомленно обвела кабинет ничего не выражающими глазами.

– Ларисик... – Стародумов коснулся локтя жены.

– У тебя и правда никого, кроме меня, за эти годы не было? Кроме этой, которая сейчас? – Липатова обескураженно покачала головой, и из ее горла вырвался звук, отдаленно напоминающий хихиканье.

– Обезьянка, иди ко мне. – Он притянул женщину к себе и опасливо, как змеино-голубука, коснулся ее эбеново-черных волос. Ника пожалела, что сняла наушники слишком рано.

## Явление одиннадцатое

### Работа с деталью

Она доучила даже те реплики, что забывала раньше. Вот уже неделя, как три хореографических номера ее постановки заполнили лакуны в канве спектакля, и теперь присутствие Ники на репетициях стало обязательным. В это время в кассе ее заменяла Дашка, чрезвычайно гордая возложенными на нее обязанностями. За нее Ника была спокойна – но не за всех остальных. От нехорошего предчувствия крутило в коленях.

Сцена преобразилась. Не имея возможности втиснуть в сравнительно небольшое пространство поворотный круг, Липатова и Кирилл продумали сложный механизм смены декораций с тросами, закрепленными на колосниках, и множеством фурок<sup>[11]</sup>, которые можно легко выкатить во время действия из боковых карманов за кулисами. Сверху опускалась часть городской стены, и анфилада покоев царского дворца, и высокие двустворчатые двери, ворота Войны, – фанера, гипс и армированное папье-маше. Реквизитор Саша корпел над ними много часов, и теперь они казались настоящими, тяжеленными, покрытыми серебряными пластинами с узорчатой резьбой, тонкой и замысловатой, блеск которой невольно рождал в голове Ники смутную память о драгоценных камнях, – и каких-то других дверях, виденных ею раньше. До финала спектакля никто из зрителей не должен подозревать, что изнанка этих дверей выкрашена в алый, дикий цвет воспаленного зева. Но Ника знала, и эта мысль шурупом ввинчивалась в висок. Даже расписанный задник, открывающий вид на Троянскую гавань, тонущую в жарком белом мареве средиземноморского лета, не мог обмануть ее чувств.

Левую часть сцены занимало огромное колесо. Оно почти все время вращалось, то слегка, с ленцой, когда его словно в задумчивости трогала вещая Кассандра, то пугающе быстро, с силой запущенное насмешливым Улиссом. Стародумов вернулся в строй, и, хоть Ника ни разу не видела его пьяным или похмельным, а Катя больше не объявлялась, Липатова с ним не разговаривала. Без надрыва, без демонстративности – просто игнорировала. Борис, впрочем, тоже не стремился к примирению. Супруги существовали врозь, и с каждым днем пропасть между ними становилась все очевиднее.

Колесо обыгрывалось во множестве сцен, становясь преградой между

предсказаниями Кассандры и глухими ушами ее родных, гимнастическим снарядом для гибкой Елены, что сладострастно извивалась между его перекладин, маня и завлекая мужчин на погибель, подобно сирене. На самом доньшке колеса укачивали новорожденного сына Гектор и Андромаха. В эту окружность оказывался вписан сам Гектор, не то витрувианский человек, не то распятый Андрей Первозванный. Когда колесо вместе с Кириллом раскручивали, Никина голова кружилась до тошноты.

Спектакль превратился в живое существо и день ото дня наполнялся ощущением надвигающейся беды. От нее можно прятаться, можно закрывать глаза и уши, ее можно игнорировать – но нельзя уйти, ее не избежать. Как грозовой фронт, обложивший тучами небо, от дальнего рокота которого уже смолкли птицы и затих ветер, и тьма на горизонте простреливается вспышками, сухими и слепящими, а все вокруг замерло в ожидании. И ожидание это настолько густое и тягостное, что часть тебя хочет бежать, но понимает бесполезность этой затеи, а часть обреченно твердит: разразись скорее, нет сил больше ждать – что угодно лучше, чем это невыносимое стояние. Рок навис над сценой и с нее утекал в зал, как тяжелый концертный дым, стелющийся по полу, ползущий во все щели и через порог дальше, в коридоры, переходы и подвалы. Но Ника совсем не была уверена, что хотя бы кто-то еще замечает это.

Подготовка к премьере все больше приобретала черты массовой истерии. Телефон в кабинете Липатовой трезвонил не переставая, и она, заслышав звонок, кидалась к распахнутой двери через весь коридор, грохоча каблуками. Никина каморка была завалена афишами, которые еще предстояло расклеить по району, программками и пригласительными, с красовавшимися на них сценами из спектакля, заснятыми на одной из репетиций фотографом, знакомым Кирилла. Уже были подтверждены договоренности с парой театральных критиков, уже рассчитались с ремонтной бригадой, уже были заказаны и установлены огромные рекламные билборды, и даже выплачена часть денег за положительную рецензию в журнале о московских развлечениях – заранее. Липатова хваталась за голову, разрываясь между желанием триумфа и вполне справедливыми опасениями: что в зале не хватит мест, что где-то притаилась ошибка, что-то пойдет не так, что все мыслимые ограничения по бюджету уже превышены, что в театре лежит бомба с часовым механизмом (прохудившаяся труба, ветхая электропроводка, оползень – нужное подчеркнуть). Кирилл за закрытыми дверями уверял ее, что все в порядке, ведь он продумал практически все возможные трудности

и устранил их. Цены билетов на премьерный спектакль подняты до среднего уровня по столице, давать представления они будут каждый вечер, и затраты удастся отбить. Но, хотя у Кирилла вдруг обнаружились обширные связи в самых разных кругах и баннеры сделали со скидкой, а один из театральных критиков, чем-то обязанный ему, и вовсе не взял гонорар – расходы обновленного театра «На бульваре» и спектакля о Троянской войне превысили все мыслимые пределы. И все же Мечникову удавалось найти нужные слова:

– Мы будем работать. Отпуска на этот год отменяются, зато у нас есть реальный шанс пробиться. Сколько можно сидеть на одном месте, пора идти вперед, лезть выше. Вы думаете, трубы прорвало случайно? Это, Лариса Юрьевна, если хотите, судьба. Так предначертано. Нам только надо толково исполнять свои роли!

Подобного Липатовой не говорил никто и никогда. Она слышала в красивом голосе Кирилла такую убежденность, видела в прозрачных глазах такое безоговорочное горение – почти ярость, и ее пошатнувшаяся уверенность в себе тут же восстанавливалась, и даже крепче прежнего. После таких стихийных совещаний они расходились в разные стороны, единомышленники, провожаемые Никиной тревогой, но успокоенные друг другом. Актерам Липатова своего волнения не показывала, в ближний круг оказались вдруг допущены только Кирилл и Ника. Впрочем, понятно: никто в театре так и не заговорил об интрижке Стародумова, не стал мыть косточки худруку, и Липатова оценила Никино умение держать язык за зубами. Актерам хватало переживаний и без того. Например, Мила Кифаренко изводила себя очередной диетой, на сей раз поддерживаемая Риммой, с которой еще недавно была не в ладах. Общая цель – похудеть – сблизила девушек, хотя от низкого уровня сахара в крови обе стали нервозны и плаксивы до крайности. Теперь они сосредоточенно жевали салатные листья и морковные палочки, щедро сдабривали еду и несладкий кофе корицей и имбирем, чтобы подавить голод, и пили непременно по два литра воды в день. Паша ворчал, костюмерша Женечка крыла их нещадным матом и грозила, что не станет ушивать потом костюмы, потому что «все равно к зиме обеих разнесет». Премьера мчалась им навстречу, как поезд без тормозов, скользя по обманчивой гладкости рельсов. До премьеры оставалось три недели.

По утрам Ника еще могла совладать со своим предчувствием, но в театре, сразу за порогом, морок накатывал на нее, и она хваталась за появление Кирилла, единственного, кто мог разогнать ядовитый туман. Одним своим приходом Кирилл прорезывал этот туман, и, пусть ненадолго,

ее беспокойство все же отступало. Кто или что было тому причиной, Ника понять не могла, но почему-то знала, что непременно разберется во всем. Ей придется разобраться.

Это утро выдалось на редкость приятным. Идя от метро, Ника то ускоряла шаг, то почти останавливалась, щурясь на яркое солнце и подолгу наблюдая за воробьями, до хрипа спорящими на зеленеющих газонах. Один даже пролетел мимо нее, волнообразно, притягиваемый к земле тяжестью зажатой в клюве картошки фри. За ним с отборной бранью следовала целая стайка. Ника рассмеялась, не обращая внимания на недоуменные и неприязненные взгляды проходящей мимо дамы и повинувшись порыву, сорвала несколько упитанных одуванчиков, тут же перепачкавших ей пальцы млечным соком. Дойдя до работы, она не сразу села за стол, а вместо этого, бубня под нос песенку в надежде рассеять гнетущее нечто, разбуженное ее ранним приходом, направилась открывать окна – повсюду. Давно пора проветрить тут, чтобы ветерок с ароматом луж от недавнего дождя и сочной травы, каждой острой травинкой прокалывающей почву, проник в коридоры театра, выдул из него все глупости и страхи, вместе с запахом лака, строительного раствора, грунтовок и клейстеров, чтобы от упругого порыва закачались и начали перезваниваться хрустальные капли в большой люстре над галереей. Ничего ей в эту минуту было не нужно, только бы белая занавеска в буфете выгнулась выпукло и сильно, превращаясь в парус, до краев налитый ветром...

Но этому так и не суждено было случиться. Потому что из женской примерки доносились рыдания, прерываемые отчаянным стуком в дверь.

Ника припала глазом к замочной скважине.

– Эй, есть кто?

В ответ с другой стороны скважины резко возник чужой глаз. Ника от неожиданности отшатнулась. Внутри все оборвалось от болезненного воспоминания: Митины глаза смотрят на нее через окошко в двери ее тюрьмы. Но Ника, сделав над собой усилие, тут же снова приблизилась к скважине.

– Выпустите меня отсюда! Помогите... Пожалуйста, выпустите... – Ника узнала рыдающую Римму Корсакову. И пока бегала за ключами, пока перебирала связку, приговаривая «сейчас, сейчас», а Римма из последних сил колотила ладонью по обшивке двери, все внутри ее затаилось в обреченном предвкушении: ну вот и началось.

Разорение и хаос примерки бросились в глаза первыми. Перевернутый стул, упавшая со стола лампа с треснувшим колпаком из матового стекла, сбившийся в гармошку половичок, передвижная вешалка выдвинута почти

на середину комнаты, а низкий комод, наоборот, пододвинут к двери так близко, что Ника едва сумела протиснуться: как будто им Римма пыталась преградить путь какой-то угрозе извне. Все, что может источать свет, включено, несмотря на давно начавшийся ясный день: горит потолочная люстра, лампа дневного света, торшер, точечные круглые светильники по краям гримировочных зеркал Милы, Рокотской и Сафиной, даже невесть откуда взявшийся большой хозяйственный фонарик. Свет из него тусклый, внутри чаши с зеркальными отражателями догорает белый уголек светодиода, батарейка почти села – он горел не первый час.

На полу Римма, сидя на подогнутых ногах, закутанная в черный плащ на искусственном меху из одного из старых спектаклей, покачивалась из стороны в сторону, тихонько подвывая. Нику охватил суеверный озноб. Ей показалось, что в грим-уборной холоднее, чем на улице. Холод был совершенно ночной, темный, пропахший страхом и болгарской розой, и Ника успела подумать, что, наверное, никогда уже не сможет спокойно воспринимать эти духи, они всегда будут казаться ей запахом ужаса.

Убедившись, что зашла действительно Ника, Римма всхлипнула, и по щекам ее заструились слезы. Плакала она уже давно, если судить по размазанной косметике, черные потеки которой делали ее похожей на жертву нападения из какого-нибудь фильма ужасов. Рукава персиковой блузки были запачканы тушью. Кажется, Корсакова провела здесь всю ночь и этой ночью что-то явно происходило. Ника едва успела шагнуть к ней, как актриса поползла на карачках, протянула к ней обе руки и обняла за колени, стиснула и уткнулась лицом в джинсы. Ее колотило, как в припадке.

– Слава богу. Хоть кто-то... живой... – бормотала она бессвязно. Ника поняла, что стаканом воды или чаем с мятой тут не обойтись, и хотела сходить в кабинет Липатовой за коньяком, но Римма вцепилась в ее ноги нечеловеческой хваткой.

Почему так зябко? Нет, покойники не восстали из могил, оставив разверстые гробницы источать потусторонний холод. Всего лишь открыто окно. И если предположить, что оно было открыто всю апрельскую ночь, низкая температура уже не вызывает удивления. Ника присмотрелась получше и сообразила, что окно перекошено в петлях и его нельзя ни закрыть, ни распахнуть до конца – сломано. Решив, что разберется с этим позже, она с трудом оторвала Римму от себя, поставила на ноги и вывела подальше отсюда.

Только через час картина стала проясняться. Ника вытягивала информацию по крупицам, отпаивая Римму коньяком, укутывая пледом

и слушая бесконечные всхлипывания. Вся наигранность и манерность, которой обычно грешила актриса в повседневной жизни, слетела с нее шелухой, и говорила она уже не репликами своих ролей или витиеватыми фразами, а обычными рублеными предложениями, путаясь и то и дело начиная сначала. Теперь Ника действительно боялась за Риммино состояние.

Она не могла понять, каким образом не услышала вчера криков актрисы. Покидая театр на закате, она не стала совершать обход, но непременно должна была слышать вопли Риммы, когда дверь гримерки захлопнулась. Сначала Римма подумала, что всему виной сквозняк, но прежде чем она успела встать со стула, в скважине уже повернулся ключ.

– Кто-то специально закрыл меня, понимаешь!

Ника понимала. Происшествие могло бы стать обычной шуткой, если бы шутник, побродив минут пять, отпер дверь и выпустил Римму. Но никто так и не пришел. А телефон актрисы сел еще в обед, и это помнили все театралы, даже Ника, забежавшая перекусить в буфет на минутку, как раз когда Корсакова громко сокрушалась, потеряв доступ к соцсети, в которую она заглядывала ежечасно.

Когда Римма осознала, что театр опустел и ее никто не освободит, начала накатывать паника.

– Я... помню это с детства. Такое чувство, будто... полчище муравьев приближается ко мне, это черный ручей, он все ближе и ближе, и вот у моих ног он раздваивается и течет мимо. Но стоит мне вздохнуть, надеяться, что они приняли меня за дерево, как ручей тут же меняет русло. И они уже на мне, во мне, повсюду!

Говоря это, Римма начала дергать плечами и нервно оглаживать себя, одежду и банкетку, на которой сидела, ее пальцы беспокойно исследовали поверхности, натываясь на малейшие шероховатости. Руки у нее были поразительно красивы, женственные и нежные, только маникюр не пережил минувшей ночи, кое-где лак скололся, на нескольких пальцах обкусана кожа с боков от ногтей, а через правое запястье идет неровная царапина с зазубриной на конце и засохшей капелькой крови. Руки, пережившие схватку.

– Мне не нравятся запертые комнаты. Тебя запирали, когда ты была маленькая?

Ника покачала головой. Риммины глаза наполнились слезами.

– У нас была такая комнатенка... отчим звал ее темнушкой. Там лежал мой матрас и... старая одежда, и... И... когда я не приносила домой

пятерку, он говорил, что мама должна гордиться мной, а если я не принесла пятерку, то нечем и гордиться. И оставлял меня там, в темноте... А мама...

Зубы Риммы стучали о край стакана, как льдинки, и, вместо того чтобы отпить глоток, она опрокидывала в себя все содержимое. Граммов сто пятьдесят. И Ника, опасаясь, что минут через пять актриса будет пьяна в стельку, допытывалась, что же так напугало ее в гримерке – кроме темноты и запертого замка.

– Там была она. Нина.

«Кто?» – едва не переспросила Ника и тут же вспомнила живую гвоздику на сцене, запись «Пионерской зорьки», приемник на чердаке, мертвую пионерку из легенды. И банку бутафорской крови. Несмотря на то что Ника изо всех сил приглядывала за чердаком, никто за этой кровью так и не явился.

– Когда сумерки уже совсем сгустились, я... зажгла свет повсюду. И подошла к окну, прикрыть, из него дуло. И тут из темноты появилась она. В форме, в галстучке... Она так мне улыбнулась, будто мы знакомы. И... она заскочила на цоколь и принялась карабкаться в окно. Она собиралась залезть ко мне в окно! Оно было только приоткрыто, и я... начала захлопывать его, но не смогла. Никак не получалось. Она с той стороны, а я с этой, и... Мне так страшно, так страшно, Ника! Так страшно.

Римма залилась слезами и вцепилась в Нику снова, цепкими плетьюми рук обвивая ее плечи и уткнувшись лицом в грудь.

– Сейчас ты в безопасности, – убежденно заявила Ника, поглаживая трясущиеся плечи Корсаковой. Она уже успела заметить, как испуганно Римма взглядывает по сторонам, будто и днем боится увидеть призрачную Нину, в каком-то из углов, в гардеробе, на галерее, стоящую и улыбающуюся ей с того света.

– Мама всегда говорила, что мы цыгане... И нужно всегда быть высший класс, чтобы не остаться вторым сортом. Я ведь высший класс, Ника?

И в Римминых глазах, распухших от слез, в обводке размазанной косметики, было столько надежды, что Ника ответила:

– Конечно, Римма. Ты же самая красивая. Кто, если не ты?

Даже когда Липатова узнала историю от начала и до конца, даже когда Кирилл увез Римму домой, легко подхватив на руки прямо в фойе театра, как новобрачную, когда остальные устали строить догадки и предположения, но так и не рискнули расспрашивать Нику, сама она не могла выбросить из головы образ Риммы. Красавица с бровями вразлет,

всегда высокомерная и не очень-то чуткая к окружающим, в эту ночь она забилась в угол, с головой укрывшись старым плащом от ужаса перед тьмой, одиночеством и потусторонним существом, бьющимся в окно. Римма так напоминала Нике ее саму, сидящую в подвале у Мити, что сердце неизбежно переполнялось состраданием к той, кого до последнего времени Ника – теперь можно в этом признаться самой себе – не переносила.

Не отходя ни на шаг от Риммы этим утром, Ника чувствовала, как удивленно следят за ней глаза Кирилла. В другой ситуации это бы произвело бурю, но сейчас внутри запустился какой-то очень расчетливый механизм, отбрасывающий все, не относящееся к сиюминутной действительности. Реальность требовала полного включения Ники, ее внимания и собранности. Вот к чему она пришла, стремясь не касаться жизни и скользить над событиями: она в самой их гуще! Снова. И на нее смотрят, ничуть не меньше, чем на Римму. Снова.

Девушка предпочла бы, чтобы Корсакова не упоминала пионерку при всех, ей вдруг стало больно видеть взгляды, одновременно сочувственные и злорадные, которыми обменивались некоторые из актеров. Но полубезумная Римма повторяла свой рассказ раз за разом, уже гораздо более связно, и заставить ее молчать было решительно невозможно. Ника всерьез опасалась за психическое здоровье впечатлительной актрисы и злилась на Липатову за каждую лишнюю минуту, проведенную Риммой в театре.

Пользуясь тем, что худрук все-таки начала репетицию, даже в отсутствие Елены Троянской и Гектора, Ника выскользнула на улицу и обошла здание театра. Твердила о невыносимой глупости затеи («Господи, Ника, из тебя же никакая мисс Марпл!»), но упрямо шла вперед, на ходу отсчитывая пятое окно от угла – окно женской грим-уборной. Фрамуга все еще перекошена, и через щель комната наверняка продолжает наполняться уличной прохладой. Северная сторона здания в тени, солнечное тепло сюда не попадает, так что, пока окно не починят, в примерке нет ни единого шанса согреться. Ника все еще надеялась, что это просто дурное стечение обстоятельств. Чья-то глупая жестокая шутка, помноженная на впечатлительность и детские страхи Корсаковой. Если никакой пионерки за окном не было и девочка просто привиделась Римме, значит...

Мысль осталась неоконченной. На влажной, напитавшейся дождевой влагой земле под пятым окном рельефно выделялись следы маленьких ног. Со вдавленным рисунком звездочек и крепким каблучком они могли

принадлежать только ребенку, только девочке.

Ника вздрогнула, не совсем еще понимая, что значит это открытие, и перевела взгляд на окно. Оттуда, из глубины грим-уборной, на нее смотрела Лизавета Александровна Рокотская. В спектакле она играла Войну, чьим воротам предстояло распахнуться в финале, и ее слишком алое просторное одеяние неприятно резало глаз. Она чуть кивнула Нике, узкие сухие губы тронула понимающая улыбка, и в следующую секунду Рокотская скрылась за дверь. Они поняли друг друга без слов: человек, желавший Корсаковой зла, не из тех, кто шутит. Он не намерен отступить. И его надо остановить.

Следующие несколько дней Ника была во всеоружии, ожидая нападения. Она казалась себе бойцом, сидящим в окопе в преддверии атаки, – только не знала, с какой стороны будет наступление. Вспоминая любимую Агату Кристи, читанную и перечитанную за жизнь несколько раз, девушка, разумеется, понимала главный принцип разгадки детектива и любой таинственной истории в жизни: все дело в мотиве. Ищи *si prodest* – кому выгодно. Найдешь кому выгодно – узнаешь, кто преступник. Но что делать, если мотивы неясны? Римму не любили многие, но достаточно ли сильно, чтобы сжить ее со свету? Что это за чувство? Отвергнутая любовь? Зависть? Влюбленных Ника поблизости не видела. У Корсаковой была парочка романов с актерами их театра, но это в прошлом, да и у кого их не было за многие годы, проведенные в замкнутом мирке... Завидовали Римме тоже многие. Достаточно ли это основание? Даже с Милой, прежде не раз обиженной ею, они теперь приятельницы.

Кому выгодно? Никому. Или всем понемножку. А больше всех выгодно самой Нике. Она даже засмеялась в тишине кассы, придя к этому выводу. Выставить безумной истеричкой ту, кого выбрал себе в девушки ее любимый мужчина. Довести ее до отчаяния, растоптать – чем не план? Ника в роли злодейки – надо же до такого додуматься. Хорошо, что никому больше это в голову не придет и что ее любовь к Кириллу до сих пор остается тайной.

Но что, если каждый внес свою лепту в доведение Корсаковой до потери рассудка? Не имея мотива, достаточно на исполнение всего злодейского плана целиком, каждый вполне мог приложить к нему руку. Скажем, Трифонов решил пощекотать коллеге нервы в отместку за ссору с Лелей, которую он любит. Паша Кифаренко мстил за расстроенную сестру. А Дашка заперла Корсакову в гримерке, припомнив оскорбительное высказывание о ее назначении гардеробщицей. Ника в который раз

восстановила в памяти тот вечер, когда Римма осталась в гримерке одна. Она не услышала вопли актрисы, потому что в фойе было очень оживленно. Такое выдавалось нечасто: все обитатели театра уходили вместе. Репетиция и занятия по танцу удались, настроение было приподнятое, а тела разгоряченные, Паша брэнчал на гитаре, Даня подыгрывал ему на губной гармошке, а еще несколько человек подпевали – в том числе и Кирилл. Он собирался на какую-то встречу по поручению Липатовой и не разыскивал Римму, думая, что та уже ушла. Ника беззаботно и свободно смеялась, никого не стесняясь, все еще во власти недавнего танца, который несколько минут назад отработала с труппой. Она даже толком не заметила, как запирали театр.

– Люди, все вышли? – уточнила она без задней мысли. – Я закрываю!

– Все-все! – загудели остальные. Кто-то расселся по машинам, кто-то шумной компанией двинулся к метро. Где были в эту минуту Светлана Зимина и ее Дашка? Могла ли девочка запереть Римму в отместку за злые слова?

Но при чем здесь пионерка из страшной сказки? И что, если... если легенда про Нину – все-таки не вымысел? Она действительно существовала, была причиной смерти своих репрессированных родителей и погибла, так и не разобравшись в сложностях взрослой жизни. Пионерка навсегда. Убитое окровавленное детство, запертое во времени и пространстве старого Дворца пионеров. И теперь она терзает Римму, преследует ее, чудится ей, чего-то хочет, стучась в окно и оставляя вполне осязаемые следы на земле. А остальные не верят, в том числе и Ника, по-своему повторяя с Риммой историю несчастной Кассандры из Трои. Такие Кассандры ведь есть всегда, неверие – это гнет человечества, не такой очевидный, как войны и катаклизмы, но такой же непреложный.

Ника поняла, что уже всерьез допускает и это объяснение. Слишком сильное впечатление на нее произвел Риммин страх, пропахший апрельским холодом и розовыми духами. Но сложить руки и ждать, пока призрак решит добить Корсакову, Ника не собиралась. Вместо этого она принялась выведывать у Зиминной, где была Дашка за несколько минут до ухода труппы из театра. Тот день был так насыщен делами, что Ника совершенно выпустила девочонку из поля зрения. Может быть, зря?

– Конечно, я помню тот вечер. Мы с ней ушли пораньше.

– Точно пораньше? – допытывалась Ника. Зимина помолчала.

– Да, точно. Почему ты спрашиваешь?

Объяснение вышло так складно, что Ника и сама удивилась:

– На столе лежала смета с липатовской подписью. Не могу найти

с того вечера. Вот, думаю, может, Дашка переложила. Последний раз я видела бумажку, когда вернулась из танцкласса...

– О, ну так это было уже после того, как мы ушли. Когда мы собирались, из зала как раз доносилась музыка. Вы второй кусок репетировали, я точно помню.

А Ника точно помнит, что после второго был пройден и третий танцевальный номер. Дашки в это время уже не было в театре.

Светлана помедлила, потом вытащила из сумки белый конверт без надписей.

– Сегодня день зарплаты. Можешь передать Дашке?

– Что это?

– Ее зарплата.

Ника долго молчала.

– Лариса Юрьевна ведь не взяла Дашку на работу, так? – осторожно уточнила она наконец. Зимина вздохнула и развела руками:

– Взяла. Но сказала, что денег нет...

– ...и вы решили платить Дашке из своего кармана? – осведомилась Ника. – Светлана, это не мое дело, но мне кажется, это неправильно. Когда она узнает – а она непременно узнает, да еще в самый неподходящий момент...

Светлана присела на краешек стула. Ее голубые глаза спокойно воззрились на Нику:

– Это будет потом. Я что-нибудь придумаю. Просто тогда я не знала, чем еще ее удержать. Долго ли она будет со мной... Рано или поздно она стала бы искать себе работу. Ты ведь была права, говоря, что ей не хочется от меня зависеть. А я не хочу ее отпускать. Я боюсь. Знаешь... Филип Сеймур Хоффман, кажется, как-то сказал, что дети – самые большие потребители любви на Земле. И это суцья правда. Мой Володечка...

Она споткнулась, помолчала, словно имя сына в который раз ободрало ей горло, но после этого заговорила неторопливо, даже бесстрастно, зная, что Ника выслушает ее, не перебивая.

– Я никому этого не рассказывала. Но сейчас нужно... Потому что я знаю, что с тобой это можно разделить. Ты никого не судишь, ты была добра к Дашке, к нам обеим. Ты другая. И он был другим, мой Володя. Смелым. Сколько сил и смелости понадобилось ему, чтобы признаться... Он пришел ко мне, усадил на кухне, приготовил ужин сам, я только советом помогала. Мы много смеялись, он что-то вспоминал из детства, как мы с ним вдвоем ездили в Ялту, в пансионат... Отец-то у него, муж мой, умер молодым, инсульт. Я растила Володю одна. Помню, как он

гордился, когда стал вратарем в основном составе команды своей футбольной, районной... Как в институт поступил и радовался, три дня на даче отмечали, а я все названивала, переживала: молодежь, всякое-разное бывает же! А он только подшучивал надо мной: все, говорит, в порядке, мам, белок в лесу наловили, теперь на шампурах жарим... И вот, в тот день, он сидит напротив меня, мы пьем чай с барбарисками. И он говорит мне, что влюбился. Я предлагаю привести избранницу домой, познакомиться... А он признается, что влюбился – но не в девушку. И что девушки ему никогда не нравились, только как друзья. Ты понимаешь, о чем я?

Ника кивнула, не пряча глаз. Светлана убрала за ухо несуществующий волосок – просто чтобы чем-то занять руки.

– Я устроила скандал. Наговорила страшных вещей, орала. А он все сидел и дергал скатерть за бахрому, такие перепутанные петелечки, желтенькие, и не оправдывался, не переубеждал... Потом я ушла в свою комнату, назвав его напоследок извращенцем. И только слышала, как звякали ключи в прихожей и хлопнула дверь. И он уже никогда не вернулся. Авария на Ярославке... Шел снег, и этот проклятый гололед... «Извращенец» – вот последнее слово, которое мой единственный сын услышал от меня перед смертью. И мне нет прощения. Вот так.

Если бы Зимина плакала, ее можно было бы утешать. Но видеть эти сухие трескучие глаза, слушать твердый голос было совсем невыносимо, Ника чувствовала, как рот наполняется горечью. Ответить на исповедь актрисы было нечем, да Светлана и не ждала ответа. Ее выжигало чувство вины и отчаяния оттого, что ничего уже не исправить, но нужно продолжать как-то жить дальше, поднимать себя с кровати каждый день.

– Я передам это, – ладонь Ники легла на конверт.

– Спасибо. Я знаю, что это неправильно. Липатова твердит, что после премьеры все изменится. Как знать, вероятно, мы сможем себе позволить и штатного гардеробщика.

– Уверена, что сможем, – улынулась Ника. – Светлана...

– Да?

– Дашка с вами не ради зарплаты. А ради вас и себя самой.

После признания Светланы Никой овладел страх. Он был беспричинен, точнее, суть его лежала в законах бытия, в смертности человека и в том, как много можно не успеть сказать и сделать, прежде чем любимый человек уйдет навсегда. Ника смотрела на Кирилла с тоской, гадая, поймет ли, если когда-то увидит его в последний раз, почувствует ли,

что вот это и есть прощание. Нет, конечно, не почувствует, никто не чувствует. Все говорят «счастливо!» и уходят навсегда.

Вот он склонился, чтобы перевязать вокруг голени хлястики своих греческих сандалий потуже в тот самый момент, когда она оказалась неподалеку. И ноги сами понесли ее к нему. Замедлив шаг, она всего мгновение боролась с желанием протянуть руку, положить ладонь на его затылок, эти спутанные волосы, вьющиеся и темные, провести пальцами по трогательному завитку у шеи. Заставить его ощутить ее прикосновение, одно-единственное. Оставить на этой растрепанной прическе свою незримую, невесомую печать. Нельзя... Вот он, ее удел, протягивать руку и отдергивать, прежде чем увидит кто-то – или *он*. Ника прошла мимо и, лишь дойдя до конца коридора, осознала, что здесь ей ничего не нужно.

Она понимала теперь всех девушек без имен и без числа, кто провожал на войну своих суженых и вешал на крепкую загорелую шею ладанку с девичьим локоном. И кто вынимал из ушка сережку согласно русской поговорке – и уповая на Божье милосердие. «Следи за собой, будь осторожен», – неслось когда-то из магнитофонов во дворе ее родительского дома и от компаний, облюбовавших скамейки у гаражей душными летними вечерами. Тогда она не улавливала сути песни, а повзрослев, уже не задумывалась над нею, у нее была своя музыка. Но теперь, в стенах театра «На бульваре», она вдруг отчетливо осознала, о чем пел Цой. Это было заклинание. Когда человек заговаривает своих любимых, умоляет, требует от них осторожности. Потому что любит и не хочет ни отпустить на время, ни терять навсегда. Какое страшное слово – «навсегда».

Внутри Ники зарождалось негодование. Кто-то смеет нарушить покой театра, покой Риммы, а вслед за нею – и Кирилла. Тьма нависла над этим зданием, тьма вполне материальной природы, а значит, ее можно одолеть. Без лишних раздумий Ника наведальась на чердак, в котором с момента последнего ее посещения все оставалось нетронутым, и вынесла оттуда банку бутафорской крови. Если таинственный злоумышленник и хотел пустить кровь в дело, то она не собиралась дожидаться этого хода. Она сама вступила в игру. И во время обеда, когда большинство труппы мирно поедало свои салаты и тефтели, протянула банку реквизитору:

– Саш, смотри, что я нашла. Это не та кровь, которую ты потерял?

Ее взгляд миновал реквизитора (тот был вне всякого подозрения, иначе он не стал бы обращать всеобщее внимание на пропажу банки), но при этом Ника цепко и быстро, боясь не успеть, ухватила реакцию каждого из присутствующих.

И была разочарована. Ничего, кроме вялого удивления, вежливой

улыбки или равнодушного переглядывания: реквизит пропал – реквизит нашелся, что тут такого. Никто не смутился, не помрачнел, не заволновался и уж точно не выдал себя. Лишь Рокотская улыбнулась своим мыслям, поглаживая урчащую на коленях Марту. Саша радостно поблагодарил и поставил банку перед собой. Вид крови возле тарелки с едой его ничуть не смущал.

Конечно, она не предполагала, что кто-нибудь бросится к банке со словами: «Эй, отдайте, я еще не облил гримерку Корсаковой кровью!» – но все равно огорчилась. Тем более что на этом детективные идеи Ники иссякли. Она могла бы придумать что-нибудь еще, но ситуацию сильно осложняла сама Римма. Через день после происшествия с запертой дверью гримерки она вернулась к репетициям, но внутри ее что-то сломалось, поникло. Она больше не придиралась к коллегам, не отпускала рискованных замечаний, не ходила с видом заносчивой принцессы, а все свободное время держалась рядом с Никой. В ней актриса вдруг распознала свою спасительницу и избавительницу от ночного кошмара и накрепко привязалась. В буфет и на репетицию, в танцкласс и даже в туалетную комнату Римма старалась увязаться за Никой, забыв, что еще недавно пряталась с Милой Кифаренко. Паша, которому Риммино присутствие возле сестры было не по вкусу, мог вздохнуть спокойнее.

В разговорах Римма не касалась той ночи и утра, когда Ника вызволила ее из гримерки. Через несколько дней она пришла в театр со свисающим с шеи ожерельем из грубой бечевки и привязанных на нее белых головок чеснока. И когда Трифонов отпустил шутку в адрес вампирского амулета, актриса лишь недобро глянула на него и спрятала ожерелье под шелковый платок. Она боялась. Настолько, что не стеснялась выглядеть смешной. Настолько, что больше не играла в страх.

Стараясь не думать о плохом или серьезном, с новой приятельницей Римма говорила о всякой ерунде, подругах, которых Ника не знала, и магазинах, в которые Ника не ходила. Но еще Римма часто упоминала Кирилла, и тогда внимание Ники Ирбитовой было ей обеспечено. Так выяснилось, что Кирилл жестоко страдает после каждого занятия по хореографии, а теперь и после каждого прогона спектакля, во время которого ему приходится участвовать в танцевальных интермедиях.

– У него что-то с суставами. Я спросила однажды, но он не ответил. Он вообще немногословный.

«Разве? – подумала Ника. – Во время наших телефонных ночей он бывал весьма разговорчив...» А Римма продолжала:

– С тех пор как Лариса решила добавить эти номера, ему просто житья

нет. После каждой репетиции едва ходит. Добирается до дома и ложится в горячую ванну. Говорит, что суставы поют вечернюю мессу. А потом натирается всякими мазями. У меня уже все шмотки в шкафу провонялись!

– Зато моль не съест, – отозвалась Ника легкомысленно, хотя ее сердце болезненно сжалось. Так вот какая борьба происходит за закрытыми ставнями ее любимых глаз, когда он сидит после репетиции с каменным лицом. Это боль. После репетиций от него идет жар, Ника до сих пор чувствовала, каким горячим было тело Кирилла, когда он принял ее за Римму и прижал к себе. Это повышенная температура. Говорят, хуже суставной и костной боли нет физических мучений, и именно она, Ника, по прихоти судьбы – главная его мучительница. Что за ирония! Одного только Ника не могла понять: почему же он терпел все это время, зачем подвергал себя невыносимым испытаниям снова и снова? Болезнь ведь вполне уважительная причина, а способных танцевать актеров у них и без него хватает. Упрямец...

На месте Риммы она непременно садилась бы на край ванны, пока он лежит в чаше, и смотрела на лиловые узоры его век, этих лепестков диковинных цветов, и забалтывала какими-нибудь веселыми глупостями, а потом обнимала бы в пушистое полотенце. На месте Риммы... Ника убеждала себя, что должна быть хорошей, что не завидует Корсаковой. Но из них двоих лишь одна засыпает с Кириллом Мечниковым, а вторая – с открытой форточкой. И оставалось жадно ловить крупицы, оброненные актрисой в многословных рассказах о жизни с ним.

Конечно, Ника и сама была в состоянии подметить некоторые мелочи. Она знала, как Кирилл любит хлеб и как не переносит, когда кто-нибудь рядом с ним начинает мять хлебный мякиш в пальцах – его это почти оскорбляло, если судить по выражению лица. Рассказывал ли Кирилл своей любимой девушке о съеденном в одиночку белом батоне посреди морозной ночи? Как бы то ни было, это Римма может просыпаться рядом с ним каждое утро. Это Римма при желании игриво выдернет наушники-капельки из его ушей – и услышит его любимую музыку, догадываясь по ней, чем заняты его мысли. Это Римме не составит никакого труда подслушать биение его пульса у запястья или ловить каждый сердечный стук, прижавшись к груди. Но Корсакова, кажется, даже не задумывалась над этим неслыханным богатством. И Ника все равно радовалась, что с каждым днем узнает о Кирилле что-то новое – пока тот с приближением премьеры все больше и больше пропадал в хлопотах и заботах.

И каких мучений стоило ей теперь наблюдать за Кириллом во время

хореографических номеров. Каждое его движение болью отзывалось в ее теле, она чувствовала себя андерсеновской Русалочкой, каждый шаг которой режет ступни. Не зная точно, где у него болит, она страдала вся целиком. Его температура поднималась и у нее тоже, и после окончания интермедии голова пылала от лихорадки. И Ника не могла ему помочь, вслух обнаружить свое знание о его теле, потому что он доверил его только Римме, а Ника в отличие от той хранила чужие тайны. «Кажется, это все, что я умею и на что гожусь...» – горько усмехалась девушка про себя.

Как-то раз, много лет назад, она услышала, что с каждым вздохом в легкие любого человека на земле попадает три молекулы воздуха, побывавшие в легких Иисуса Христа. Она уже не помнила, где и при каких обстоятельствах эта информация попала к ней, но теперь ей думалось: значит, и воздух, которым уже дышал Кирилл, попадает теперь в нее, а ее выдохи, напротив, становятся его вдохами. Почти поцелуй. Мысль была странная, если посудить здраво, но почему-то непременно заставляла ее мечтательно улыбнуться. Эти фантазии были ее тихим островком, со всех сторон омываемым ежедневными треволнениями и гнетущим ощущением беды, которое после случая с гримеркой только усилилось.

## Явление двенадцатое

### Отыгрывание вовне

Так пролетели семь дней. Липатова нервничала. Вот уже неделя как ее главный козырь, ее Елена Троянская, померкла и поблекла. Римма больше не восхищала, не завораживала. Она двигалась по сцене без вдохновения, говорила без огонька, и ее соблазнительность и чарующая живость вдруг превратились в надуманную жеманность и куцость механической куклы, не вызывающие никакого отклика, кроме недоумения. Каждую секунду в ней отчетливо ощущалась обреченность. Корсакова была сломлена, и Липатова не знала, как ей помочь.

В любое другое время Лариса Юрьевна могла бы дать Римме передышку, даже отпуск, – но времени до премьеры почти не осталось. И жесткость, которую от нетерпения и раздражительности проявляла Липатова, вряд ли влияла на Римму благоприятно. А проявлять участие Липатова просто не умела.

Ника видела все это. И, странным образом став приятельницей Риммы, даже знала, каково той терпеть растущее давление режиссера. Актерская душа – слишком тонкий инструмент, чтобы происходящее в ней не сказывалось на сценической игре, а одна плохо сыгранная, да еще и ключевая роль ставила под удар весь спектакль.

– Я не могу уповать на то, что она «сливает» роль на прогонах, но на премьере вдруг соберется и выдаст класс! А вдруг не выдаст, вдруг все запрет? Слишком большой риск...

Ника присутствовала на совещании у Липатовой. Их было всего трое: хозяйка кабинета, она сама и Кирилл. Лариса Юрьевна, окончив репетицию, отпустила всю труппу и только Мечникова с Никой попросила задержаться. Теперь она стояла возле стола и нервно стаскивала с пальцев кольца и перстни, складывая их перед клавиатурой в сверкающую разноцветную кучку. Как только ее руки остались совершенно голыми, она начала надевать кольца обратно.

– Ей сейчас тяжело. – Кирилл вздохнул и в поисках поддержки обернулся к Нике: она ведь теперь лучшая подруга Риммы. Но Ника, боясь, как бы он не увидел в ее глазах лишнего, поспешила уткнуться в блокнот. – Понимаете, Лариса Юрьевна, Римма – очень чуткий и восприимчивый человек, она не может перестраиваться быстро. А та история...

– Я понимаю это как никто! Я знаю девочку дольше, чем любой из вас. И я люблю ее. Вся эта бредовая ситуация с мертвой пионеркой... Кто это вообще придумал?

– Так писали на форуме поклонники, – напомнила Ника вполголоса.

– Не уверена, что поклонники, скорее враги, потому что это самая настоящая диверсия!

Кирилл и Ника тактично промолчали, но это лишь больше завело Липатову:

– Все это плохо пахнет. Давайте сразу договоримся, что у нас не завелось никаких призраков!

Ника не стала говорить вслух, что не далее как вчера Римма предприняла очередную попытку заставить Лизавету Александровну Рокотскую снять с нее порчу.

– Римма, милая, кто, скажи на милость, втвердил тебе, что я ведьма? – Пожилая дама посмеивалась так лукаво, что ее вполне можно было заподозрить в двойной игре: может, нет, а может, и да.

– Не ведьма, Лизавета Александровна! Колдунья... – Римма смотрела жалобно. – Ведунья, называйте как хотите.

– Римма. Ты ведь цыганка. Так погадай мне. – И Рокотская с шутливым видом протянула ей свою пергаментную ладонь. – Что, позолотить тебе ручку?

– Именно потому, что я цыганка по матери, я чувствую такие вещи, – серьезно принялась объяснять Римма. – Не зря же Нина привязалась именно ко мне. У нас с ней энергетический канал или что-то типа этого. Меня наверняка сглазили, и поэтому она получила ко мне доступ. Лизавета Александровна, она ведь меня погубит... Ей хочется моей смерти, я знаю. Я ведь старшая среди детей. А она была младшей, и Нину убила как раз ее старшая сестра. Наверное, среди труппы сейчас нет никого из старших сестер в семье, одна я. Она пробудилась, она восстала и направляет теперь свой гнев на меня. Потому что принимает меня за свою сестру, которая сбросила ее с галереи... И мстит мне.

– Красавица, выбрось ты эти бредни из своей хорошенькой головки... – советовала Рокотская, удивляясь такой развернутой, почти научной трактовке происходящего.

– Пожалуйста, Лизавета Александровна... Один обряд... Я ведь знаю, что вы можете.

В Рокотской определено было что-то мистическое, тут Ника склонна была согласиться с Корсаковой. Актриса всегда была «себе на уме», а все эти длинные юбки в пол, броши и тяжелые бусы с уральским малахитом,

яшмой и зеленоватой бирюзой и особенно кулон в виде собачей головы лишь усиливали впечатление. Но всерьез просить старшую коллегу о снятии порчи? Римма явно хваталась за соломинку, которую ей не протягивали.

Пока Ника вспоминала эту сцену, Липатова продолжала развивать свою мысль:

– Нет уж, никаких потусторонних сил, никаких мне тут баек из склепа! Просто кто-то невзлюбил Римму и теперь старается насолить ей. Ежу понятно. Только почему должна страдать я? Весь театр?

– Мы могли бы разобраться, выяснить, кто за этим стоит, и тогда, – Ника попробовала склонить худрука на свою сторону. Она уже готова была рассказать и о радиопередатчике на чердаке, но Липатова не захотела слушать:

– Нет. Нет времени, сейчас не та ситуация. Нужно всем отбросить панику и просто делать свое дело, а не играть в доморощенных Шерлоков! Может быть, потом, после премьеры... Да боже мой, это же просто затянувшаяся шутка. Рано или поздно все это наскучит и этот человек одумается. Посмеялись, поохали и разошлись, все. Только что делать с Риммой? Поймите, мне жалко ее, конечно, жалко, сердце кровью обливается. Но она же просто не справляется! А взрослый человек обязан справляться.

– Значит, она не взрослая. Она ребенок, который просит о помощи! – Кирилл вдруг поднялся с места, и Ника почувствовала шедшее от него напряжение. Как сильно его волновала участь Риммы... Но Липатова поморщилась:

– Кирилл, сядь. Не надо драматизма. Она взрослая женщина. И то, что она живет с тобой и что я ее люблю как дочь, еще не дает нам право делать ей поблажки. Она служит в этом театре, и дела театра превыше всего. Если бы я каждый раз обращала внимание на чье-то плохое настроение, где бы я сейчас была, а?

– И что вы предлагаете?

– Я думала, это вы мне что-нибудь предложите. Кирилл, ты у нас в последнее время мозг.

Кирилл сердито пожал плечами. Пальцы Липатовой забарабанили по томику статей Тарковского, лежащему на краю стола.

– Мне кажется, надо заменить ее, – произнесла Лариса Юрьевна. – Дать отпуск, дать время отдохнуть вдали от всего этого. А самим пока выпустить спектакль.

– И сорвать аплодисменты без нее. А не предательство ли это?

Слишком необдуманное слово вырвалось у Кирилла, слишком жесткое. Щеки Липатовой пошли пятнами, и Ника уже ожидала неминуемого взрыва, когда худрук молча поднялась рывком и подошла к застекленному шкафу. Там ровным рядком стояли статуэтки и кубки всех конкурсов, в которых когда-либо участвовал театр «На бульваре». Призы эти принадлежали не только Липатовой и не столько ей, сколько всем остальным: за лучшие главные роли и роли второго плана, за художественное решение, за музыкальное оформление спектакля. Но после каждого фестиваля они рано или поздно оказывались не в квартирах актеров, художников и звукорежиссеров, а на этой полке. В ее иконостасе.

Сейчас Липатова вытащила из-под стекла большой альбом с бархатной фиолетовой обложкой и латунными уголками. Ее рука ласково скользнула по мягкому переплету и раскрыла на первой странице.

– Здесь театру один год, – мечтательно пробормотала режиссер.

На фотографии Липатова с мужем, Зимина и Рокотская стояли в рабочей одежде, с кистями и валиками в руках. На голове обнимающего жену Стародумова красовалась сложенная из старой газеты пилотка, как у заправского маляра. Липатова и Зимина намного моложе, и только Лизавета Александровна все та же.

– Ремонт мы делали своими силами, то потолок побелим, то обои поклеим в фойе. Тут мы только что закончили красить батареи... Белой краски не хватило на самом видном месте, магазины были уже закрыты, а завтра утренник, так что пришлось докрашивать художественным акрилом, такая глупость.

Она улыбнулась и принялась переворачивать страницы дальше:

– А это мы с труппой отдыхаем на море, на Куршской косе. Ездили в Калининград на гастроли, тамошний народный театр пригласил. Помню, Света Зимина забыла текст, и Витя Прокофьев, вы его не застали уже, вынес ей листок из роли на подносе прямо на сцену... Вот здесь репетируем «Три сестры», это Алина, она потом ушла в Театр на Малой Бронной. Она вечно просыпала начало репетиции. А это мы на восьмилетие театра устроили премьеру «Антония и Клеопатры», тут уже Римка к нам присоединилась.

Липатова показывала фотографии, и Ника видела, как меняются лица, становятся старше актеры, одни исчезают со страниц, другие, уже знакомые, появляются. Разные роли, костюмы, посиделки после спектаклей, момент напряженного спора Липатовой с Лелей Сафиной в доспехах Жанны д'Арк, дурашества Трифонова-Страшилы на фоне

демонтажа декораций Изумрудного города. Лица то улыбающиеся, то сосредоточенные, то – часто – хмельные. Липатова рассказывала о каждой фотографии, вспоминая несущественные детали, маленькие истории, и обо всем этом говорила с мучительной нежностью, особенно о заслугах театра. Ни о ком из людей она не говорила так. На фотографиях награждений и вручений грамот и дипломов она останавливалась дольше, чем на всех остальных, и в глазах ее светилась материнская гордость.

– Ты говоришь «предательство», Кирилл? – Липатова бережно закрыла альбом, но не поставила на полку, а держала у груди, как малыша. – А что будет с театром, если мы не сможем сделать то, что задумали? У нас не будет другого шанса. Вот что такое предательство. А не нервный срыв Римки. С ней-то все будет хорошо.

– И все же. Не отстраняйте ее, пожалуйста, – Кирилл придвинулся ближе, и голос зазвучал так обволакивающе, что у Ники снова, как в первый день знакомства, по спине побежали мурашки. Он и просил, и убеждал, и не давал ни единого шанса устоять. – Я обещаю вам, что приведу ее в чувство. Она станет прежней, и на премьере все будет хорошо. Я от нее шагу не сделаю, пока не буду уверен, что все хорошо. Только не поступайте с ней так. Она ничего не испортит, я прослежу за этим.

Лариса Юрьевна вздохнула. Никто другой не заставил бы ее усомниться в правильности решения – но Кирилл Мечников обладал даром убеждения, и Ника, игнорируя тоскливое еканье сердца, когда Кирилл говорил о Римме, в который раз восхитилась им. Вот оно, обаяние в действии.

И уже Липатова, не в силах противостоять этому, оказалась в роли просительницы:

– Кирилл... Я доверяю тебе. Все в твоих руках, только не подведи. Пожалуйста, ты моя надежда.

Все они вздохнули с облегчением, придя к согласию, и Липатова окончила совещание на мирной ноте. В коридоре Ника окликнула Кирилла:

– Подожди!

– Что?

Он обернулся, и Ника забыла, что хотела сказать. Столько мрака было в его бирюзовых глазах, столько холода в этом «что?». Он был зол, как дьявол, и на это не было видимых причин. Ника отшатнулась: впервые в жизни Кирилл пугал ее.

– Н-ничего, потом.

Он резко кивнул и зашагал прочь.

Ночью ей мерещилась всякая чертовщина, а перед рассветом расчирикались птицы, но Ника их радости не разделяла. Она ощущала, как за последнее время расшатались ее нервы. Вчера Дашка за ее спиной уронила на пол книгу, а Ника от неожиданности подскочила и еще долго не могла успокоить бегущее иноходью сердце.

В метро была давка, от духоты гудело в голове. Наступило время, которое Ника недолюбливала, поселившись в мегаполисе: тепло к полудню и зябко по утрам и вечерам. Ни за что не рассчитать, во что одеваться, чтобы не вспотеть в толчее в час пик. Вот и сейчас, несмотря на то, что шарф давно был спрятан в сумку, а куртка распахнута, воротник водолазки по-прежнему неприятно лип к влажной шее, и Нике казалось, что он ее душит. На пересадочной станции толпа вынесла ее из вагона и повлекла к эскалатору. И именно тогда, в центре этой пестрой недружелюбной многоножки, она заметила Митю.

Всего краем глаза заметила, но паника накатила мгновенно, таким скользким обморочным валом. Митя двигался впереди, всего в нескольких метрах, и Ника видела лишь его щеку и затылок, но ей казалось, что он продолжает смотреть на нее. Как тогда. От страха Ника остановилась, тут же получила ощутимый толчок в спину и споткнулась, упала на стоящую впереди тетку.

– Осторожнее! – взвизгнула та.

Но Ника ее не слышала. Заработав локтями, она принялась расталкивать людей, подбираясь к Мите все ближе. То теряя его из поля зрения, когда перед ней оказывался высокий парень или старушка с яблоневым саженцем, ветки которого лезли в лицо, то снова находя глазами. Она уже могла рассмотреть воротник его бледно-салатовой рубашки, дужку очков за ухом, новую прическу и не знала, зачем хочет догнать своего мучителя. Спросить, зачем он следит за ней, наверное. Но неужели и так непонятно? И неужели он на свободе? На сколько лет его осудили за ее похищение, она вспомнить не могла, мысли рассыпались и тонули в вязкой пелене. Награждаемая со всех сторон тычками и руганью, она протискивалась вперед, чувствуя, что сейчас потеряет сознание. И внезапно пол поплыл под ногами. Ника инстинктивно взмахнула рукой и нащупала опору. К вспотевшим пальцам прилипло что-то резиновое, и девушка не сразу сообразила, что это поручень. Она оказалась на эскалаторе, тянущем ее наверх по-воловьему тяжело. Митя стоял в десяти ступенях над ней и не оборачивался, зная, что она его заметила.

В утренней давке пассажиры стояли на подъем в два ряда, и Ника лезла вверх, обезумевшая, наступая на чьи-то ноги, отпихивая людей плечами. Ей в громкоговоритель кричала дежурная по эскалатору, все глазели, но сейчас ничто не имело значения. Только Митя.

И она добралась до него. Дернула за рукав, почти простонала:

– Зачем ты преследуешь меня?!

– Простите?

Это был не он. Похож, но не он, просто молодой мужчина, смотревший растерянно и с настороженностью, как на городскую сумасшедшую. Но вместо облегчения или стыда Ника почувствовала себя обманутой. И внутренняя истерика внезапно сменилась металлическим, обездвиживающим страхом. Будто весь мир обледенел, покрылся прозрачной твердой коркой, пошел морозными узорами и оказался отделенным от того содрогнувшегося существа, которое именовалось Никой. Она снова оказалась взаперти, не в клетке, а скорее в аквариуме, беззвучно открывая рот и не имея возможности даже вздохнуть, не то что крикнуть.

Весь день продолжалось то же самое. Ника честно пыталась разобраться в себе, надеясь, что логика победит иррациональный ужас. Она не Римма Корсакова, чтобы видеть призраков – или придумывать их. Но ее нутро не слушало доводов рассудка.

Ника провела эту бесконечную среду, сидя в кассе и борясь с желанием запереть дверь. Каждое новое проникновение – приход Дашки, Реброва, Липатовой – поднимало зимний ветер в ее душе, и мирные зеленые листья, которыми она успела обрасти изнутри за годы в театре, скукоживались, чернели и облетали, обожженные морозом. К вечеру она явственно осознала, что есть лишь один способ вернуть все на места: самой вернуться на место. К началу.

– С ума сошла? Какой отпуск? Сейчас? – Липатова кипятилась. – До премьеры всего ничего! Куча дел. Репетиции, танцы. Нет, нет...

– Лариса Юрьевна. – Нике было совершенно безразлично, кричит ли на нее худрук, упирается ли. Она знала, что все равно поедет. – Мне необходимо. Несколько дней. Считайте, что по семейным обстоятельствам.

– «Считайте»? – задохнулась та. – То есть на самом деле не по семейным, но...

– По гораздо более важным, – отрезала Ника. Так безапелляционно, что Липатова перестала спорить. Она упрячилась молча, без остановки качая головой, всем своим видом демонстрируя категорическое несогласие.

И когда Нике это надоело, она просто вышла. Липатовой придется смириться с ее отсутствием, так или иначе.

До конца дня при виде Ники Липатова только неодобрительно поджимала губы. Зато она поразила девушку, когда окликнула в коридоре мужа – спустя столько дней, проведенных бок о бок с ним без единого словечка.

– Борис, я травяной сбор заварила. Для твоего желудка.

Проронив это, Липатова тут же двинулась по коридору, тяжело и величаво, как груженная каравелла. Ника успела заметить взгляд Стародумова, который тянулся следом за его женщиной: разматывающийся шлейф в руках верного пажа, обожающего и благодарного. Она давно и без объяснений смекнула, что произошло между ним и его восторженной Катенькой. Первый жар влюбленности в актера спал, как только поклонница узнала его поближе, увидела не в блеске рампы, в горностаевой мантии или громающих доспехах, не согревающего ее ладони на февральском ветру, а – обычного. Немолодого уже мужчину, со слишком худыми для одутловатого тела ногами, возможно, в халате или домашнем костюме, заспанного поутру, со скверным настроением до первой чашки кофе. С двумя женами, одной бывшей и одной не очень, со взрослой дочерью. С набором болячек, неминуемо превращающихся из внезапных в хронические. Короля Лира не заподозрить в язве желудка, а хитроумному и ослепительному Улиссу не пристало курить вонючие сигареты, сидя по полчаса на унитазе, или комментировать вечерний выпуск новостей. Но откуда это было знать старой деве, коротающей годы возле прикованной к постели матери и выросшей на любовных романах в цветастых мягких переплетах, героини которых рано или поздно встречали своих рыцарей, герцогов, миллионеров и бесстрашных тexasских парней, суровых на вид и нежных внутри, как подтаявший пломбир с ванилью.

Ника была искренне удивлена великодушием Липатовой, и, кажется, Стародумов тоже. Остаток дня он ходил за супругой хвостом. С Никой режиссер так и не заговорила, но девушка благоразумно написала заявление на отпуск и оставила на видном месте в кабинете Липатовой.

Сонным утром пятницы Ника сошла на вокзальный перрон городка, когда-то бывшего ей родным.

Она никого не предупреждала о приезде, и ее никто не встречал. И вместо того, чтобы отправиться прямоком в родительскую квартиру – не «домой», а именно «к родителям», – она пошла бродить по знакомым

с детства улицам. Замечала, как изменился город за время ее отсутствия, как появились магазины и здания, как через реку успели перебросить новые мосты. Огорчилась, осознав, что на месте ее любимого пустыря с огромной раскидистой черемухой вырос целый микрорайон. Прошла мимо кованой ограды своего института, возле которой суетились и хохотали студенты. Город, за время ее московской ссылки приобретший черты фантазмагии и кошмара, оказался пыльным, блеклым и маленьким. Все с тем же памятником в сквере Ленина, облупленной стеной гостиницы «Центральная» и запахом чебуречной, что на углу проспектов Орджоникидзе и Горького мешался с ароматами парфюмерного магазина. Теперь Ника удивлялась, как же ей в голову пришло приехать сюда, как она решилась на это, бросив театр, Римму с Кириллом, спектакль – все, что составляло ее настоящую жизнь. Была причина?

Новые незнакомые лица. Стоило приехать, чтобы увидеть их, на перекрестках, в переулках и дворах. Эти люди не знали ее так же, как она не знала их. И, хотя за время прогулки она встречала некоторых знакомых, те не успевали признать ее, пока она проскальзывала мимо, а если и вспоминали Веронику Ирбитову, то не бросались вдогонку. В сердце родного города она стала чужой. Ее никто не ждал, и о ней никто не грезил. Теперь неважно, разнесется ли слух о ее появлении, заворочаются ли новые сплетни или она останется незамеченной, кусочком прежней жизни, которая минула навсегда. Эти люди ничего ей не сделают, они не навредят. И никогда не могли навредить, просто раньше Ника не понимала этого. Она слишком боялась.

Страх, который родился в бетонном подвале швейной фабрики, той самой, что еще стоит в тупике улицы Майкова, который поднял свою скорпионью голову в сотнях километров отсюда, в переходе между Курской кольцевой и радиальной, – его больше не было. Освобожденная, Ника ускорила шаг, села на автобус, отметив про себя, что маршрут изменился, и добралась до родительского дома. Его торец все еще украшало огромное мозаичное панно с конем-атомом, укрошенным человеческой рукой.

До самого вечера, пока отец не пришел с работы, мама не отпускала ее руку. Она поила Нику чаем, закармливала домашними вкусностями, подкладывая в тарелку еще и еще, пока дочь не взмолилась:

– Мамочка, одумайся, я умру от заворота кишок!

– До чего ты худенькая! Посмотри на себя, превратилась в тень. Где моя девочка?

– Ты так говоришь, будто я была пятидесятого размера, а сейчас стала сорок второго. Мой вес нисколечко не изменился!

Мама качала головой и принималась ахать, охать и суетиться дальше. Она тараторила без умолку, посвящая Нику во все новости и сплетни, припоминая дальних родственников, одноклассников, соседей, институтских подруг. Кажется, мама была в курсе всего происходящего и когда-либо происходившего в городе с момента его основания. Кто женился, кто развелся из-за измены, а кого уже похоронили, кто ввязался в темную историю, а кто выбирался в городскую думу, но не прошел. Чей сын стал бандитом, а чей – бизнесменом, чья дочка выскочила замуж «по залету», а чья так и осталась «в девках» – мать знала все про всех, и Ника была неприятно удивлена, потому что раньше, до произошедшего с ней, просто не замечала этого. Благодаря таким вот людям Ника и сбежала в Москву. Но когда она пыталась убедить маму, что ее не интересуют все эти бессмысленные и разрозненные сведения, та только всплескивала руками – и явно не принимала всерьез. Ника обнимала ее за острые плечи, только чтобы дать себе время посидеть в тишине, и вспоминала, как в детстве пустел их двор, стоило по телевизору начаться вечерней серии «Санта-Барбары». Вот почему бесконечная мыльная опера имела такой неслыханный успех в русской глубинке: она была зеркалом этой глубинки.

Наконец, глаза матери стали многозначительными и круглыми. Ника поняла, что та собирается сказать что-то действительно важное.

– Дмитрия Караева выпустили.

Значит, Митя на свободе... Никины руки неосознанно сцепились в замок, а в голове мелькнула мысль: «Неужели она почувствовала это через расстояния?» Неужели в тот самый день, когда Митя вышел, она увидела его в метро...

– Когда, давно? – решила уточнить Ника.

– Месяца два назад.

Все правильно. Не стоит домысливать мистическую составляющую там, где ею и не пахнет. Это просто жизнь, которая идет дальше, а не заспиртованный уродец в банке.

– Но ты не волнуйся, – продолжала мама. – Говорят, он вполне вменяемый и даже не думает о тебе больше. Он не побеспокоит тебя. Тем более что я приглядываю за ним.

– Не надо приглядывать, мам. Пусть просто живет как можно дальше от вас и меня.

А про себя Ника подумала: «Она ни от чего не застрахована». И в голову Мити не может залезть, как не попадут туда ни врачи, ни полицейские. И что с того? Той давней истории надо положить конец.

Ее собственная жизнь идет далеко отсюда, и никто не сможет этому помешать. Ну, разве что шальная машина из-за угла, кирпич с крыши, неисправная турбина самолета, бомба смертника – и еще сотня-другая опасностей, которые идут в ногу с нею, несутся ей в лицо, незаметно, ежеминутно и ежечасно.

После появления в квартире отца разговоры о Мите прекратились. Ника знала, что папа до сих пор подозревает, что она рассказала о своем похищении не всю правду. Что ж, ей его не переубедить, не стоит и стараться, каждый верит лишь в то, во что готов поверить. А еще родители были готовы поверить в интересную жизнь их дочери в столице – и Ника не стала их разочаровывать, хотя ее рассказы и напоминали истину весьма отдаленно, и притом с большим количеством купюр.

Через час она почувствовала, что должна быть где-то в другом месте. Что до сих пор не сделала того, зачем приехала сюда.

– Мам... а Лешка до сих пор тут живет? Не переехал?

– Живет, а как же...

– Хорошо, – Ника легко встала. – Тогда я к нему.

– Ника, он женился.

Прозвучало как предостережение, и Ника усмехнулась:

– Семейный очаг останется неприкосновенным.

Их подъезды всегда разделяло лишь с десяток метров тенистого палисадника, в который солнечный свет не заглядывал даже в полдень: северная сторона. Одна только старая сирень с голыми узловатыми ногами, заросли мокреца да пара кустиков голубеньких водосборов и хосты с сочными лопухами гофрированных листьев – и вот уже Лешин подъезд. Заходишь внутрь – и сразу (еще глаза не привыкли к темноте, а лампочка под потолком выкручена каким-то очередным умельцем) в нос бьет сырой холодный запах проросшей картошки, земли и цемента. Это из подвала, куда через три ступеньки вниз ведет запертая деревянная дверь, подступы к которой теперь перекрыты детской коляской. Ника прекрасно помнит, как они с Лешкой таскали у родителей ключи и потом, согнувшись в три погибели, слонялись в потемках подвала, пугая друг друга из-за углов, ковыряясь гвоздями в замках соседских отсеков, периодически влетая лбом в нависающую толстенную трубу отопления и коптя свечным огарком свои имена на сером низком потолке.

С верхних этажей вниз по лестнице стекал запах жженого масла и ванили. За эти годы он не изменился: в тридцать восьмой квартире Марья Павловна жарит пончики. Ника не допустила и вероятности, что за это время со своенравной старушенцией что-то могло произойти, а у плиты

теперь стоит, заслоняясь от шкворчащих брызг, ее невестка. Нет, ей стало вдруг жизненно важно думать, что все с Марьей Павловной в порядке, а иначе и быть не может. Как в порядке три ряда крашенных почтовых ящиков между первым и вторым этажом, как в порядке коричневые перила, с которых можно было кататься, когда не видят родители («Ника, а ну слезай! А вдруг туда кто-то воткнул лезвие? Распорешь себе все к чертовой матери!»). На третьем этаже вся площадка была уставлена так, что не пройти: подранное кошкой кресло, высокий стеллаж с растрескавшейся полировкой и вынутыми полками, цветочные горшки без цветов в металлической треноге, раскрашенной черно-белыми мазками «под березку». А еще тумбочка, на которой изрядно пованивала хрустальная пепельница, по-советски увесистая, основательная, с волнистыми краями, вся утыканная разномастными окурками, от гнутых гильз «Беломора» и крапчато-рыжего «Кэмела» до женственно-тонких огрызочков, прихваченных морщинистыми помадными оттисками губ. И одинокая лыжа, выглядывающая из-за шкафа ладьей своего носа. Ника уехала из города почти четыре года назад, и еще сколько-то времени до этого она не заходила к Леше в гости – но помнила каждую мелочь, вплоть до щербин в полу его лестничной клетки.

Она остановилась у обитой коричневым дерматином двери. Все тот же дерматин, та же черная заплатка на уровне пояса, те же заклепки: не гладко-круглые, а ребристые, как крохотные зонтики. И пока рука поднималась, ухо уже слышало звонок, что должен раздаться вслед за этим. Сварливое электрическое дребезжание, будто заливается старенькая собачонка. Ника так и не смогла нажать на кнопку – и кашляющая, простуженная трель не прозвучала. Ника все еще оставалась невидимкой и боялась своим появлением потревожить хоть кого-то. Из-за двери доносились очень простые, мирные звуки, быстро-быстро стучал по доске нож, бубнил телевизор, шумела вода в туалетном бачке, хлопала дверь, однообразно пиликал мобильный телефон...

«Лен, чайник вскипел!»

Ника затаила дыхание. Она сразу же узнала голос Леши, и это оказалось намного болезненнее, чем она ожидала. Рука дернулась к звонку, сведенная судорогой на сгибе локтя, и Ника отдернула ее, чтобы не искушаться.

И вдруг «глазок» подмигнул заслоненным светом, и дверь тут же распахнулась.

– Вам кого?

На пороге стояла женщина в китайском халатике, ничуть

не скрывавшем рыхлые белые бедра. Ника посмотрела на них, покраснела, подняла взгляд на грудь, к которой хозяйка мастерски, одной рукой прижимала младенца, – и только потом на лицо.

– Лена?

– Мать твою, вот это да...

Леночка, ее давняя подруга, чье отсутствие на протяжении всего этого времени не доставляло никаких угрызений и тревожностей, любопытная Леночка, охочая до слухов и сплетен Леночка – это была она. Справившись с первой оторопью, Леночка заулыбалась, замельтешила, остро чмокнула в щеку, извиняясь, что не может обнять – дочка мешает. И только потом сообразила, крикнула в глубину квартиры:

– Але-ещ, брось посуду! Смотри, кто приехал!

«Ему ведь нельзя мыть посуду, экзема», – стрекотнул в Никиных мыслях беспокойный кузнечик. Леша появился в коридоре, на ходу обтирая руки кухонным полотенцем, такой же невысокий и крепкий, надежный настолько, что вот кинься к нему Ника – и он бы без раздумий поймает ее в одну из танцевальных поддержек. Но она продолжала беспомощно переминаясь в дверях, и Леша ей не помогал. Он оглядел ее с ног до головы, воинственно и непримиримо, как отец встречает дочь с затянувшейся дискотеки. Повисла до того неловкая пауза, что захотелось побыстрее распрощаться и убраться восвояси. Леночка, стремясь сгладить гнетущее впечатление, затараторила, приглашала войти, Ника, кажется, отнекивалась и ссылалась на дела, даже не вникая в смысл ее и своих слов, машинально. И как дочь, вернувшаяся с дискотеки, хотела только одного – одобрения и усталого вздоха, вселившего бы надежду в ее сердце.

В довершение всего расплакался ребенок, надрывно, в мгновение побурев и посинев личиком, и Леночка, стискивая зубы, почти потребовала Нику зайти, пока сама она будет укачивать младенца. Ника покивала, и подруга скрылась в дальней комнате, напоследок наградив мужа и гостью безгласным подозрением. А они остались стоять на площадке и смотреть друг на друга. Когда в глубине жилища смолк детский плач, Леша очнулся, прикрыл дверь и вжал ее в косяк до щелчка все с той же опасливой гримасой, которую Ника замечала не раз, когда в юности им удавалось улизнуть гулять ночью вопреки запретам родителей.

– Зря ты так... уехала и исчезла. Я ведь тебя искал.

Вот вечно он, всегда с места в карьер. Сегодня обошелся даже без приветствия. Леша вообще славился своим умением вычленять главное и не обращать внимание на детали. То, что помогало в учебе и, надо полагать, в работе, с людьми порождало трудности: его специфическую

манеру общаться считали бестактностью. Все, но не Ника – ее она восхищала. И теперь на его простом, чуть отяжелевшем лице она читала как по вызубренному учебнику, наизусть.

– Я знаю, – отозвалась она.

Он и правда искал. Через месяц после ее отъезда он выпытал у матери ее номер телефона и адрес. Но Ника, только слышав знакомый голос в трубке, тут же сбросила вызов и сбегала к метро за новой сим-картой.

– Я даже ездил в Москву.

А вот этого она не знала. И не в силах смотреть Леше в глаза, Ника прильнула к нему, положив голову на плечо. Сквозь запах жареного лука и какой-то детской парфюмерии, то ли присыпки, то ли бальзама от опрелостей, пробивался знакомый с детства запах – запах Лешки Стеблова. Отвыкнув, она все-таки не забыла его. И пусть он никогда не был ей возлюбленным, он был другом, братом. Сделал предложение, которое она со стыдом отвергла. И только теперь Ника осознала, что тогда, спасая собственную шкуру, она как-то мимоходом умудрилась совершить предательство.

– Ты даже предлагал мне выйти за тебя замуж, – она потерлась о его щетинистую щеку, такая же некокетливая, бестактная и не подыскивающая слова-обертки, слова-фантики.

– А ты отказала.

– Потому что ты сделал это из жалости.

– Ник, ты действительно думаешь, что хоть один мужчина на этой земле женился из жалости?

Может быть, просто красивое преувеличение. Какая теперь разница? Ника чуть отстранилась, заглянула в его лицо. Они почти соприкасались сейчас носами, и при желании за этим взглядом мог бы последовать поцелуй. Но он не последовал. Потому что время уже прошло. Давно. И даже Леша признавал это.

Они постояли, обнявшись, покачиваясь от внутреннего прибоя. Ника слышала дряхлые шаги мимо по лестнице, чью-то одышку, слышала бормотание про «срамоту» и могла бы поклясться, что ее плечо обжег неодобрительный и возмущенный взгляд – но даже не повернула головы, чтобы посмотреть, кто это был. Сейчас все это совсем не важно. Она так долго переживала из-за того, что говорят люди, что все их слова успели обесцениться, как уголь, перегоревший в печи до золы.

– У меня теперь есть дочка. – Леша не просто озвучил очевидный факт, Ника поняла, что он произносит это, чтобы она поделила с ним драгоценность этого существа, спеленутого в розовое. – Я хотел назвать ее

Вероникой, но Ленка взбеленилась.

– Могу себе представить, – Нике вдруг стало легко, в горле взвились солнечные пушинки. – И как назвал?

– Валерией. Но у нее, как и тебя, в одном месте перпетуум-мобиле. Так что я практически заслуживаю Нобелевскую премию за ее изобретение...

И внезапно все стало просто. Нику охватила безмятежность от того, что Лешка по-прежнему друг. Не надо рассказывать другу то, что происходило с тобой во время его отсутствия, – достаточно продолжить разговор, который когда-то не договорили. Они и продолжили.

## Явление тринадцатое

### Антигерой

В поезде Ника думала не о родителях и не о городе, оказавшемся чужим, тесным и нестрашным, а о Лешином замечании напоследок. Ее ладонь давно покоилась в его крепкой обшелушенной руке, и большой палец ласково и совсем не волнуяще поглаживал ее мизинец.

– Ты стала такая... Вот такая, – другой рукой он отмерил ее рост на уровне двух метров. – Теперь я вижу, зачем ты тогда смылась. Я ужасно злился на тебя за то, что ты сбежала, а не стала бороться. А оказалось, ты еще умнее, чем думалось. И сильнее. Внутри тебя как будто вырос еще один скелет. Не скелет даже, а – дерево, скелет жесткий, а у твоего дерева есть гибкость, упругость. В нем много веток, листвы, и оно шумит внутри тебя от кого-то ветра. Ты не просто сильнее, чем была когда-то, ты большая и... и мощная.

Они оба расхохотались от несоответствия смысла и Никиного внешнего вида: такой вот мощный воробушек в потертых джинсах и кедах на босу ногу. И расстались еще ближе, чем некогда были.

Только теперь, когда из поперечин шпал и перестука неутомимого метронома колес складывалась дорога вперед, Ника позволила себе подумать о Кирилле. Она носила его образ по каждой улице, которую прошла за эти дни, но осознанно не позволяла увлечься им в полную силу. Отлавливала и истребляла каждую нежную мысль «вот здесь ему бы понравилось» или «вот это заставило бы его улыбнуться». Иначе она не смогла бы разобраться в себе и поездка оказалась бы напрасной. Это стоило невероятных усилий, но она справилась. И сейчас, на верхней полке, Ника наконец разрешила себе отдаться мечтам о нем, о звуке его голоса, о прозрачном свете его глаз. Ее грела мысль, что с каждой минутой она все ближе, и неважно, что он, вероятно, даже не заметил ее отсутствия. Вдруг вспомнила, как однажды он затеял партию в покер и обставил Пашу, Лелю и Даню, да так, что распалившийся Трифонов обвинил его в шулерстве, а Кирилл не моргнув глазом согласился. Оказывается, он и правда мухлевал, только вот поймать его за руку Даня так и не смог, даже будучи предупрежденным. Ника не удержалась и захихикала от этого воспоминания, и тучный сосед по купе тут же принялся приглаживать волосы, поглядывая встревоженно: не над ним ли смеются. Чтобы

не смущать попутчиков, Ника отвернулась к стенке, потушила тусклую лампочку над головой и продолжила предаваться своим безнадежным удовольствиям, улыбаясь в подушку.

### *Сон о троне*

В кузнице было жарко, как в жерлах Тартара. Мехи раздували огонь в очаге, и Ника почувствовала, как от сухого жара развеваются ее волосы. Недра земли гудели и дрожали, и их стон касался чуткого уха Ники, рождая тревогу.

Она не знала, зачем оказалась и как попала сюда. Ее память сплошь состояла из заслонок и преград, и мысль продиралась через них неохотно и трудно, натываясь на слепые пятна. Ника помнила об Олимпе, но ее божественное жилище было так далеко, что в его существование верилось с трудом. Кратер вулкана на самом дне мира, где на острове среди текущей лавы стояла кузница, был куда реальнее.

А потом богиня увидела хозяина. Он был страшен лицом, уродлив и огромен, но в это же время его бугрящиеся, налитые свинцом мышцы, крепкая шея, сильные руки и суровое, резкое лицо – все его черты хранили на себе печать ужасающей, смущающей душу красоты. И вдруг Ника узнала темные кудри. Она видела их раньше, у царевича Париса был точно такой же локон надо лбом. И ступни ног – точь-в-точь у Девкалиона, смертного, спасенного ею из тонущей Атлантиды – с торчащими мизинцами. Чудится ли ей это? Нет, она уверена, кузнец одновременно и знаком, и незнаком. Как будто все это лишь снится и кузнец не тот, кем чудится. Он не смертный и не титан, запертый после войны в начале времен здесь, под земной корой. Божественную сущность не скрыть под недолговечным обликом человека-кузнеца, она просвечивает сквозь тонкие покровы и сосуды, она готова переломить каждую косточку хрупкого скелета и явить себя. Но пока медлит, сдерживая нетерпение.

– Кто ты, кузнец?

Мужчина не обращал на нее никакого внимания и, кажется, даже не заметил ее присутствия. Он был поглощен работой, его губы сжались, лицо сосредоточено и хмуро, а глаза, особенно светлые и водянистые от контраста с опаленной кузнечным жаром кожей, внимательно глядели за тем, чтобы все шло как полагается.

Он отливал пластины из расплавленного серебра. Часть их уже была готова и даже вынута из форм, и Ника приблизилась, стараясь рассмотреть изображенные на них картины. Тонкая работа, равной которой нет и на Олимпе, поняла она сразу. На остывающем металле выступали

рельефы. Тут был Аполлон, заплетающий косы сестре, и встречающая Персефону у ворот царства мертвых Деметра в окружении цветущих деревьев, спор Афины и Посейдона за Аттику, пир перед Троянской войной. Ника подушечками пальцев водила по картинам, ощущая каждый изгиб вязи, каждую выпуклость и впадинку, такие же теплые, как человеческая плоть, словно само серебро трепетало скрытой в нем жизнью. Большая пластина представляла собой оттиск атлетичной фигуры, вписанной в замкнутый круг, как в клетку. Ряд табличек поменьше изображал танец, человечки застыли в разных позах, точно пришпиленные бабочки, и Ника с удивлением обнаружила в себе знание этого танца, как будто каждое его движение было рождено из нее самой. Из других барельефов выступали девушка с птицей на плече и одиноко покачивающаяся на волнах люлька с младенцем.

– Эй, кузнец, что это?

Он не отозвался и даже голову не повернул. Тогда богиня легко подошла ближе и тронула его за плечо. Кожа, туго натянутая на сустав и мышцы, была горячей и плотной, неуязвимой – о такую вполне может сломаться копье. И прикосновения Ники кузнец не почувствовал. Когда ему понадобился металлический штырь, он повернулся к богине и прошел сквозь нее, как через бесплотную дымку.

Ника не существовала в этом пространстве. Ее не должно было быть здесь. И все-таки она все видела.

В руках кузнеца позвякивали цепи с цельными звеньями, соединенными вместе древней магией. Это искусство утрачено на Олимпе, лишь титаны способны ковать такие нерушимые цепи – и хозяин этой кузницы. Он поднял цепь над головой, потряс ею, напрягая мускулы, и в его глазах сверкнуло мрачное торжество.

От очага полыхнуло жарким ветром, и Нику охватило тягостное предчувствие. Испуганно зашевелились за спиной белоснежные крылья, которым было не развернуться в кузнице – слишком тесно. Еще один порыв вдруг подхватил богиню и стал возносить, и быстрее, чем она успела что-нибудь сделать, ее ноги уже коснулись серых плит олимпийского пола.

Боги столпились на середине пиршественного зала и спорили, громко, как стая сорок. Ника, вся во власти дурных мыслей, которые так и не приняли внятную форму, пыталась протиснуться сквозь сомкнутые ряды.

– Дайте мне пройти! Гермес, отойди!

Но даже легконогий брат не слышал ее. Где она, если не здесь, почему ее тело не облечено в физическую оболочку, почему она лишь мыслящая

субстанция? Что происходит?

– Что здесь происходит? – В зал вошли Зевс и Гера. Рука в руке, царственная олимпийская чета. Боги расступились, почтительно пропуская их к средоточию всеобщего интереса, Ника успела проскользнуть следом, так никем и не замеченная. И замерла.

Перед ней стоял трон дивной красоты. Даже трон Громовержца на возвышении в другом конце зала уступал ему. Женственная легкость сочеталась в нем с торжественностью убранства, подлокотники и ножки были затканы сплошь каменной вышивкой из драгоценных минералов, и они вспыхивали холодными искорками в рассеянном свете. Но главное великолепие трона заключалось в высокой резной спинке. Ее верхний конусообразный край до мелочей повторял очертания Олимпа, его силуэт. Вся поверхность тронной спинки была покрыта серебряными пластинами со сценками из жизни богов и людей. Ника узнала их с первого взгляда и стала озираться по сторонам в поисках таинственного кузнеца. Среди олимпийцев его не было.

Серебряные картины обрамлял чеканный орнамент из вплетенных в лавровый бордюр театральных масок трагедии и комедии. Театр... Ника припоминала, что люди тешат себя этим развлечением, прикидываясь на время теми, кем не являются, да еще и разыгрывая сценки, без изменений, представление за представлением, точно зная, чем все закончится. Странное занятие, она никогда не понимала, в чем его притягательность. Но век сменялся веком, а театр не исчезал из людского бытия – значит, зачем-то он им сдался. Сейчас не было времени всерьез размышлять над курьезами человеческого характера – она одна могла предотвратить надвигающуюся катастрофу. Неужели никто из богов, кроме нее, не чувствует жара, исходящего от трона? Он идет густыми волнами, с каждой минутой все нестерпимее, словно в нем заключена вся ярость дремлющего вулкана, странным образом оказавшегося посреди прохладного тронного зала Олимпа, в царстве серых оттенков и стеклянных стен.

– Наконец-то на Олимпе есть вещь, достойная принадлежать Гере! – с легким поклоном произнес Аполлон, и Гера порозовела от удовольствия. Не было сомнения, кому именно предназначался этот подарок.

– Вся слава моей супруги словно заключена в этом троне, – Зевс приподнял руку Геры, стиснутую в его ладони. – Сядь на него, любимая, и весь мир склонится перед тобой, как уже склонялся не раз, и все не устанут восхвалять твое великодушие, твою красоту, твой ум. Имя твое будет греметь, люди будут говорить о тебе неумолчно. Ты как никто

заслуживаешь всех хвалебных песен и гимнов. Проведенные рядом с тобой годы убедили меня в том, что нет более достойной и прекрасной богини на свете, чем ты.

Гермес, пользуясь тем, что его никто не видит, скорчил скептическую гримаску и поискал глазами Нику, свою верную союзницу. Конечно, ему не терпелось с ней на пару посмеяться над выпененным слогом отца и его неприкрытой лестью. Гермес упирался глазами прямо в Нику, но не заметил бы, даже поводи она рукой перед его лицом.

– Кто же чудесный мастер? – поинтересовалась Гера. – Чье творение?

– Мы и сами хотели бы знать, – отозвалась Афродита стервозно: ей уже не терпелось хоть из-под земли достать чудо-кузнеца и потребовать браслетов, ожерелий и зеркал с золотой амальгамой, в которых снова и снова отражалась бы ее красота. – Это тайна.

– Люблю тайны, – усмехнулась Гера и величаво шагнула к трону, на ходу сдергивая с плеч темно-синий жакет.

– Нет-нет! – бросилась к ней Ника. Ее обуяли видения несказанных страданий, которые обрушатся, стоит Гере опуститься на трон. Ника попыталась схватить богиню за руку, но лишь тенью скользнула вдоль рукава ее бледной блузки. – Не садись!

Ее никто не слышал, никто не видел, все поддались предвкушению, голова каждого была затуманена тщеславием: их правительница сейчас сядет на трон, которого заслуживает, и слава Олимпа еще больше упрочится.

Руки Геры сжали полированные подлокотники, узкая юбка туго натянулась на полноватых коленях. Богиня опустилась на сиденье, прильнув к серебряной спинке трона. И Ника ужаснулась. В этот же миг из потайных отсеков с лязганьем вырвались цепи, опутали тело Геры и намертво сковали. Она встrepенулась и вдруг закричала. Впиваясь все глубже в кожу богини, звенья цепей шипели, как разбуженные змеи, и их цвет менялся, пока раскалялся металл. Запахло жженым волосом и обугленной плотью, и на нежных руках Геры стали вздуваться волдыри ожогов.

– Снимите, снимите это с меня! – кричала Гера, пытаясь вырваться. Зевс, Аполлон и Гермес подскочили к трону, но тут же отдернули руки, обжигаясь. Наконец-то жар, который Ника чувствовала издали, ощутили все остальные – и отшатнулись, отступили, сбившись в перепуганную стайку. Гера продолжала кричать и биться, и раскаленный трон под нею грозил превратиться в ее погребальный костер.

– Кто это сделал? – прогремел Зевс и обернулся к Гермесу. – Найди

мне его. Сейчас же!

– Я уже здесь!

Из-за колонны появилась огромная фигура. Человеческая оболочка слетела с кузнеца, как пыль, и Ника увидела, как верна была ее догадка: он один из богов. Чужой и непохожий. Сильно хромая, кузнец шел через зал, и его звучный голос перекрывал всеобщий ропот. И лишь Геката взирала на все происходящее безучастно, стоя в стороне.

– Узнаешь меня? – вопрос кузнеца был адресован только Гере, извивающейся под цепями. Ее крик сменился стонами и слезами. Цепи вокруг ее груди и талии уже раскалились добела, прожигая одежду и впиваясь в тело.

– Гефест? – всхлипнула она.

– Ты даже имя мое помнишь, я поражен.

Гефест прошел мимо остальных, продолжая говорить только с Герой. Он разительно отличался от белокожих лоценок олимпийцев, и не только внешне. В нем была мощь неукротенной стихии, подлинные чувства, такие сильные, что Ника усомнилась, испытывал ли кто-нибудь здесь подобное. И была боль.

– Ты назвала меня этим именем, прежде чем сбросить с Олимпа. Я оказался слишком уродлив для тебя, несравненная! Когда я родился, некрасивый и нежеланный, ты схватила меня за ноги, раскрутила и швырнула вниз. Я падал, ломая кости, пока не разверзлись океанские глубины и не поглотили меня, а ты забыла обо мне в тот же час. Ведь никакому уродству не позволено бросить тень на твое величие. Даже если это уродство – твой сын! Что ж, ты права. Тебе нет равных. И нет других, достойных сидеть на этом троне. О, я долго создавал его. Это самое главное из моих деяний. Ты так тщеславна, ты так хотела быть царицей и хозяйкой Олимпа, теперь у тебя есть даже трон. Наслаждайся своей славой, Гера. Пусть вся земля трубит о ней и о тебе!

Пока он говорил, рассерженные боги атаковали его со всех сторон. Зевс пускал молнии, Афина метнула копье, а Аполлон одну за другой выуживал стрелы из колчана. Но Гефест отмахивался от не знающих промаха стрел и сгребал молнии в горсть, а копье отскочило от его плеча, так и не пробив неуязвимую кожу.

– Вы что, думаете, меня можно этим взять? Вы, такие всеведущие боги! Приходило ли вам хоть раз в голову спросить, откуда берутся ваши чудесные стрелы, и копья, и мечи, и даже твои молнии, Зевс? Кто их кует? Нет, вы принимаете все как должное. Ваша нога никогда не ступала в огненные реки, окружающие мою кузню. Вы близоруки, глупы

и мелочны, как она. И лицемерны. Разве ты, Зевс, – он перехватил еще одну молнию и отбросил ее в сторону, – не знаешь, чем все кончится? Ведь тебе известен конец этой истории. Концы всех историй.

– Освободи ее! Я приму тебя здесь, – пообещал Зевс. – Я дам тебе в жены... Афродиту!

Гефест издевательски хохотнул, вытащил из толпы упирающуюся Афродиту. От его железной хватки богиня обмерла, как кролик, которого подняли за уши. Гефест бесстыдно оглядел ее со всех сторон, откинул с левого плеча завитые кудри и впился в тонкую шейку то ли поцелуем, то ли укусом, одновременно грубо хватая ручищами высокую грудь. Кое-кто из олимпийцев отвел глаза. Афродита вскрикнула, и Гефест тут же отшвырнул богиню в сторону, как использованную тряпку, так что она не удержалась на ногах. Кузнец ухмыльнулся, довольный собой и своим представлением.

Ника ломала руки, растоптанная собственной беспомощностью. Она, видевшая, как изготавливался трон, знала его секрет. Единственная из олимпийцев, она могла спасти Геру, прекратить все это, просто нащупав тайный механизм, спрятанный под серебряной пластинкой с распятым на колесе человеком. Но Ника была бесплотна и невесома и лишь обжигала руки в тщетных попытках отстранить Геру от раскаленной спинки трона. Она видела, как обожженная кожа прилипает к металлу и лоскутами отделяется от красной плоти. Гера кричала. Никто не мог помочь, но не оставляла надежды только Ника.

И тогда Гефест повернулся и взглянул прямо ей в глаза, единственный заметивший ее:

– Уйди. Ты ничего не можешь сделать. Это моя судьба, это ее судьба. Не твоя.

Она задыхалась в чаду и запахе обуглившегося мяса, идущем от проклятого трона. Жар застилал ей глаза.

Дышать было нечем. Ника проснулась в темноте, поднялась на постели и больно стукнулась лбом об откидную сетку, нависшую над верхней полкой. Все в купе крепко спали, тучный сосед храпел, выводя рулады. Из тамбура тянуло табачным дымом.

До самого рассвета Ника лежала, глядя на разматывающуюся за окном тесемку железнодорожной насыпи, и, отбросив в сторону худое казенное одеяло, пыталась вспомнить, что ей снилось. Мысль вилась и дразнилась совсем рядом, но каждый раз ускользала. От тщетных усилий у Ники разболелась голова. Ядовитая от предчувствий кровь гудела в венах.

Поезд прибыл в Москву только ранним вечером, в начале шестого. Перспектива дожидаться следующего утра, чтобы попасть в театр, показалась Нике до того невыносимой, что она поехала на работу, не заходя домой, убедиться, что без нее не случилось никаких происшествий – и что Липатова заочно не уволила ее в приступе гнева, обиды или бог знает чего еще.

Репетиция закончилась раньше обычного, и в театре остались лишь единицы. Лариса Юрьевна бросилась к Нике как к родной:

– Наконец-то! Заждалась тебя. Что творишь, а? – и вдруг порывисто обняла. Ника неловко похлопала ее по спине.

– Слушай, я без тебя как без рук. Премьера в четверг, мы совершенно не готовы! В туалете отвалился новый кафель, надо переделывать за завтра. Ребров напортачил с анонсом для «Вечерки», дважды переписывали. Еще тебе надо перезвонить в типографию, там новые расценки, на стол тебе положила. И, черт тебя возьми, натаскай Дашку вместо себя, что ли! Объясни ей, что да как. А то девка ты молодая, видная, как улизнешь от меня – что делать потом прикажешь одной? А так хоть Дашку оставишь вместо себя...

У Ники отлегло от сердца. Кажется, все в порядке. Она зашла в комнатку с кассой и кивнула Дашке:

– Привет.

Та встрепенулась и подскочила из-за стола.

– Сиди-сиди.

– Это твое место.

– Господи, да сиди, пожалуйста, – засмеялась Ника легко. Дашка опустила в кресло и продолжила рукодельничать, поглядывая на Нику, пока та делала звонки. В типографии никто не поднял трубку, рабочий день был окончен. Дашка увлеклась поделкой, от усердия вытягивая губы трубочкой и что-то пришептывая. Перед ней на темной столешнице лежала горстка разномастных пуговиц и моток лески.

– Что вяешь? – Ника отставила телефон на край тумбочки.

– Подарок Свете на день рождения. Смотрела на твой абажур, такой он классный... – Дашка подняла глаза к потолку, где покачивался пуговичный абажур, отбрасывая на стены дробные пятнистые тени. – И решила смастерить что-то похожее. Тоже из пуговиц, только шкатулку. Будет напоминать о тебе... ну, если ты вдруг уйдешь.

– Пока не собиралась, – странно, уже второй человек говорит о ее уходе. Видимо, и правда перепугались.

– Как знать, – Дашка озабоченно пожала плечами и подцепила еще

одну пуговицу, затянула леску. – А я вчера пекла блины, представляешь? Сама! И даже почти получилось...

Она сказала это будто между делом, но Ника поняла, что девочка гордится собой.

– Какая ты молодец. Первый раз делала?

– Да. Раньше всегда было не до того... Я подумала, если уж Света из своего кармана платит мне зарплату, надо чем-то это оправдывать, – и добавила, заметив, как напряглись Никины плечи: – Да ладно, неужели ты думаешь, я поверила в зарплату в конверте? Я не дура.

– Нет, конечно, не дура, просто...

Дашка вздохнула и серьезно потерла наморщенный лоб.

– Знаешь, что? Я сперва хотела послать ее, думала, что это как проституция. Она мне платит, чтобы я... что? Жила с ней? Но я ведь и так живу. Мне с ней хорошо, вообще-то. И она ведь только на вид такая строгая и красивая, как учительница, а на самом деле ей нужна моя помощь. Она добрая и все время лезет обниматься, хоть я этого и не понимаю. Она такая потерянная, как зверушка какая-то. Я вчера напекла блинов, а она так обрадовалась... – Дашка улыбнулась от воспоминаний. – Ну и что, что она мне платит. Дурацкая затея, конечно, но я потом все ей отдам. Точно отдам, ты не думай! Ты только Свете не говори, что я знаю, а то она расстроится. Просто... Она так радуется, когда мы что-нибудь делаем вместе. А вот мамке моей все по барабану. А, да что с нее взять, с мамки! Я ведь для нее «Даша-параша»...

Только теперь Ника узнала, почему девочка требует называть ее Дашкой... Чтобы не рифмоваться. Она помрачнела и принялась покусывать щеку изнутри. Потом мотнула головой и сменила тему:

– Угадай, кто выходит замуж!

– Кто? У нас в театре? – Ника насторожилась. – Афроди... То есть... Римма?

– Неа.

Глаза Дашки загорелись оживлением, и она даже не заметила, как Ника скрестила на груди руки, стремясь унять дрожь.

– Репетиция заканчивалась. И тут вдруг Трифонов, такой: «Минутку внимания!» – Дашке удалось на удивление метко схватить интонацию Дани. – «При всем честном народе... Ольга Владимировна Сафина, выходи за меня замуж. Seriously!» Все просто обалдели. А Сафина постояла, посмотрела и говорит, знаешь, что? «А давай!» Вот прямо так и заявила «А давай!». И все, теперь они жених и невеста. И еще у них, кажется, скоро будет маленький...

Ника поняла, что улыбается во весь рот. Надо же, люди еще не разучились избегать ошибок... Непрístupная Леля все-таки покорила рыжему прохвосту Дане. И пока девушка в полной мере осознавала новость, Дашка продолжила, завязав очередной узелок:

– А Корсакову бросил Мечников.

– Что?!

Скрыть потрясение не удалось. Дашка многозначительно кивнула:

– Ну да. Как ты уехала, сразу же. На следующий день. Пришли врозь, и с тех пор все.

– Может, просто поссорились? – слабо пробормотала Ника. Как же так, ведь Кирилл обещал оберегать Римму. Он так волновался за свою девушку, за ее срыв...

– А тебе бы хотелось, чтобы они просто поссорились? – хмыкнула Дашка.

– Что? Нет, я... Мне-то какая разница...

– Дело верняк. Расстались. Она сперва держалась, хотя и было видно, что у них «любовь прошла, завяли помидоры». Но когда оказалось, что Трифонов с Сафиной скоро поженятся, тут-то ее и пробрало. Второй день ревет уже.

– И... тебе ничуть ее не жалко? – попробовала Ника воззвать к совести, неясно только чьей, Дашкиной или своей собственной, потому что внутри стремительно проклевывалось и распускалось что-то нежно-зеленое.

– Из-за чего мне ее жалеть? Она думает, это тяжело – расстаться с парнем? Вот когда твой родной отец лезет тебе в трусы и ты сваливаешь из дома – это тяжело.

Она сказала это так просто. Со знанием дела, как отхватила ножом кусок масла. И, не говоря больше ни слова, Дашка кивнула через стекло радостно манившей ей к выходу Зиминной, сунула пуговичную шкатулку в стол и выскочила, не прощаясь. Ника смотрела, как Светлана приобнимает девочку за плечи, и постепенно до нее доходил смысл сказанного. Дашка права, рядом с этим многое меркнет.

По дороге домой Ника пыталась все-таки вытравить из себя смутную радость, разобраться в чувствах, да только ничего не выходило. Потому что с каждым утренним птичьим криком она посылала – ему – «доброе утро» через крыши домов, облитых глазурью рассвета. Потому что в каждой чужой надписи на асфальте или стене дома, мелом или краской из баллончика, с одним и тем же посланием, что понятно на всех языках,

ей чудился другой, вполне знакомый не то отправитель, не то адресат. Потому что она любит Кирилла Мечникова и не хочет отказываться от этой любви. Даже если это неприлично.

Огонек мигал, настойчиво – невозможно не заметить. Она увидела прямо от порога. Автоответчик. Сумка соскользнула у Ники с плеча, и девушка прямо в обуви пробежала до тумбочки и нажала кнопку. Механический голос сообщил номер телефона, день недели и время, когда была сделана запись. Но после сигнала из динамиков зашуршало молчание.

Она сразу узнала его. Это молчание было полно его непрозвучавшим голосом. Ника прослушала несколько раз, пролистала список вызовов. Каждый вечер с момента ее отъезда было по звонку с одного и того же номера. Конечно, Кирилл, больше некому. Ника хотела бы перезвонить ему. Всего семь цифр отделяют ее от любимого голоса. Почему он звонил? Ему было больно от расставания с Риммой, он хотел пожаловаться ей, использовать в качестве жилетки? Нике не надо было слышать это, чтобы представить, как тяжело станет ей, когда эти слова прозвучат вслух. Неужели он так ее унизит? Ведь это будет означать, что он никогда не допускал и мысли, что у Ники с ним что-то может быть. И – исправила она себя – не у Ники, а у Вики. Именно под этим именем он помнит свою телефонную приятельницу, в квартиру которой дозвонился однажды по ошибке. Ошибка – вот кто она такая для Кирилла, просто случайное стечение обстоятельств.

Всего семь цифр. Они висели в воздухе, превращаясь в вопросительные знаки. Ника не сводила глаз с телефона, на котором уже потух никому не нужный красный огонек. Она прикрыла глаза и по памяти воссоздала телефонный аппарат, цвет, размер, очертания кнопок, форму трубки. Потом открыла глаза – и нарисованный образ лег в реальность, один в один. Тогда Ника снова закрыла глаза и повторила игру. Это было своего рода медитацией, чтобы не думать, не умолять телефон зазвонить – чтобы избавить саму Нику от необходимости решать, нажать ли семь кнопок в правильной последовательности или же отойти от тумбочки, разобрать сумку, приготовить ужин и вспомнить, что теперь представляет из себя ее жизнь. Без оглядок на прошлое.

Когда телефон все-таки зазвонил в половине второго ночи, Ника не особенно удивилась. И в то же время – не успела приготовиться. Она была потрясена, она была счастлива, она испугалась до чертиков. Вся гамма чувств взорвалась в ней этой трелью в тихой квартире. И Ника схватила трубку прежде, чем звонок успел раздаться во второй раз.

– Да?

– Ника.... – прорыдала в трубку Римма Корсакова.

– Римма? Привет, – от сухости язык едва ворочался во рту.

– Ника, ну почему все так, скажи, почему? Меня что, вообще никто не любит? Что же это за человек-то я такой... Я неудачница, да? Скажи мне, что я неудачница...

– Подожди-подожди, – Ника попыталась прервать поток слов, но это было бесполезно. С таким же успехом Римма могла выговариваться кусту акации.

– Он оправдывается, что ничего мне не обещал. Он и правда ничего не обещал, он не говорил мне, что любит. Но ведь иначе – зачем он был моим парнем? Я думала, он любит, я думала, что... я не знаю. Ведь мы даже не ссорились, он только молчал последние дни. Он что, разлюбил меня, вот так, просто, взял и разлюбил? И Лариса тоже! Я не знаю, как мне жить теперь! Лариса... Она всегда убеждала меня, что любит, что я ей как дочь и она готова помочь, что бы ни случилось. А теперь вот – случилось! Черт, как же так? И я ей звоню каждый вечер, по нескольку раз, а слышу одно и то же. Она все твердит, что... что я должна взять себя в руки, понимаешь?..

Не такой уж плохой совет. Римме действительно пора взять себя в руки, пока ее нервы не сдали окончательно. Увещевания на нее не действуют. Может, Липатова права, со всей своей жесткостью. Может, так и надо, резко велеть Римме успокоиться, и это выбьет актрису из накатанной колеи безысходности, в которой она пребывает весь последний месяц...

– А еще мои родители. Отчим объявил, что они не приедут на премьеру. Им безразлично, что этот спектакль другой! Что он все изменит. Они просто не верят... Видите ли, премьер у меня было уже много, и будет еще много, и что у нас крохотный театрик, где выше головы не прыгнешь. И они не хотят тащиться из другого города, у них там рассаду надо высаживать в грунт! А как же я... Они разочаровались во мне, я ведь не стала знаменитой... А мама всегда говорила, что я должна быть первым сортом, чтобы не стать вторым. Так вот кто я. Второй сорт. А у них рассада...

Ника все же не смогла найти в себе липатовской резкости. Ей было жалко Римму. Та слишком полагалась на мнение окружающих, чтобы отыскать силы в себе самой. Даже этот ее звонок не что иное, как поиски помощи вовне, от безуспешных попыток нащупать источник внутри себя. И вот уже Ника молча возмущается безалаберностью Кирилла. Пеняет ему за невоздержанность. Не выстоял... Как он мог оставить девушку в тот

момент, когда ей больше всего нужна чья-то поддержка? Он провел с ней несколько месяцев и должен был понять, что Римма – как роза, прихваченная заморозками. Еще один ее доконает. А Кирилл сделал ей больно, в то время как пообещал – и самой Нике, и Липатовой, – что успокоит Корсакову хотя бы до премьеры. Она ведь и так сходит с ума в отсутствие спектаклей. Без работы, без обожания зрителей и аплодисментов она чахнет и теряет рассудок скорее, чем любой другой артист их театра. Она уже балансирует на грани. А кроме этого, где-то поблизости затаился враг, который делает все, чтобы ускорить ее болезнь.

Римму невозможно было утешить, Ника пыталась вставить хоть слово в поток ее жалоб и стенаний, но не преуспела в этом, пока на том конце провода не иссякли силы и слезы. Вздохнув так, будто на ее груди лежала бетонная чушка, Римма пробормотала слова прощания и отключилась. В ушах Ники гудело, будто этот час она слушала набатный бой прямо под колокольной.

Когда телефон ожил снова, Ника поняла, что Римма намерена терзать себя дальше, призвав ее в свидетельницы.

– Подожди, не плачь сразу! – попыталась девушка отрезвить ее.

– Я не плачу. Я скучаю по тебе, – негромко отозвался Кирилл.

Он был так безнадежно далек, словно говорил с другой планеты.

– Кажется, ты беседовала с кем-то еще.

– Да, это звонила... – Ника прикусила язык, прежде чем успела проболтаться. – Подруга.

«Та самая, которую ты бросил, когда ей больше всего нужно было человеческое участие, – хотела добавить она. – Как ты можешь поступать так жестоко?» Ее существо словно раскололось на две части, одна Ника страстно желала бежать навстречу свободному Кириллу, прокачивая по венам любовную анестезию, но вторая не могла примириться с его необъяснимым поступком. Немыслимо, что влюбленная в Кирилла Ника хотела отчитать его за расставание с Риммой, – но она с удивлением поняла, что так оно и есть. На сегодняшний вечер, по крайней мере.

– Ясно...

Она боялась, что Кирилл сейчас начнет спрашивать, как дела, что она делала все это время, – и тогда ей придется если не врать, то хотя бы юлить, обдумывая каждую фразу.

– Я звонил тебе несколько последних дней... Ты не отвечала.

– Да, я была у родителей.

– А, вот оно что. Ладно, неважно. Я помню, что в прошлый раз мы вроде как попрощались, хотя я и не понял почему...

«Ты стал встречаться с Риммой – вот почему. А теперь бросил ее, и что – я запасной аэродром?» Ника молчала.

– Прости, я не отвлеку тебя надолго, у тебя, наверное, куча дел. Просто... мне вдруг захотелось тебя услышать. И – нет, это неправда. То есть мне, конечно, хотелось услышать твой голос, но больше этого мне хотелось бы задать тебе один вопрос. Он важный.

– Я слушаю.

Она вслушивалась так тщательно, что смогла разобрать, как о стенки бокала, позвякивая, бьются кусочки льда. И услышала, как Кирилл делает глоток.

– Скажи. Если кто-то берет на себя обязательства, зная, что не сможет выполнить, – и не выполняет их. Что это?

– Предательство. Не надо было и братья, если заранее знал, как все случится.

Как давно Кирилл обвинял Липатову в предательстве по отношению к Римме? И вот теперь он на месте худрука, а Ника обвинитель. Но, к ее удивлению, Кирилл согласился:

– Правильно. И предатель заслуживает наказания?

– Наказание – слишком серьезное слово...

– Предательство тоже.

– Да-да, – она озадаченно потерла лицо свободной рукой. – В любом случае, он, то есть этот человек, должен понести ответственность. За все свои поступки надо быть готовым ответить, разве нет?

– Это ты мне скажи... – мягко усмехнулся Кирилл.

– Не буду цитировать фразу Экзюпери, все ее знают, но никто не размышляет всерьез. А ведь он был прав.

– Да, был.

Господи, что она делает? Советует ему вернуться к Римме, что же еще! Ох, только не это. Ника зажмурилась, чувствуя, как ко взмокшему виску липнет пластмасса телефонной трубки. И снова сказала не то, чего бы желала:

– Ты сам знаешь. То, как должен поступить. Каждый человек в глубине души носит это знание, о правильных поступках. Надо только иметь смелость признаться себе в этом. Как бы ни было неприятно. Или даже... больно.

Она все-таки это сделала. С детства верила, что нельзя отбивать чужих парней и заглядываться на чужих мужей, и вот, пожалуйста, – сказала *правильные* слова. Только почему так больно внутри?

И поскольку Кирилл ничего не возразил, она почувствовала, что скоро

сломается.

– Прости, я сегодня никудышная подруга. Устала.

– Ты всегда замечательная подруга. Я завидую тому человеку, который будет рядом с тобой.

«Это мог бы быть ты. Но не будешь...» – Вот оно, прощание. Кирилл прощается с ней, сам того не подозревая, – и она это знает.

– Извини за поздний звонок. Ложись спать, я тебя больше не потревожу.

«Нет, тревожь! Не уходи, поговори еще немного», – хотела взмолиться она. Но сглотнула слезы упрямо:

– Да, пора спать. У меня сейчас сложный период, насыщенный. Да и у тебя тоже, – и добавила поспешно, – наверное.

Кирилл утаил невеселый смешок:

– О, ты не представляешь насколько! Но спасибо тебе за то, что развеяла все сомнения. Я всегда знал, что должен делать. В конце концов, это ведь моя мечта.

Ника запоздало нахмурилась. «Какая мечта? Римма? Ты едва ее знаешь!» Но не успела уже переспросить.

– Спокойной ночи, Ника.

– Спокойной ночи, Кирилл.

Потом она все же всплакнула. Обещая себе, что в последний раз плачет из-за Кирилла Мечникова. Хорошего актера, умного человека и любимого мужчины. Замечательная подруга – вот как он ее назвал. А она в ответ фактически посоветовала ему вернуться к Римме, хотя никто не упоминал об этом прямо.

Она уже ненавидела себя за то, что расстреляла собственную надежду. Во имя чего? Разве не подлость уговорить Кирилла вернуться к Римме, если он не чувствует к ней любви? Ради спектакля, ради того, чтобы Римма хорошо сыграла свою роль? Чтобы премьера прошла гладко? Такие мелочи! Ника окончательно запуталась. Хотя, наверное, она уже примерно представляла, как все будет происходить дальше. Кирилл вернется к Римме, та его простит и на волне воодушевления сыграет Елену Троянскую, стремясь заново соблазнить его, а вместе с ним и каждого зрителя. Спектакль пройдет на ура, а с той рекламой, теми усилиями, что были затрачены на его продвижение, еще и прозвучит довольно заметно. Римма расцветет и забудет недавние горести, возвращаясь к статусу примы, Кирилл вспомнит, каково это – смотреть на нее глазами ошалелой влюбленности. В конце концов, кто, как не Римма, ее жгучая южная красота и кочевая кровь, умеет вызывать восхищение! Она ведь почти

богиня. А Ника – всего лишь Ника. Вот и Кирилл...

И тут она похолодела. Кирилл назвал ее по имени или ей это только почудилось? Прощаясь, что именно он произнес? «Спокойной ночи, Ника» – или все-таки Вика?

Она уже знала правду, но боялась поверить. Он назвал ее Никой, а значит, он прекрасно осведомлен, что его давняя телефонная собеседница и та девушка, что служит в театре бок о бок с ним, ставит танцы и сидит в кассе, – один и тот же человек. Но он не признался, ничем этого не выдал. Кроме последнего обращения.

И именно в эту минуту, сжимая руками чашку давно остывшего горького чая, Ника внезапно вспомнила то, что давно не давало покоя, волнуя неясными образами и обрывками ускользающих сновидений. Что она была олимпийской богиней. И все остальное.

К утру кровать так и осталась неразобранной, а вопросов по-прежнему было больше, чем ответов. Но еще были подозрения, и это оказалось во сто крат хуже. Они вели ее по сумеречному морю ощущений, подкрепляемые образами из сновидений, которые теперь потянулись один за другим, как нанизанные на нитку бусины. Она не могла точно сказать, что снилось раньше, а что позже, прорвало ли трубы в театре накануне сна о потопе в Атлантиде или сон был вещим. Но она знала, что и явь, и сны – всего лишь лоскутки, которые сшивает происходящая с ней история. И эта история ей важнее, чем все, что когда-либо случалось в ее жизни. Только бы внимательнее взглядеться, ничего не упустить, не забыть, только бы не выскользнули из ее головы эти перепутанные ленты.

Ника лихорадочно вспоминала все, узнанное о Кирилле за время их знакомства. Он – брошенный матерью ребенок, выросший в детдоме. Долгие годы мечта о том, чтобы найти мать, была его путеводной звездой. И он нашел ее – он сам так сказал. Но мать отвергла его, не захотела даже увидеться. И что же, он отступился? В самом первом телефонном разговоре с ним Ника услышала, что его мечта близка к осуществлению. И когда увидела его в театре, то подумала, что это и есть мечта – играть на сцене. И, видит бог, он действительно был хорошим актером. Но так ли сильно он этого хотел? Ведь теперь, по прошествии стольких дней, он все еще говорит, что мечта маячит впереди. Что же это за неудержимое желание? Явно не примирение с Риммой.

Кирилл появился в театре сразу после увольнения Валеры Зуева и слишком естественным образом занял его место. Нике вспомнилось странное утверждение Стародумова, которое в тот вечер, когда

подвыпивший актер разоткровенничался, показалось ей сущей бессмыслицей. Будто бы именно Мечников посоветовал Валеру на роль в сериале. Но так ли бессмысленно это было? Что, если Кирилл изначально знал, что в труппу его не примут, пока не освободится место? Что, если он специально подстроил увольнение Зуева?

Ника боялась своих мыслей. Слишком уж это напоминало паранойю. Может быть, ей это только кажется и все подозрения – не больше чем бред ее разбушевавшегося воображения, подстегнутого недавними переживаниями из собственного прошлого... Но остановить поток умозаключений она была не в силах. И снова и снова перед ее взором вставала испуганная, заплаканная Римма Корсакова, которую изводил невидимый враг. Невидимый. «Пожалуйста, пусть он останется невидимым», – молила девушка, но его лицо вырисовывалось все отчетливее.

Она постаралась вспомнить, с чего началась мистическая история Римминого помешательства. С легенды про мертвую пионерку? Раньше? Откуда вообще взялась эта легенда?

Ника раскрыла ноутбук и, путаясь в буквах английской и русской раскладки клавиатур, набрала в адресной строке путь к сайту театра. Она бывала здесь только по работе, публикуя официальные объявления вместо Реброва или самой Липатовой, и никогда не заглядывала на форум. Она и так знала, что там нет ничего, кроме отзывов зрителей, весьма субъективных и оттого раздражающих. Однако сейчас это оказалось неважным. Ника открывала страницу за страницей, пока не набрела на февральское обсуждение. Вот они, сообщения о пионерке Нине.

12.02. «Бедная девочка. Она же не знала, что все так получится. А представьте, что бы было, если бы она понимала, что натворила...»

11.02. «Могу понять ее сестру! Из-за этой честной пионерки Нины они обе остались без родителей».

11.02. «Какой ужас. Неужели правда? Или просто одна из баек?»

10.02. «А еще нашел историю, которая произошла во Дворце Культуры, где теперь театр. Дело было в 1938, во времена репрессий, если кто не помнит. Одна девочка по имени Нина...»

Ника несколько раз перечитала изложение легенды. Там не было ничего нового, в свое время Паша Кифаренко поведал ее в буфете почти слово в слово – сказала актерская привычка запоминать текст с первого раза. Повинуясь безотчетному порыву, Ника отмотала ленту беседы еще дальше в прошлое, на несколько дней. И наткнулась на ссылку, отправлявшую всех любопытствующих к большому архиву примет

и суеверий, где отдельным параграфом шли актерские приметы. Здесь были те, которых артисты всех театров придерживались неукоснительно, вроде страха перед упавшим на пол текстом роли и совсем незнакомые, редкие, порой даже курьезные. Вот только Нике было не до смеха. Она читала один комментарий за другим, узнавая под витиеватыми вымышленными именами и Милу Кифаренко, и Даню Трифонова, и даже Липатову, велевшую остальным не впадать в маразм, пока не наткнулась на сообщение о том, что театр «На бульваре» стоит на месте снесенной церкви и кладбища. Это была неправда, подтвержденная позже в библиотеке самой Липатовой, когда та желала успокоить легковерную Корсакову. И тогда Ника наконец обратила внимание на автора. Источником двух жутковатых фактов о театре и ссылки на архив примет был один и тот же человек. Его звали Lame, в переводе с английского – «хромой».

Ника боялась поверить ощущениям, потому что не могла доказать логически ни одну из своих догадок. Но теперь было это имя. И она ясно видела трон, серебряную машину для пыток. Геру, верховную богиню, корчащуюся на нем от боли. Клочок сна, рожденное подсознанием видение – можно ли ему доверять? Явь мешалась с навью, плавилась в котле ее головы. Кто плавит металлы в темном жаре небытия? Кузнец – вот кто. Хромой кузнец.

Среди всех знакомых Ники был лишь один, кого можно было бы назвать хромым. Тот, кто ходит вразвалочку, походкой моряка, глотает аналгин после репетиций и растирает больные суставы камфарой. Он ли этот невидимый недоброжелатель?

«Больно уж он хорош, этот наш мальчик-с-секретом...» – зазвучал в Никиной голове голос Лизаветы Александровны Рокотской. «Мы на уроках труда перебирали старые радиолы», – сообщил голос Кирилла. «У меня есть одна коллега, она верит во все гороскопы и приметы в мире, наверное», – засмеялась когда-то сама Ника. Это был ее второй или третий разговор с Кириллом в ночи. Неужели все обман? С самого первого телефонного звонка? Кирилл не ошибался номером, и не было никакого друга, с которым он желал пообщаться. Была только Ника. И зачем-то Кирилл попытался узнать о жизни театра «На бульваре» то, чего не пишут на сайте или в программках, прежде чем устроиться туда служить. А сама Ника всегда являлась только средством достижения цели. Какой – она пока так и не разобралась.

Похоже на то. И все-таки она не могла поверить. Где-то в логические цепочки закрадывались пробелы, ошибки, нестыковки. Она не могла понять, что именно не так, но цельной картины не складывалось. Кирилл

появился в театре «На бульваре» не ради Риммы Корсаковой, не ради Ники, не ради сцены. Тем не менее он лучше остальных знал, как неуравновешенна Римма, как верит она в любую мистику. Ему ничего не стоило подменить за кулисой искусственный цветок на живую гвоздику, настроить радио на передачу добытой заранее «Пионерской зорьки», снять дубликат ключей от гримерки, чтобы запереть актрису на ночь, подбросить в фойе пионерский галстук, предполагая, что девушку, любящую все яркое, привлечет лоскут кумачовой ткани. Улики косвенны? По-хорошему не тянет даже на них. Но больше у Ники ничего нет, одни предчувствия. И сны...

Ближе к рассвету она позволила себе вспомнить сны во всей их полноте, со всеми подробностями. До этого момента она нарочно тормозила воображение, не давая небылицам втискиваться в ее размышления. Но без этих кусочков картина была неполной, как выщербленная мозаика. И тогда Ника сдалась, подчинилась и открыла заслонку, сотрясаемую с одной стороны фактами, а с другой сновидениями. И они мгновенно слились воедино, как молекулы водорода соединяются с кислородом, чтобы стать водой.

У Геры родился Кирилл.

Гефест стал сыном Липатовой.

История уже случилась однажды, и она повторяется. Мать оставила своего ребенка. И он хочет отомстить. И он мстит – уже.

Не имея никакого подтверждения, Ника знала, что нащупала правду. Только Римма Корсакова по-прежнему оставалась здесь лишним звеном.

Бессонная ночь давала о себе знать, в голове все смешалось. В театре Нику как магнитом тянуло к Кириллу, ей хотелось верить, что вблизи она наконец рассмотрит его настоящего, поймет по его жестам и взгляду, кто таится за этой бесстрастной оболочкой. Но Кирилл, словно чувствуя исходящую от нее новую силу, весь день держался вдалеке. Словно не замечая ее и ни единым словом не выдавая себя, он стремился покинуть зал, или буфет, или гримерку, стоило Нике оказаться там одновременно с ним. Возможно, все дело было в том, что за девушкой по пятам следовала Римма, то и дело закапывая глазные капли и прикладывая к покрасневшим векам платочек. Она выглядела притихшей и грустной, но вполне в своем уме, и Ника надеялась, что так оно и останется до послезавтрашней премьеры и завтрашнего генерального прогона.

Сама Ника сбилась с ног, выполняя поручения Липатовой и украдкой во все глаза рассматривала лицо своей начальницы, стремясь разобрать в его чертах хоть одну схожую с чертами Кирилла. Мать и сын. Может

быть, вот этот изгиб бровей, или морщинка у губ, или мимолетная улыбка? Они же совершенно не похожи! Может быть, Ника ошибается? Какое бы это было облегчение.

– Что там с билетами? – Липатова заглянула в кассу, едва очередной зритель вышел за порог театра. Ника взглянула на схему зала, где синим были отмечены проданные места.

– Осталось двенадцать.

– Всего? Невероятно. Фантастика, – худрук вздохнула, боясь поверить своему счастью. – Неужели все получится?

Ника поостереглась бы строить планы. Она все еще не понимала, что творится в стенах театра. Но хотя бы знала источник той тьмы, что сгущалась с каждым часом.

Вечерело, когда Липатова застучала актеров спектакля в одной из гримерок за распитием вина.

– Вы что, с ума посходили? Завтра генпрогон! Никакого алкоголя.

– Да ладно вам, Лариса Юрьевна, бутылка на всех – это ж по наперсточку, по чуть-чуть, – бесхитростно отозвался Кирилл.

– После премьеры будет вам «по чуть-чуть». И даже помногу. А на сегодня закругляемся.

Ника отчаивалась. За это время она так и не смогла застать Кирилла в одиночестве. Ей хотелось вызвать его на разговор, но она не знала как. И вот сейчас он покинет театр, сядет в машину – и снова появится лишь завтра перед генеральной репетицией. Кажется, ничего страшного, но Нике почему-то казалось, что запущен часовой механизм, обратный отчет до взрыва, только вот таймера ей с ее положения не видно. В любом случае надо торопиться.

## Явление четырнадцатое

### Заявленное событие

Кирилл еще раз перечитал записку, которую нашел в собственном кармане, пока доставал ключи от машины. Всего два слова «Я знаю». Ни подписи, ни уточнений, да это и не требуется. Он сложил бумажку по сгибам вчетверо и, сунув ее обратно, выжидая застыл, откинувшись на капот своего автомобиля и опершись на него локтями.

Из-за куста чубушника, окутанного прозрачным зеленым тюлем полураспустившихся листочков, за ним наблюдала Ника. Все остальные давно разъехались, последними только что завернули за угол Зимина с Дашкой. Театр опустел и был заперт до следующего утра. Ника смотрела на Кирилла уже несколько минут и знала, что он чувствует на себе ее взгляд, – но голову в ее сторону он так и не повернул. Наоборот, замер, и его тело приняло красивые, выверенные очертания постановочного кадра. Конечно, он ведь актер. Было в этом человеке сейчас что-то от ягуара, та же расслабленная сила, та же затаенная угроза и снисходительность. Он просто ждал, когда глупая козочка соизволит подойти поближе.

Она и подошла, не говоря ни слова, крепко сцепив руки в замок, чтобы не дрожали пальцы. Кирилл не отреагировал и, не меняя положения, даже принялся тихонько насвистывать. Пауза затягивалась, Ника почувствовала головокружение и растерянность – и вот свист оборвался, а в нее внезапно впился немигающий взгляд. Закатное солнце било Кириллу прямо в лицо, но он даже не щурился. Его зрачки сузились до размера крупинки, и свет пронизывал эти льдистые глаза до доньшка, вытравливая бирюзу почти до белизны, отчего карее пятно в правой радужке выделялось еще резче. Ника смотрела в любимое, наизусть ей известное лицо и искала там приметы кого-то другого. Незнакомца или двойника. Но это по-прежнему был Кирилл – только пугающий и отстраненный. Может быть, настоящий?

– И что же ты знаешь? – спросил он негромко и спокойно.

– Все, – выдохнула она, хотя и знала, что преувеличивает. Кирилл – лучший игрок в покер, конечно, ее блеф не пройдет...

– Все? Сомневаюсь. Ника.... – Кирилл покачал головой в задумчивости. – Ника, Ника, Ника. Они все смотрят, а видишь только ты. Как так вышло?

– Может быть, я просто внимательная!

– А может быть, ты просто пристрастная? – отозвался он и мгновенно вогнал ее в краску. Пристрастная? Да, потому что влюбленная. Черт, не зря она медлила с этим разговором: всего пара реплик – а ей уже хочется провалиться сквозь землю...

Но Ника сжала кулаки и подняла подбородок повыше:

– Я знаю, что Липатова – твоя мать. И что из-за этого ты и устроился к нам в театр. И что именно ты изводишь Римму. Тебе этого мало?

Кирилл улыбнулся краешком рта и выпрямился, пружинно оттолкнувшись от капота. Ни взволнованности, ни удивления, ни смущения. Он обошел машину, так близко от Ники, что она уловила тепло его тела и бриз парфюма, и распахнул перед девушкой дверцу:

– Прокатимся?

Заведя двигатель, Кирилл выключил заговорившее с середины фразы радио и вырулил со двора. Он не торопился начать разговор, и Ника тоже помалкивала, затаив дыхание и разглядывая его профиль, будто выточенный на станке. Пожалуй, все-таки есть в нем что-то от липатовского...

– Да, она моя мать, – отозвался он, подслушав ее мысли. – Она выносила и родила меня, не знаю только от кого. Со Стародумовым она в то время еще не была знакома и замужем тоже не была ни за кем. А я... У меня оказались проблемы с ногами. Родовая травма. Если хочешь медицинских умничаний, то – врожденная дисплазия обоих тазобедренных суставов. А по-простому... врожденный вывих. Причем в тяжелой степени, запущенный. Обычно это можно лечить, в моем случае нужны были несколько операций, протезирование суставов, постоянный уход... Но, я так понимаю, ей это все было не нужно. Я оказался недостаточно хорош, чтобы быть ее сыном, и она меня стерла, удалила, в корзину отправила. Я несколько лет не ходил. Хотя... мне и ходить было особенно некуда, это же детдом. Жизнь в опрелостях – каково это, как думаешь? Пропитываясь запахом собственной мочи! Потом, правда, мне каким-то чудом сделали одну операцию, и я стал передвигаться сам, только немного помогал себе костылем. Тогда я и сдружился, сперва с Лехой, а потом с Окси...

В воображении Ники образ вихрастого темноволосого мальчугана с бирюзовыми глазами сменился кем-то вроде мальчика Жени из сказки про цветик-семицветик. Только вот Кириллу от волшебного цветка не досталось ни лепесточка.

– Да, я немного преувеличивал, рассказывая тебе, как мы веселились втроем, прыгая с гаражей и таскаясь по заброшенным стройкам. Потому

что чаще всего это они вдвоем куролесили. А я... я слишком медленно бегал.

Все как-то сжалось – время и пространство. Ника чувствовала то же слияние, единение, которое обрушивалось ватным покрывалом на них двоих и их телефонный разговор посреди ночи. Только сейчас едва начинался заход солнца, а Кирилл сидел так близко, что она видела синеву пробивающейся щетины на его щеках.

– На все остальные операции я заработал сам. Только время ушло, и теперь лечение требовалось куда сложнее и тяжелее, чем было бы в детстве. Но что уж... Я не жалуясь. Черт, конечно, не жалуясь! Да я благодарен ей, что могу не чувствовать себя обязанным хоть в чем-то! Она мне никто. Хуже, чем никто, потому что ее я ненавижу. Эта боль в суставах – я ее постоянно чувствую. Дни бывают хорошие и плохие, но правда в том, что она всегда со мной. Боль. И эта боль не дает мне забыть, кто я такой и, что еще важнее, кто моя мать. Она чудовище.

Он опустил стекло и поймал встречный ветер ладонью.

– Потом я ее нашел – это ты знаешь. Она ничуть не изменилась за эти годы, как выяснилось. Люди вообще не меняются, только маски передевают. Я ей был по-прежнему не нужен, да и совести у нее, видно, никогда не было. И я понял, что должен... Я пришел в театр.

– Валера Зуев – твоих рук дело? – впервые нарушила молчание Ника.

– Ты говоришь так, будто я злодей. Мне всего-то надо было, чтобы в труппе освободилось лакомое место, вот я и позвонил своему приятелю, директору по кастингу на одной студии. Парня взяли на роль, поправит свой семейный бюджет и потешит самолюбие заодно – что в этом плохого? Да и она осталась без любовника, что тоже не могло меня не радовать. Мне это Римма сообщила, я не подстраивал, само получилось... Я так надеялся, что она сразу все поймет про меня! Мои ноги и голос... Я ведь звонил ей незадолго до этого, она слышала меня по телефону! Ты вот сразу узнала меня по голосу, я видел, как изменилось твое лицо, стоило мне заговорить в тот первый день, помнишь?..

Конечно, помнит. Даже нарочно ей бы не удалось выгнать из памяти минуту, когда порог театра «На бульваре» переступил интересный мужчина с лицом Байрона и голосом ее ночного собеседника. Так вот, значит, какова была его цель. Вот почему его так завораживала пьеса Дюренматта, над которой они столько размышляли с Рокотской. Старая дама Клара наносит визит городу, который некогда чуть ее не уничтожил, и теперь она собирается мстить, уничтожая город в ответ...

Кирилл продолжал говорить, и его черты все больше оживали, мимика

становилась резкой, неудержимой:

– Тебе хватило двух моих слов, чтобы узнать меня! Но не ей... И ведь все до единого заметили, что с ногами что-то не так. Паше Кифаренко я сказал, что, когда занимался верховой ездой, со мной в седле упала лошадь, и повредились бедренные суставы... Я все ждал, что она, – Кирилл упорно не называл Липатову ни по имени, ни еще как-нибудь, – спохватится, заподозрит. Что-нибудь должно было шелохнуться в ее сердце, хоть какое-то подозрение... Она же мать, есть же у них хоть что-то человеческое! Но нет. Она близорука, как крот, и тщеславна, как павлиниха. Ко всему прочему тут же принялась меня окучивать! Как самка, для которой нет разницы между сыновьями и другими мужиками. Нет, зачем я обижаю самок? Животные своих детенышей по крайней мере выкармливают, они не бросают их в темном лесу! А ее интересует только ее долбаный театр. Как она ринулась его спасать. Самоотверженно! Отчаянно! Кредит в залог квартиры – я предложил, после того как прорвало трубы, а она схватилась за соломинку, даже не подумав, что под другим концом соломинки я уже держу зажженную спичку.

– Что ты собираешься делать? – спросила Ника с замиранием сердца. Она и не предполагала, какой размах приняла месть Кирилла. Но сейчас он может проговориться, его оборона минимальна – и Ника обязана докопаться до правды.

– Я? Я собираюсь ее уничтожить. Растоптать. Убить, если хочешь, – морально. Премьера обернется полным крахом. И это станет фатально и для театра, и для нее самой.

– С чего ты взял, что спектакль плох?!

– О, Ника, – Кирилл перевел взгляд со светофора на нее, и в груди у девушки тут же свился тугой комок. – Спектакль хорош. По правде сказать, очень. И тут постарались все, настоящая идиллия. Такое единодушие. Даже ты вылезла из своей скорлупки, чтобы помочь... Но он провалится, потому что я так решил. И пока мы с тобой едем, в театре уже идет работа над этим. Там сейчас никого нет, но кое-что все равно происходит, я об этом уже позаботился... Кое-кто делает свою работу, а время идет. Тик-так, тик-так...

Никогда до этой минуты Ника не видела его таким одухотворенным. Почти счастливым. И ей сделалось страшно.

– О боже... Так вот для чего тебе нужна Римма? Ты хочешь, чтобы спектакль испортила она, не ты? Ее нечем заменить, и ты доведешь ее до срыва... Так вот зачем эти легенды, этот суеверный бред?

Кирилл весело улыбнулся:

– Неплохо, да? Метить чуть в сторону, чтобы попасть в яблочко. Самый проверенный способ. Римма изначально оказалась слабым звеном. И ведь как удачно вышло! Липатова любит ее, потому и не убрала с роли сразу, когда возникли первые опасения. Все сомневалась. И позволила себя уговорить. А теперь уже слишком поздно. Психика у Римки неустойчивая, ты и сама знаешь... Сказать серьезно, для режиссера, для руководителя театра, для хозяйки, в конце концов, она слишком быстро отчаивается. Мне стоило больших усилий заставить ее поверить. Но уж если она почувствует надежду, то тут же воспрянет духом и буквально землю рыть начинает. Я дал ей надежду, самую сильную за всю ее жизнь. Дал в ту минуту, когда казалось, что все пошло прахом, и это тоже самый правильный момент. Потому что самая сумасшедшая надежда возникает именно в такие вот моменты отчаяния... И теперь я отберу эту надежду навсегда.

Ника в смятении вцепилась в ручку двери. Слушать было невыносимо, и она не могла поверить, что именно Кирилл произносит все эти признания.

– Не бойся за нее, позориться придется недолго, – усмехнулся Кирилл. – Не будет громогласного провала, не будет краха с треском – здесь же не «Ленком», как уже было подмечено некогда. Не будет вообще ничего. Римма заперет спектакль, потому что не умеет держать себя в руках, когда что-то идет не так. Премьера соскользнет в помойку тихо и мирно, а наутро никто не прочтает о ней в газетах и журналах, я об этом позабочусь. Никаких рецензий – ничего. Убытки будут огромны. Липатову ждет забвение. Бесславное прозябание. Это плата за тщеславие. Мои спонсоры отзовут деньги, она влезет в еще большие долги, не сможет выплатить кредит, потеряет отданную в залог квартиру и останется на улице, а с урезанным муниципальным финансированием театр протянет еще максимум месяца два. И все. Она даже не поймет, что и где пошло не так. Кто именно выстрелил в нее в упор...

Ника представила Липатову, ее тяжелый стремительный шаг, ее усталое лицо. В последнее время она вся горела изнутри, Кирилл прав, она превратилась в аллегория самого понятия надежды. Это чувство в ней выросло настолько, что стало похоже на ярость, на одержимость. Куда делась недоверчивость? Неуверенность в собственных силах? Ника знала куда – ее забрал у Липатовой сам Кирилл. Только ему было под силу вселить уверенность в ее сомневающееся сердце. Только он каким-то необъяснимым способом умел достучаться до нее, убедить в чем угодно, попросить о чем угодно. Он привел ее в чувство, когда ее любимое детище

тонуло в остывающем кипятке из ржавых труб. Он нашел выход из стольких ситуаций, казавшихся ей неразрешимыми. Но это были не выходы, а обрывы. Она так надеется, так уповает... Вся липатовская жизнь сузилась до размеров премьерной афиши, за которой скрывается дверь в новую жизнь, о которой женщина всегда грезила – больше чем о семье, детях, деньгах... И Кирилл, всегда так умело и искренне подливавший масла в огонь ее тщеславия, хочет все разрушить. Собственно, он единственный, кому это по силам.

– Ее жизнь будет кончена, – прошептала Ника в ужасе.

– Будет. Я окончу ее. Я заберу ее дом, ее мечты и ее жизнь. Как она забрала все это у меня. Око за око. Я ненавижу ее. Я с самого детства хотел быть актером, хотя все надо мной смеялись. Ты вот много знаешь актеров с детдомовским детством? Инвалидов? А я хотел. Но мои ноги... Хотя я все равно работал в театре. Светиком, реквизитором. И дублировал фильмы – с голосом-то мне повезло. Если бы она меня не бросила, если бы сделала операцию, лечила – я бы играл на сцене.

– Но ты играешь на сцене!

– Играю. Благодаря себе. Только себе. И только теперь. У меня ведь нет актерского образования, диплом – липа, чтобы устроиться к ней в театр. Иногда я думаю, что, будь она рядом, все было бы легче и проще. А иногда я думаю: а хотел бы я стать актером, если бы моя мать не имела к театру отношения? Может, это в моей крови от нее? Может, она меня и по сей день травит собой? Где заканчиваюсь я и начинается она – даже при том, что мы с ней почти не знакомы?

Он был так красив и страшен в эту минуту, что Ника хотела зажмуриться и не могла. Ее сознание раздваивалось. Одна часть соглашалась с Кириллом, потому что привыкла делать это, привыкла следовать за ним неотступно, молчаливо, без возражений и сомнений. Ведь он не мог быть неправым! Но вторая часть Ники сопротивлялась. Ужасалась. Негодовала и боялась. Мужчина, сидящий рядом с ней, был безжалостен. Он без колебаний сошелся с Риммой, выбирая ее в невинные жертвы. Корсакова, актриса, каждый вечер игравшая в любовь, без колебаний поверила в его выдуманные чувства, не заметила подвоха, как ребенок, берущий леденец у незнакомца. А сам этот человек, протягивая красного петушка на палочке, уже точно знал, что сделает с ней дальше, знал во всех омерзительных бесстрастных подробностях. Римма ничего не значила для Кирилла, она была лишь средством, методом, набором слабостей, составивших его силу. И все это ради разрушения...

Никуню не столько заботила в эту минуту участь театра и Ларисы

Липатовой, и даже не чувства Риммы, сколько сам Кирилл. Он вел машину, щелкал рычажками под рулем, и жидкость из бачка споласкивала ветровое стекло, а дворники скользили. Так просто, так обыденно. Так страшно было сидеть рядом и просто осознавать, что любимый человек ей вовсе не знаком и никогда не был. Она не знала о нем главного, того, что составляло вот уже несколько месяцев всю его жизнь, весь внутренний мир. Он актер – и сколько игры, сколько лжи было в нем каждый миг их знакомства? Сколько слов, движений, взглядов было неправдой, выверенной и отрепетированной? Половина? Больше? Все?

Взгляд Ники скользнул по его рукам, покоящимся на руле. Левая ладонь по-прежнему школярски испещрена чернильными пометками. Раньше это всегда вызывало нежную улыбку, теперь же Ника думала: сколько таких пометок призвано нести вред театру и всем его обитателям? Какая из галочек отвечает за звонок театральному критику, чтобы тот «забыл» послезавтра о премьерке? Или, может быть, за синим крестиком у запястья таится напоминание «включить пожарную тревогу в середине первого акта»?

Тщетно пытаюсь уложить все сказанное в голове, Ника решила восполнить пробелы. По крайней мере, это давало ей передышку, паузу, потому что главный вопрос – что делать дальше – уже маячил где-то на самом горизонте.

– Потоп. Его тоже устроил ты?

– Ох, нет. Техногенные катастрофы не по моей части! Совершенно непредвиденное осложнение, – признался Кирилл. – Я сломал голову, прежде чем все уладить. Но получилось в итоге даже лучше. Идеально! Ведь она решилась взять кредит под залог своей квартиры.... Я был восхищен, честно. Само Провидение подкидывало мне козыри.

– Это были просто гнилые трубы!

– Думай как хочешь...

– А бутафорская кровь?

– Ника, я восхищен. Ты даже про кровь разнюхала! Нет, кровь взял просто на всякий случай. Слишком уж она... поддельная, материальная, для нашей-то маленькой фантасмагории.

Ей не понравился его тон. «Разнюхала»... Конечно, ведь она ищейка, следопыт. Враг. Меньше всего на свете ей хотелось быть врагом Кирилла. Но он чувствовал, что она не разделяет воодушевления от его мести.

Господи, как она могла разделять это? Несмотря на то что чувствовала к нему! Ника окончательно запуталась. Она спрашивала себя, как бы она отреагировала на то, что, например, Митю после ее похищения

не отправили бы за решетку. Если бы он остался на свободе и она знала это каждую минуту своего бытия – не возжелала бы она отомстить за весь пережитый страх? Где грань, у которой заканчивается месть и начинается справедливость? И что такое справедливость, как не узаконенная месть...

Она все еще верила, что за показным цинизмом Кирилл прячет изорванную в клочья изнанку самого себя. Брошенного сына, маленького инвалида, который всего, что имеет сейчас, добился сам – и благодаря удивительной стойкости и талантам, которыми природа одарила его. Иногда, в течение всего разговора, он бросал на Нику долгие взгляды, испытующие, словно пытался разгадать ее мысли. Невероятно, что он раскрыл ей свой замысел. Он так ей доверяет? Или, наоборот, считает кем-то вроде живого блокнота, куда можно выплеснуть наболевшее, а потом засунуть на дальнюю полку? Но ведь и блокнот может проговориться. Ей хотелось прикоснуться к нему, переплестись пальцами, зашептать: «Не бойся меня, я не причиню тебе зла, ты мне слишком дорог. Я скорее отгрызу себе руку. Но если ты сделаешь то, что задумал, я не смогу быть тебе кем-нибудь. Я не смогу быть рядом с тобой, не смогу видеть тебя. Хотя разве тебе это нужно? Я – нужна?»

Боясь, что он прочитает по ее лицу слишком многое из того, что сегодня ей хотелось бы скрыть, Ника стала смотреть в окно. Сумерки еще не сгустились, но на проспекте уже горели фонари и вспыхивали одна за другой неоновые вывески.

– Но Римма, ей-то за что? – заговорила она после недолгого молчания, овладев собой. – Она ведь жертва! Знаешь, однажды со мной произошла очень плохая история. И долгое время после этого я не могла оправиться. Я мечтала жить тихо и ни к чему не иметь отношения. Не касаться других людей. А теперь я понимаю, что невозможно жить и при этом не влиять на все происходящее вокруг. Мы связаны. Мы переплетаемся, как корни деревьев в земле, и, выворачивая тополь, нельзя не повредить растущую рядом осинку.

– Осинка переживет. Гибкие деревья самые живучие, – убежденно ответил Кирилл.

– Как ты можешь говорить такие ужасные вещи? – пробормотала Ника с болью. – Кто дал тебе право решать, над кем можно ставить опыты, а над кем нет? Ведь ты делил с этой женщиной свою постель. Неужели... это ничего для тебя не значит?

Выдала себя «с потрохами», конечно. Но Кирилл все равно не ответил. Автомобиль маневрировал в узком пространстве подъездной дороги среди припаркованных машин, потом нырнул в арку подворотни и остановился.

Двигатель затих. И Кирилл повернулся к Нике всем корпусом. Он уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал и принялся внимательно изучать Нику, так что от смущения ее глаза начало жечь.

В этот момент дверь ближайшего подъезда распахнулась, и оттуда выбежала восточно-европейская овчарка, пушистая и огромная, а следом за ней на поводке буквально вылетела, как ядро из пушки, девочка лет десяти, в джинсовом комбинезоне и полосатой толстовке. Она едва удержалась на ногах, ухватилась рукой за скамейку и дернула собаку обратно:

– Грета, фу!

Установив субординацию с питомицей, девочка прошла мимо машины и разулыбалась Кириллу:

– Привет!

Тот в ответ поднял открытую ладонь и помахал. Девочка с любопытством принялась разглядывать и Нику, но тут Грета натянула поводок, и юная хозяйка рывком сместилась на пару метров в сторону, а потом и вовсе скрылась за кустами.

– Удивительно, какой эффект может произвести красный галстук и коричневый сарафан, правда? – пробормотал Кирилл, провожая соседку взглядом. Ника обомлела, на мгновение потеряв дар речи.

– Так это она?! Пионерка из страшилки? Ты втянул в это ребенка? Черт, Кирилл!

– Я просто приглядываю за Ниной, когда родители задерживаются на работе. Всего пара внеклассных занятий по истории России пошли ей на пользу. Пионерия теперь для нее не простой звук.

– Как и для Риммы.

В ответ на ее упрек, вместо того чтобы устыдиться, Кирилл вдруг взглянул так лукаво, что Никины щеки словно опалил сухой жар кузницы.

– Перестань быть хорошей, Ника... Доброй, совестью. Разозлись. Обрадуйся. Тебе ведь наплевать на всех них, ты не принадлежишь театру! Тебя ведь радует мое расставание с Риммой? У тебя ведь есть на это причина. Признайся.

– А не слишком ли много ты на себя берешь? – моментально заледенев, пробормотала Ника.

– В самый раз. Мне не тяжело, – хохотнул он.

Это был новый Кирилл, другой. Насмешливый и острый, злой, больно ранящий в самое сердце. Как же она ошибалась на его счет. Какая могучая сила ослепила ее! Почему она сразу не заподозрила подвоха во всем, что говорит и делает этот человек, как не заподозрил никто из театралов?

Но нет, все они были очарованы, заморожены. Кирилл, такой сильный и умный, пришел и мигом решил все проблемы. Теперь перед Никой вставала его обдуманная месть, заслоняя все остальное, такая осязаемая, материальная, как гора, за которой не видно моря, даже если оно намного больше горы.

Догадавшись, как внутренне отшатнулась от него Ника, Мечников, наоборот, приблизился. И заговорил мягче:

– Тебе, наверное, интересно, зачем я позвонил тебе тогда, в первый раз... Я ведь не ошибался номером.

– Я догадалась. И, знаешь, мне все понятно, – Ника снова отвернулась к окну, сдерживая подступающие слезы. – Ты разузнал про служащих театра и наткнулся на неприметную кассиршу. И захотел эту серую мышку сделать своим союзником, потому что она в театре своя и у нее можно много чего узнать. А я выбалтывала тебе все, вечер за вечером...

– Это ты-то незаметная? Нет никого ярче тебя в этом театре. – Его голос вдруг стал волнующим и нежным. Он играл с нею, и она оказывалась беззащитна перед своими чувствами к этому ужасному человеку. – Ты заходишь, и все смотрят на тебя. Несмело, воровато, потому что побаиваются. Но смотрят! Они видят, что скрыто в тебе. Они чувствуют, что ты держишь их в своих руках, хотя и не знают, каким образом, что за знанием таким тайным о них ты обладаешь. И потому побаиваются. Ведь каждому есть что скрывать, а что может быть страшнее, чем чужой человек, знающий о тебе нечто такое, что ты хотел бы скрыть! Вот и я тебя побаивался. Но теперь я просто верю тебе. И я знаю, что ты немножко влюблена в меня. Ведь так?

– Почему ты рассказываешь все это мне? Сейчас? Ты не боишься, что...

– А что, если я вверю себя в твои руки?

– Неправда. Не надо издевок, прошу тебя... Театр – моя жизнь. «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приходи и возьми ее»<sup>[12]</sup> – этих слов ты от меня хочешь, что ли? Так ты думаешь обо мне? Спешу тебя разочаровать, мы не в спектакле, а я не Заречная. Не думай обо мне лучше, чем я есть на самом деле.

– О, ты не Заречная. Ты куда сильнее, яростнее и чище. Знаешь, почему я не отказался от участия в танцевальных вставках?

– Нет...

– Мне ведь с самого начала было понятно, что это тщетные усилия, раз спектаклю уготована такая судьба... И моим ногам было больно. Но... Я не мог отказаться от счастья смотреть на тебя – у всех на глазах, когда это

разрешено, ничем тебя не смущая. Я понимал, что ты для меня недоступна, но ведь смотреть-то можно. Ты так двигалась, почти летала, почти сквозила, невесомая и при этом сильная, гибкая, как лиана. Я не мог глаз от тебя отвести. И не важно, что потом мне приходилось лежать в горячей ванне, обмазываться мазями и глотать болеутоляющее под нитье Риммы. А во время самих занятий моим анальгином была ты.

Ее руки заледенели, и она приложила их к пылающим щекам, не понимая, то ли хочет согреть ладони, то ли остудить лицо. Ей никак не уяснить, в чем именно он признается ей сейчас.

– Кирилл, одумайся! – взмолилась она. – Иначе произойдет что-то страшное, я чувствую.

– Произойдет только то, что должно произойти. Если хочешь знать, это судьба. Я не в силах что-нибудь изменить. Я должен.

– Хватит! – Ника почувствовала вдруг такую ярость, что вполне могла бы ударить человека. – Хватит нести всю эту чушь. Ты заварил все это! Ты! Нет никакой судьбы, есть только твоя воля. И решения, правильные и неправильные. И еще есть другие люди, с их решениями, и все это пересекается, захлестывается одно на другое. Я думала, что могу затаиться, просто жить и не соприкасаться с другими. Сидела тише воды ниже травы, и что же? Даже мои слова имеют какие-то последствия. Я так стремлюсь ни на что не влиять – и все равно влияю. Все словно сговорились посвятить меня в свои тайны, в свою жизнь. И знаешь, что я начинаю понимать? Невозможно жить автономно. Каждое действие имеет свои последствия, каждая брошенная необдуманная фраза – все! Не надо все валить на провидение! Ты сам, только ты, решаешь, как поступить. Когда в войнах перестанут гибнуть мирные жители? Боже мой, когда *вы все* закончите втягивать невинных в свои дразги, когда?!

Этот вопль был обращен не только к Кириллу. К Зевсу, играющему людьми как пешками, к Гере с Афиной и Афродитой, положившим начало войне ради забавы, к Деметре, обречшей людей на холод зимы из-за собственного горя. Сон и явь слились и загустели, так, что не разнять.

– Почему должны страдать те, кто не причастен? Кто ни в чем не виноват!

– Такая у них судьба.

– Нет никакой судьбы. Есть твоя прихоть, есть твоя злоба. Есть то, что ты можешь искоренить, а вместо этого множишь, потому что не хочешь остановиться и осознать.

Она видела, что Кирилл не уступает, и решилась. Торопливо и путано Ника стала рассказывать все, что знала про театр и его обитателей.

Про беременную Лелю, которая ради театра была готова сделать аборт, и Даню, который влюблен в нее и отчаянно хорохорится и хохмит, лишь бы она его не прогнала. Про Рокотскую, у которой нет ничего, кроме изношенного сердца и желания играть на сцене. Про истерзанную виной душу Светланы Зиминой и про Дашку, которая только-только начала оттаивать и смотрит репетиции с раскрытым ртом, как ребенок. И про Римму, которая хоть и вздорная, но обычная маленькая девочка, когда-то запертая родителями в шкафу, а теперь желающая быть лучше, чем кто-то рядом.

– Они, они же ни в чем не виноваты! – воскликнула Ника, закончив сумбурный рассказ, и посмотрела на него с надеждой.

– Нет, Ника. Они работают в *ее* театре, они составляют *ее* жизнь и *ее* мечту. Я не отступлюсь. Что суждено, то и будет. Не думай, что мне это доставляет удовольствие. Не доставляет. Это мерзко! Но я должен. Я смотрю на Дашку...

– И видишь Окси... – прошептала Ника, чувствуя, как внутри все болит. Кирилл опустил голову. Он говорил вниз, и голос звучал глухо, потусторонне:

– И вижу Окси. Ее седые пряди. Ее гроб. Я должен ей, я обязан ей всем, она научила меня биться в кровь. Не будь Липатовой и таких, как она, Окси не лежала бы в гробу. Ее волосы были бы русыми.

– Не будь этого театра, – тихо напомнила Ника, – Дашке некуда было бы пойти. Она ведь только сейчас начала отогреваться. Липатова создала то, что намного больше ее самой. Отпусти ее.

– Нет.

Кирилл выплюнул это слово. Оно относилось ко всему. Оно было главным словом его жизни, это резкое, свирепое «нет».

– Ты ведь... – он перевел дыхание, – можешь пойти прямо сейчас и все сказать про меня... Мой злодейский план. Римме, и ей тоже. Пойдешь?

– Я... – Ника запнулась. Конечно, она могла все рассказать. И даже думала об этом. Но тогда вся история Кирилла выплыла бы наружу. Она собственноручно направила бы на него безжалостный свет огромного софита человеческих сплетен, осуждения, всего того, что так ненавидела. У всех бы тут же нашлось свое мнение, видение ситуации, какие-нибудь дурацкие советы, выводы или поучения. На другой чаше весов лежала жизнь Липатовой, моральное здоровье Корсаковой и судьба целого театра. Но для Ники один Кирилл перевешивал их всех. И сказать это вслух было так же ужасно, как и самой себе. Она ненавидела себя за слабость, за то, что не может решить, как ей поступить.

Но это и не понадобилось. Кирилл взглянул на нее спокойно и даже с легкой улыбкой, смысла которой она не поняла, – и не была уверена, хочет ли понимать. В его глазах ворочалось что-то жестокое, черное. Горячее.

Приказ. Ему невозможно было противостоять. Кирилл придвинулся поближе, и приказ стал еще неумолимее. Это остро заточенное лицо то приближалось, то отдалялось, дразня, изматывая. У Ники сбилось дыхание, и она задышала часто, поверхностно и мелко, как будто ее топили в реке. Не в силах шевельнуть хотя бы пальцем, она видела происходящее откуда-то из глубины. Видела глаза, которые заняли вдруг все пространство, требовательные и властные, черные дыры зрачков, все ближе и ближе, стремительно расширяющиеся, втягивающие ее саму и весь ее хрупкий мирок. И губы. Их она уже не увидела, а ощутила.

Пылающие и невыносимые. Они терзали ее рот, беспощадно беря в плен, и она не могла вздохнуть, не могла думать, не могла больше жить. Все, что она могла, – это отвечать на поцелуй со всей страстью, что нарастала в ней огромной болезненной волной, гудением во всем теле, судорогой в животе. Самая черная магия, самое темное из искусств, поработавшая волю, высвободилось из ее потайных глубин и заполонило все вокруг.

Но она вырвалась. Глаза ее распахнулись, из горла выскользнул сдавленный всхлип, и спустя мгновение она уже бежала по улице, не разбирая пути. Это был незнакомый район, незнакомый город – и Ника, незнакомая сама себе.

Совладать с сумятицей ей так и не удалось. Испугавшись того, что выплеснулось наружу, Ника брела по городу, пока снова не оказалась у театра. Она не смогла бы внятно объяснить, как добралась сюда, как ехала в метро – все это происходило неосознанно. Ей помнились лишь слова Кирилла о том, что в запертом театре совершается что-то по продуманному им плану. Она должна была все исправить. Она ведь не такая, ну не может она себе позволить уйти в тень и просто наблюдать за кораблекрушением!

Снаружи здание выглядело дремлющим, и Ника отперла двери. Театр был пуст и тих, в нем не происходило ничего особенного, но Ника опять чувствовала беззвучное тиканье уже заложенной бомбы. Вот только где она? Обезвредить ее может лишь Кирилл. Девушка прошла по всем коридорам, не включая света, чтобы не спугнуть ворочающийся там мрак. Поднялась на галерею, где, к счастью, никогда никто не погибал. Отсюда просматривалось все фойе, с темным пятном рояля и квадратами света

от уличных фонарей на полу. Гримерки и зрительный зал, туалеты и буфет, реквизиторская, репетиционный зал, душевые, склады, костюмерная – все казалось в порядке. Допуская самые сумасшедшие возможности, Ника даже проверила механизмы пожарного занавеса, который в случае пожара должен отрезать зрительный зал от сцены. Она не желала мириться с мыслью, что Кирилл способен сорвать премьеру, устроив пожар, но уже не могла избавиться от нее – и подобных ей. Кирилл не остановится, и вся проблема в том, что Нике не ведомо, насколько серьезно он готов вредить людям возле себя – актерам, зрителям... Опасно ли им просто находиться рядом?..

Ника хотела бы отыскать магические слова, чтобы завеса мнимого благополучия соскользнула с притихшего театра и обнажила затаившуюся в нем опасность, но, как назло, не знала ни одного заклинания.

Никто не собирался отступать.

– Ну, как настроение? Боевое? – встречала Липатова своих подопечных назавтра в полдень. Она расточала оживленные взгляды и беглые рассеянные улыбки, оттого что каждую минуту думала о сотне вещей, припоминала, проверяла, уточняла и боялась забыть. Через два часа должна была начаться генеральная репетиция. Костюмы, софиты, декорации – все замерло в предвкушении, и даже занавес, кажется, ходил ходуном от нетерпения – и от пробегающих за ним исполнителей. Ни одной накладки, все на удивление отлажено, толково и спокойно настолько, насколько вообще может быть перед последним прогоном. Никто из труппы не застрял в пробке, никто не проспал, аппаратура работала замечательно, осветительные приборы не перегревались, шнуры не отходили, динамики не шипели. Ника не могла избавиться от ощущения, что присутствует где-нибудь на верфях Саутгемптона в тот самый день, когда на воду спускают «Титаник», самый изумительный, крепкий и непотопляемый корабль своего времени.

Ей хотелось, чтобы смертельный рейс кто-нибудь отменил. Кто-нибудь другой, не она. Как бы ей хотелось ничего не решать, не быть к этому причастной. Не знать, просто – не знать. Все было бы проще. Не знать всегда проще. Она смотрела на суетящихся вокруг актеров, и про каждого из них вспоминала то сокровенное, что знала. Как будто в ее руках оказались вдруг веревки, шпагаты, канаты их жизней, снаружи довольно крепкие, а внутри каждого – кровеносная артерия. И все это спутано в большой моток, с узелками и непривязанными концами. Она знала о каждом из них больше, чем они говорили вслух, как будто все остальные

действовали в двух разрозненных мирах, и лишь она умудрилась соединить их вместе. Это знание неподъемным бременем лежало на ней одной.

А Кирилл уже занес меч, чтобы перерубить запутанный ворох узлов. И ему наплевать, что вместе с узлами клинок перережет вены. Кроме собственной мести, его больше ничто не трогает.

Она чувствовала то, до чего Кириллу не было дела: ей самой не выйти невредимой из этой, чужой мести. Когда Мечников доведет задуманное до конца, все будет разрушено. Она сама будет разрушена. Это неправда, когда говорят, что любовь ни от чего не зависит, что она безусловна, беспричинна, беспочвенна и слепа. Любовь нельзя заставить родиться, но можно убить, одним поступком можно – и Ника знала, какой поступок Кирилла убьет внутри ее все живое.

Как только премьера будет похоронена. Она не хотела этого, не планировала – она просто чувствовала, что так будет. Никогда та, другая, настоящая Ника не сможет больше с любовью взглянуть на Кирилла Мечникова, не усомнившегося, не дрогнувшего. Отомстившего. Как он сказал? Метить чуть в сторону, чтобы попасть в яблочко? Тогда она знает, куда попадет эта стрела. Дело не в Римме, не в Липатовой и даже не в судьбе целого театра. Возможно, каждый как-то сможет уцелеть. Кроме нее. Но кому до этого есть дело?

– Ника, давай пробежимся по основным пунктам, – отвела ее в сторону Лариса Юрьевна. Она следила, как Ребров запускает с пульта световую проекцию, и на сцене, по заднику бегут кучевые облака и плывут корабли. – Ты ведь сделала все, что я просила?

– Да.

– Поехали, – Липатова водрузила на нос очки, но все равно дальноторко откинула голову, глядя в список: – Факелы?

– Установлены в скобах, пропитаны биотопливом, – отрапортовала Ника.

– Цветок?

– Лежит на месте, за кулисой.

– Проверь перед самым началом еще раз. Не хочу сюрпризов, как тогда... Далее. Главная чаша с огнем?

На огонь Липатова возлагала большие надежды. Она любила повторять, что в театре нарушение условности сценического мира способствует втягиванию зрителя в происходящее. В ее спектаклях с целью размыть границы реального и нереального частенько фигурировали ведра с настоящей водой, которая то и дело выплескивалась на пол, или серые кубы льда, потрескивающие от перепада температур и вспыхивающие

искрами от луча прожектора, или спички, свечи, сигары, со струящимся к колосникам сизым дымом. А иногда даже пахло ладаном и маслом из церковной лампадки. Для «Троянской войны» худрук приспособила биотопливо для экологических каминов. Налитое в большую металлическую чашу, внутри которой лежал свернутый кусок кевларовой парашютной стропы, оно горело ровно и высоко, без запаха и чада.

– Чаша готова, – кивнула Ника. – Стоит в мужской примерке, ее выносит Паша Кифаренко. Спички у него в кармане.

– Диск с музыкой?

– На пульте.

– Шарнир, тот, который скрипел на декорации, справа...

– Смазала маслом, – кивнула Ника.

Липатова прижала белый лист к груди. Медленно выдохнула с закрытыми глазами.

– Так, с проекциями разобрались... что еще.... Пойду проверю декорации еще раз.

Ника пообещала себе, что и она сама проверит их – прямо перед прогоном, чтобы Кирилл не успел ничего натворить.

Спустя полчаса Ника стала свидетелем, как точно так же Липатова допрашивает Кирилла. Тот с уверенной улыбкой кивал ей и всем видом воплощал спокойствие и безмятежность. Ника смотрела на него с другого конца коридора, отыскивая хоть тень сомнения, хоть намек на следующий его ход, который и приведет к катастрофе. Она вообще старалась ни на минуту не выпускать Мечникова из поля зрения, и его это, кажется, забавляло. Они словно играли в тайные шахматы у всех на виду. Кирилл то и дело коротко кивал ей, подмигивал, махал рукой – словом, всячески поддразнивал, будто происходящее его веселило. У раковины в буфете без слов продемонстрировал ей свою левую ладонь, совершенно чистую, ни следа от чернильных пометок. Когда направился в примерку переодеться и Ника словно невзначай увязалась следом, намереваясь пройти мимо него к складам, Кирилл толкнул дверь сильными пальцами прямо перед ней:

– Присоединишься?

Она подняла к нему лицо, собираясь сказать что-нибудь едкое. Но не придумала что. Насмешливая улыбка играла на его губах, и Ника совсем некстати вспомнила, каковы они на вкус, эти непреклонные твердые губы.

Тысячу раз она готова была во всем признаться Липатовой. Конечно, непременно надо признаться! Сказать, что премьера в опасности,

что Кирилл не отступится. Что сама Липатова вот-вот получит отмщение за свой поступок тридцатилетней давности. Ника собиралась сказать обо всем вот прямо сейчас. Только разойдется народ из буфета, и тогда... Только Ребров оставит Липатову одну... Только Стародумов закроет дверь кабинета...

– Ларис Юрьевна...

– Да? Что?

Но Кирилл сидит на окне фойе, и по его лицу блуждает усмешка. Слова стыннут на губах. Он видит Нику, а Ника видит его. И в который раз немеет.словно тем поцелуем он запечатал ее уста крепче, чем клятвой на Библии. Он знал, он заранее предполагал, что она не сможет его выдать. Он продумал все. И он побеждал – кому, как не Нике, осознавать победы?..

Уже собрались немногочисленные зрители. На генпрогон Липатова всегда звала только знакомых, примерно четверть зала. Первая обкатка спектакля на зрителях, пробный шар.

«Может, сегодня все пройдет гладко? – пытается успокоить себя Ника. – Какой смысл устраивать диверсию сегодня? Премьера – вот его главная цель. Может, сегодня не стоит волновать Липатову перед спектаклем? Отыграют, и тогда...»

В ней еще теплилась надежда. Вера в хорошего Кирилла, придуманного ею где-то в сияющей тьме январских ночей. Она ведь не просто так вычислила тайного недоброжелателя, не по случайности? «Lame», Хромой. Он оставил подсказку, словно воззвание о помощи, просьбу понять, кто он такой, – и помочь. Будь Кирилл так уверен в том, что собирается сделать, – разве оставил бы он вешку, по которой его можно вычислить? Сделал ли он это осознанно или что-то внутри его, доброе и хорошее, пробивало себе путь среди выстроенного разумом и обидой отмщения? Значит, он – или часть его – все же хочет, чтобы его остановили. Как, как его остановить? Ника уже пыталась убедить его отступить, но он не слушал, прикладывая свой палец к ее губам, останавливая ручеек слов, и спешил уйти.

Пять минут до начала. Еще можно все объяснить. Не подпускать Кирилла к Римме, к спектаклю! Тут Нике в голову пришла запоздалая мысль – заменить Кирилла некому, он единственный Гектор!

Может быть, все как-нибудь обойдется? Наладится само по себе?

Ника металась за кулисами, высматривая малейшие недочеты, в сотый раз все оглядывая и проверяя. Но она знала, что мелочей много, а она одна, и ей не уследить за всем.

Мимо проскользнула Римма.

– Риммочка, – Ника схватила ее за руку. Ей хотелось поддержать актрису перед вполне вероятным душевным испытанием. – Удачи тебе. Ты самая-самая, знаешь?

Римма уже вошла в образ Елены Троянской. У нее изменился поворот головы, прищур. Невесомые шифоновые драпировки калиптры<sup>[13]</sup> спускались от диадемы на высокую грудь и плечи, кипенный подол хитона мел пол при каждом шаге.

– Спасибо, – кивнула она с каким-то неподражаемым достоинством, и Нике на мгновение показалось, что актриса снова не помнит ее имени.

Мир вертелся все быстрее и быстрее, и вот уже взвился занавес. Все шло прекрасно, и даже Римма, кажется, поймала волну, которая не покорялась ей последние несколько недель. Липатова чуть заметно улыбалась, и ее плечи, только что такие напряженные, немного расслабились. Во время пластического номера она постукивала носком ботинка в такт музыки, а Ника пристально следила за движениями своих подопечных. Все великолепно, даже Кирилл со своими медлительными ногами уложился в ритм. Ника так радовалась, что на несколько минут забывала о надвигающемся шторме. И зря.

Потому что Елена Троянская не появилась из-за кулис в нужный момент. Она так и не вернулась из гримерки. И Ника, почуяв неладное, выскочила в коридор, открыла одну за другой двери и первой забежала туда.

Она увидела не Елену. А трясущуюся Римму в лифчике и трусах, распахнутые створки платяного шкафа, который актриса тщетно пыталась закрыть черенком швабры, и там, на его фанерном дне, – то, что еще недавно было ее платьем для второго действия. Среди зелено-золотого меандра, в сливочных складках изъеденной ткани копошились черные и серые мыши. А рядом поблескивала пятью рубиновыми лучиками звездочка пионерского значка.

Измученная токсикозом, Леля Сафина заглянула через Никино плечо, покосилась на Римму и отошла в сторону.

– Она не сможет... – пробормотала Леля и прислонилась виском к прохладному дверному косяку. – Это конец.

## Явление пятнадцатое

### Крылья

Ника не видела утро, разгонявшее пасмурные облака, не видела мигания светофоров. Она перебегала перекрестки на красный, под визг тормозов и оглушительный вой клаксонов. Она со всех ног неслась к дому Кирилла.

В голове пульсировал его адрес, вбившийся накрепко много недель назад. Вот для чего он был нужен ей – чтобы мчаться туда сейчас.

Мелькали образы вчерашнего вечера. Беснующаяся и опустошенная Липатова, которая искала виновного, но так и не нашла. Забитая Римма. Сама она, корящая себя за молчание, но так и не выдавшая Кирилла. Ошибка, ужасающая ошибка! Платье Елены Троянской, изъеденное мышами в лохмотья, еще пахло сыром и сливочным маслом, когда Ника собирала его в мусорную коробку. Так просто – и так действенно, Ника содрогалась, видя в шевелении мышей торжествующее лицо Кирилла. Но все это было вчера и не имело никакого значения сегодня.

Ника взлетела на четвертый этаж по лестнице и затрезвонила в дверь, не отнимая пальца от кнопки. Дверь распахнулась. На пороге стоял Кирилл, свежий, чисто выбритый и уже готовый к выходу. Его волосы влажно поблескивали.

– Ника?

Всего два слова отделяли ее от момента истины. Она должна была их произнести.

– Римма повесилась.

И всхлипнула. Она никогда не видела повешенных, только в кино, но могла себе представить, как вздулось и посинело некогда красивое лицо, как торчит над искаженной в гримасе верхней губой родинка, которая уже никого больше не соблазнит. Эти померкшие глаза, черная смородина которых превратилась в затухшие пыльные угольки. Перед глазами стояла мертвая Римма, и Ника уже видела, как будто это происходило наяву, как ее положат в гроб, установленный на сцене театра «На бульваре». Премьера, назначенная на сегодняшний вечер, обернувшаяся приготовлениями к похоронам.

От этих мыслей Нику затрясло, она почти ввалилась в квартиру Кирилла и, рухнув на скамеечку у порога, безутешно заплакала.

Кирилл застыл. Широко раскрытыми глазами он смотрел на Нику и не проронил ни слова, даже когда она глубоко вздохнула, приходя в себя. Его лицо превратилось в каменную маску.

На кухне задребезжал холодильник. От проехавшего под окнами трамвая позвякивали оконные стекла. В квартире выше или ниже по стояку кто-то спустил воду в туалете, и она хлынула по трубам, шелестя так громко, что тишина вокруг Ники и Кирилла стала осязаемой. Где-то глухо залаял пес.

Тогда Кирилл пошевелился. Он взял в руки телефон, и Ника поразила тому, как странно, оскорбительно смотрится это обыденное движение в теперешних условиях. Кощунственно. То же самое почувствовал и Кирилл, потому что тут же сунул мобильный в карман куртки. Помедлив, вытащил из тумбочки свой паспорт и положил туда же. Звякнул ключами.

– Пойдем, – голос его пропал до шепота.

Он взял Нику за руку и повел. Вместе они спустились вниз, вышли из подъезда и двинулись через дворы. Оба молчали. Но Кирилл не выпускал Никину руку ни на мгновение, его пальцы сжимали ее все крепче. Она хотела спросить, куда они идут, но не могла выдавить из себя ни слова.

Он оставил ее у магазина и через минуту вышел с бутылкой коньяка. Разлил коричневую жидкость по двум стаканчикам. Они выпили, ничего не говоря, не глядя друг на друга и не чокаясь. И в это мгновение Ника почувствовала вину. Она тоже виновата, не меньше, чем Кирилл. И эта вина объединяет их сейчас больше, чем любое другое чувство на свете. Стыд, ужас и вина.

Кирилл снова повел ее куда-то дворами и, наконец, остановился у двухэтажного серо-голубого здания. Усадил Нику на бетонный парапет у стены и взял ее лицо в свои большие ладони, словно требуя, чтобы она смотрела только на него. Его глаза были серьезны и лихорадочно, безумно блестя.

– Прежде, чем... В общем... – он зажмурился, собираясь с мыслями. – Я обязан сказать тебе кое-что, это очень важно. Ника... Ты даже не представляешь, какая ты. Прости, что так ужасно обращался с тобой в прошлый раз.

– Ты был честен.

– Нет. Да... Не знаю! Я знаю, что в тот раз, когда ты попросила оставить тебя в покое, я звонил не просто так. Хотел попроситься. Я чувствовал, что привязался к тебе намного сильнее, чем мог позволить,

и еще разговор или два, твой смех в трубке, твой взгляд в театре – и я не смогу. Не удержусь на этом лезвии. Не отомщу матери. Ты так тянула меня к свету! Я не имел права втягивать тебя в то, что хотел устроить. Римма должна была стать кратчайшей дорогой к моей цели, но я ненавидел себя уже тогда. Но я думал, что Римма переболеет и все забудет. Она казалась мне просто влюбчивой балаболкой. А сейчас... Римка, что же ты наделала?

Кирилл застонал, закрыл лицо руками, а потом вдруг со всей силы ударил кулаком в шершавую стену дома. Потом еще и еще. На рассеченных костяшках выступила кровь.

– Я просто чудовище, мне нет прощения, нет оправдания. Ее смерть на моей совести, мой грех и всегда им будет... Но ты. Ты всегда была другой, и когда ты попросила больше не звонить... Я и сам испытывал боль вместе с тобой! Думаешь, я не слышал ее в твоём голосе? Но она еще раз подтвердила правильность моего решения. Господи, Ника, прости меня. Прости, хоть ты прости. Тебя, хрупкую, совершенно невероятную, надо было держать подальше от всего этого... От меня! Потому что... я урод. Когда тонешь в море, уже не видишь горизонта. Все заслоняет вода. А тебе было не время тонуть. Прости меня, если сможешь... И прощай.

Продолжая держать ее лицо в ладонях, он нежно поцеловал Нику в лоб. А потом, не в силах оторваться, спустился поцелуями до переносицы и глаз.

– Ты куда? – не поняла она, когда он выпустил ее и, ссутулившись, сделал пару шагов в сторону.

– А куда я могу пойти после этого? Сюда, – он неловко махнул рукой в сторону серо-голубого дома, и Ника только сейчас присмотрелась внимательнее. Решетки на окнах, из-за угла выглядывает капот сине-белой машины с мигалкой. Это ведь отделение полиции – вот оно что... Ника вскочила на ноги и подошла к Кириллу вплотную.

– Думаешь, я смогу просто щелкнуть пальцами и жить дальше? – горько вздохнул он и дрожащей рукой пригладил выбившуюся прядь ее волос. – Не смогу. Я мерзость, но не такая, что-то человеческое все же во мне есть. Пусть меня арестуют, я это заслужил. У нас по-прежнему сажают за доведение до самоубийства, но, если я не явлюсь в отделение, вряд ли кто-то удосужится расследовать ее смерть. А во всем виноват я. Я ее убийца. Я должен за это ответить. Господи, как же я мог до всего этого прийти...

– Ты не убийца.

– Ника, не надо... черт, Ника! Как же так получилось?

Он одним рывком дернул ее к себе и обнял, сжал до боли. Она чувствовала, как колотится его сердце. Тогда Ника притянула его голову к своей груди, положила ладони на затылок. Через блузку кожа ощущала горячую влагу там, где были его глаза. Плечи Кирилла вздрагивали.

– Если бы я мог все исправить, Ника... – слова доносились глухо. – Если бы...

– Ты еще можешь, Кирилл. Слава богу, можешь. Она жива.

Это было сложно – довести себя до такого безумия. Поверить в собственную ложь настолько, чтобы поверил Кирилл. Войти в роль так, чтобы актер не заподозрил актерской игры. Ника никогда не думала, что способна на это. Но у нее получилось.

Все утро она представляла себе, как если бы это было правдой, что Римма не пережила всеобщего давления. Что нервы Корсаковой сдали окончательно, и она поняла, что больше не может и не хочет жить. На пути к дому Кирилла Ника рисовала себе образы повесившейся Риммы, чередуя их с тем светлым будущим, которое есть у актрисы – и которое может никогда не сбыться. Что, если бы вчера Римма Корсакова действительно наложила на себя руки? Это вполне могло произойти. Ника бежала по улицам, чтобы все ее тело ныло, чтобы кровь разогналась настолько, что ее биение напомнило бы панику, страдание, безысходность. Чтобы в легких закончился кислород, как это бывает от долгих рыданий. И на пороге квартиры Кирилла она была так убита горем, словно Римма действительно погибла.

Последний шанс воззвать к разуму Кирилла. Показать, до чего способна жажда мести без оглядки на человеческие жизни. Добиться от него реакции. Если он обрадуется, что гибель Риммы уничтожила премьеру и Липатову, – значит, он по-настоящему страшный человек. Не человек вовсе, а нелюдь, не испугавшийся крови на своих руках ради мести. В ту же секунду Никина любовь к нему была обречена умереть, скорчиться, обуглиться. Но если он придет в ужас и раскается, значит, он – все тот же. Кирилл, которого она полюбила. Запутавшийся, но по-прежнему родной и нуждающийся в ней, в ее помощи. И тогда она еще успеет его спасти.

Она увидела все. Боль и раскаяние человека, содрогнувшегося от собственного поступка и его последствий. Без колебаний готового понести наказание – так честно и отчаянно, что в другой ситуации это вызвало бы ее улыбку. И потом, когда она торопливо объясняла ему свою

ложь, с дикой, безудержной радостью видя его недоверие и облегчение, целуя его неподатливые губы, она уже знала, что вместе они попытаются все исправить.

Дальнейшее происходило так быстро, будто на ускоренной перемотке. Все уже было продумано Никой заранее, но даже после этого она едва успевала за стремительно разворачивающейся реальностью.

Через час Кирилл, все еще ошарашенный и растерянно озирающийся по сторонам, позвонил знакомым театральным критикам и возобновил договоренность о рецензиях в прессе. Через три Ника и Рокотская, поддержкой которой она заручилась потому, что пожилая актриса была единственной, кому Ника могла довериться, стояли в квартире Риммы. Лизавета Александровна доставала из сумки связку церковных свечей и несколько обычных белых, рубиновый значок, никогда, конечно, не принадлежавший пионерке Нине, – а Ника тем временем объясняла Корсаковой положение дел: да, Лизавета Александровна действительно немного владеет магией. Естественно, Римма это чувствовала, она ведь наполовину цыганка, значит, связана со сверхъестественными силами, а как же! И теперь, после вчерашнего, Лизавета Александровна очень хочет помочь Римме и снять с нее порчу. Обряд несложен...

Все выглядело эффектно – ровно настолько, чтобы Римма поверила. Были задернуты шторы, свечное пламя трепыхалось перед зеркалом трельяжа, многократно отражаясь в его стеклянных коридорах. Глаза Лизаветы Александровны горели таинственно и увлеченно. Она произносила слова заговора, придумывая их на ходу весьма ловко, окунала тонкие пальцы в плошку с водой – конечно, водопроводной, хотя Римма была убеждена, что святой. Брызгала ею на молодую актрису, крутила Корсакову против часовой стрелки, велев зажмуриться, и украдкой подмигивала Нике. А потом жгла пионерский значок, обернув его в клочок белой бумаги.

Наконец, все трое обошли Риммино жилище, держа на вытянутых руках церковные свечи, и Рокотская, смочив палец в пихтовом масле, смазала им лоб Корсаковой.

– Вот и все. Теперь ты под защитой высших сил. Никто из нижнего мира не потревожит тебя.

Римма встрепенулась:

– Правда?

– Абсолютная, – подтвердила Лизавета Александровна. – Да, и кстати, на тебе венец безбрачия был. Я его сняла. Думаю, ты не будешь слишком возражать.

Римма легко засмеялась и бросилась обниматься:

– Спасибо, спасибо вам! Ника, спасибо! И ведь я знала, я чувствовала, что вы можете мне помочь!

Я... совершенно другие ощущения сейчас. Такая легкость, как будто с плеч ушла тяжесть и из шеи. Вот здесь.

Она показала. Во всем ее облике читалось облегчение. Ника важно покивала, а Рокотская лукаво блеснула глазами-бусинками.

Вместе они добрались до театра. Ника оставила Римму всего на пару минут, только чтобы сообщить Липатовой, что все в порядке и Корсакова готова играть премьеру. Она видела скептицизм и усталость в глазах худрука, но сейчас все это было неважно.

– Да, Римма, милая. Знаком того, что мой обряд действует, может служить, например, обретение чего-то утраченного или потерянного тобой, – сообщала Рокотская, неторопливо гримируясь. Мила Кифаренко смотрела на нее, вытаращив глаза, а Римма внимала каждому слову. – Или если окружающие вдруг меняют свое мнение или решение в твою пользу.

Через час Корсакова нашла потерянный вчера после репетиции мобильный. А следом позвонила ее мать и объявила, что уже едет в Москву и успеет как раз к началу спектакля. Когда Римма, захлебываясь от радости, сообщала все это Нике, та только мягко улыбалась. Ведь именно она вчера подобрала Риммин телефон под стулом, а сегодня положила на самое видное место. И именно она между делом нашла в списке контактов телефон матери Корсаковой, позвонила и убедилась женщину приехать. Это было непросто, но явно того стоило. Все это Ника делала не для театра и не для Риммы, а ради Кирилла. Она догадывалась, как тяжело будет ему сегодня. Ведь для прощения нужно больше душевных сил, чем для мести... К тому же она немного побаивалась, что он еще изменит свое решение, увидев худрука, которую так ненавидел до сегодняшнего утра, поэтому специально попросила его прийти как можно позже.

Он явился, когда Липатова уже не на шутку разнервничалась. Кивнул ей издали:

– Все в порядке, я сейчас.

Повстречав Римму, он на мгновение остановился, осматривая с ног до головы, и порывисто обнял:

– До чего же я рад, что ты жива-здоровая...

– Не поверишь, я тоже, – откликнулась Римма кокетливо. Обряд Рокотской преобразил ее, но она все равно не могла понять, почему Кирилл смотрит на нее так жадно, радостно, недоверчиво – и с облегчением.

– Готова показать класс?

– Ага!

Корсакова была удивлена такой резкой сменой его поведения, но усмотрела в этом очередное доказательство действующей магии. Кирилл тут же ушел переодеваться, в полутьме коридора нежно стиснув Никину руку. А сама она отправилась с Корсаковой к ее гримировальному столику: у актрисы дрожали руки, и она никак не могла справиться с макияжем. Через полчаса запыхавшаяся Дашка возвестила, что зрители почти собрались. Ника взглянула на плод своих усилий. Эти подведенные глаза с угольными стрелками вдруг напомнили ей о былых временах, когда девчонки, которые вот-вот выпорхнут на бальный паркет, чтобы соревноваться, увлеченно красили друг друга, изнывая от стервозности и нетерпения. И Ника Ирбитова была одной из них.

После первого звонка под нарастающий гул зрительного зала, так долго скучавшего без людей, актеры вместе с Липатовой и Никой собрались в дальней гримерке. Обычно Лариса Юрьевна говорила им свое напутствие, но сейчас она просто недоверчиво переводила взгляд с одного лица на другое, ожидая подвоха. Ей было что терять, и она знала, что уже ничего не сможет изменить – только принять грядущее. Нике было жаль ее.

Актеры переглядывались и перешептывались, кто весело, не чувствуя меняющегося ветра в парусах, кто озадаченно.

Здесь, в этой комнате, сейчас находился человек, в чьей власти раздуть огонь общего вдохновения. Но он сам слишком смущен, слишком растерян, чтобы стать опорой остальным, отмести все сомнения. И Ника вдруг почувствовала, как ее олимпийские крылья шевелятся за спиной, как они растут и разворачиваются, она видела белую тень в зеркале напротив. В чем их смысл, если она не распахнет их и не защитит своего любимого, не защитит их всех, таких разных и таких взволнованных.

– Можно я скажу несколько слов?

Она вышла вперед и сама поразилась. Все эти глаза устремились на нее. Она должна была бы смешаться и поперхнуться собственной речью, но нет, ее голос зазвучал ровно и звонко.

– Однажды после нашего спектакля я разговаривала со зрительницей, которой накануне дала контрамарку. У нее был рак в терминальной стадии, ее звали Лида... И она сказала мне: «Сегодня я получила удовольствие. Мне даже на какое-то время перестало быть больно. Наверное, ради таких вот моментов стоит чуток потерпеть и пожить еще...» А я скажу, что ради таких слов нам всем стоит служить в театре. Мы ведь не работаем,

а служим, это другое. Не просто люди, не просто коллеги. Мы театр, а театр – это волшебство, которое помогает жить. А значит, мы справимся!

И Ника по старой традиции, в которой участвовала впервые, вытянула вперед руку. Ее накрыла ладонь Липатовой, и все последовали ее примеру. Ладони ложились одна на другую, словно пирамида, выстроенная из гимнастов, – дрогнет один, и вся она рассыплется, не устоит. Но совесть Ники была чиста – она сделала все, чтобы пирамида обрела свою крепость. Хотя бы в этот день.

И вот занавес. Разыграна до конца история, которая обречена раз за разом повторяться, – именно так, не отступая ни на слово. Троянская война будет начинаться раз за разом, неумолимо, до той поры, пока актеры будут в силах играть свое представление, пока не разорвут замкнутый круг.

Они вышли на поклон. Измученные, раскаленные, но уже вынутые из огня, как отлитая в форму сталь, с каждым мгновением все более крепкая, менее пластичная, теряющая свой жгучий, изнутри идущий свет жидкого металла. Остывающие. В их глазах, ожесточенно блестящих, слепых от софитов, догорали уголья прожитых мыслей, пропущенных сквозь душу страстей и надежд, которые опять не оправдались. Благодаря Нике Кирилл внезапно поверил в то, что может отворотить неизбежное. И его Гектор стал тем самым, каким и должен быть, – одержимым верой в себя и в то, что сможет избежать рока, нависшего над его городом, его миром. Что сможет противостоять войне, которая уже начинает разворачивать черные крылья.

Теперь Гектор и Елена Троянская, Андромаха и Приам, Кассандра и Гекуба уже уходили. Они последний раз глядели из глазниц тех, кто дал им взаймы свои тела, дрожащие от натяжения мускулы, рожденные для крика легкие и сердца, качающие свежую, но тысячелетнюю кровь. Взамен возвращались актеры. Те смотрели обрадованно, но с растерянностью, словно не вполне осознавая происходящее. Первый поклон – механический, отточенный, не замечающий ни зрителей, ни протянутых букетов, и только в уши сквозь шум крови пробивается далекий гул аплодисментов. И скорее, скорее за кулисы. А оттуда меньше чем за двадцать секунд они выходили – служащими театра «На бульваре». Людьюми. Риммой, Лелей и Даней, Кириллом, Пашей и Милой, Борисом и Светланой, Лизаветой Александровной... Со своими переживаниями, жизнями, мыслями, горестями и радостями. Они узнавали друг друга заново, и театр, и потолок с люстрой, и родственников в первом ряду. Прижимали руки к груди, складывали ладони, улыбались, похлопывали

друг друга, по губам можно было прочесть «спасибо», посланное зрителям. И снова кланялись, Римма присаживалась в легкий, грациозный реверанс, на щеках Милы играли привычные смешливые ямочки. Кирилл передвигался скованно, и Ника знала, что сейчас, в эту минуту, когда молекулы адреналина начинают распадаться, к его узким бедрам подкрадывается боль.

Потом вышла Липатова, сдержанная, но внутри ликующая королева. Ей хлопали и зрители, и актеры – ее актеры. И ее сын, единственный не улыбающийся. Он аплодировал вразнобой со всеми остальными, невпопад, и его крупные ладони греческих дискоболов смыкались с резкими хлопками, будто чередой петард.

Ему было тяжело, почти невыносимо, и тогда он отыскал в полутемном зале тот взгляд, на который мог опереться. Он нашел свою Нику.

## Эпилог

– Что будешь делать теперь? Если все-таки не надумал остаться в этом театре...

– Издеваешься? – Кирилл щелкнул Нику по носу. – Не надумал. Вообще-то еще не решил. Мне надо собраться с мыслями. Все то, о чем я думал...

Он не договорил – и так ясно. Ника прильнула к нему. Идти по бульвару обнявшись было чертовски неудобно, но оба смирились с этим, лишь бы чувствовать тепло друг друга. Рука Кирилла обвила ее талию и покоилась там, волнуя, прожигая сквозь кофту.

– Кажется, я не вернусь на сцену. – Кирилл покачал головой. – Это не мое.

– Да ладно, не твое! У тебя талант. Все это видели, а я тем более.

Кирилл тронул рукой сухую ветку клена и рассеянно собрал с нее горсть прошлогодних семян-крылаток. Подбросил вверх, раскрывая ладонь: вертолетики мелко закружились и разлетелись, подхваченные ветром.

– Актер – не тот, у кого есть талант. У тебя тоже есть грандиозный талант, поверь, я его оценил... Просто актер – это тот, кто не может не быть актером. А я могу. И, кроме этого, умею еще много всего. К тому же актерство – это подвиг. Смотри на Сафину или на Рокотскую. В любом состоянии, через любое «не могу»... И дело ведь не в том, чтобы выйти и сыграть спектакль, а в том, чтобы выходить на сцену каждый вечер, перевоплощаться, страдать – и возвращаться в свою жизнь, пытаюсь провести грань между вымыслом и реальностью, которая с каждым годом все тоньше. Ведь театр – только подражание жизни, по крайней мере должен быть подражанием. Но для некоторых он становится действительностью. Реальностью. В угоду ему совершают поступки, и за некоторые приходится потом слишком дорого платить. Такое не для меня. Хочу жить по-настоящему.

Те тридцать спектаклей, что в итоге решил сыграть Кирилл – по числу лет, прожитых без матери, – подходили к концу. Но Ника уже не боялась, что Кирилл куда-нибудь исчезнет. Ведь именно она натирала мазью его больные суставы после каждого выступления. И на полочке в ванной соседствовали две зубные щетки, ее зеленая и его синяя.

Кирилл так и не признался Липатовой. Однако после того, как на один

из спектаклей Кирилл выкупил целый ряд и привез ребят из своего родного детдома, она стала подозревать. Ника замечала временами, с каким испугом и мучением худрук смотрит на своего лучшего актера, как вглядывается, вслушивается, ищет доказательства, намеки, подтверждения... Спросить у Кирилла напрямую Лариса Юрьевна так и не решилась. И когда Кирилл объявил, что покидает труппу, даже не попыталась уговорить его остаться. И все-таки, ловя эти беспокойные взгляды, Ника была уверена: Липатова никогда больше не сможет отделаться от жгущего ее изнутри вопроса: он или не он? Сколько бы спектаклей ни было сыграно после ухода Кирилла из ее театра, Липатова всегда будет сожалеть, что его нет рядом, видеть в других актерах его жесты, слышать его текст из других уст – и снова холодеть: он это был или все-таки не он? Сын или нет... Потому что она не осмелилась спросить. Ника не представляла, что может быть хуже такого вот неведения, таких сомнений, но Ларису Юрьевну ей было не жалко.

Старший сын Рокотской почти насильно положил мать на обследование в кардиологический центр. Правда, Лизавета Александровна сбежала оттуда через два дня и как ни в чем не бывало продолжила играть на сцене. Про их с Никой маленькую мистификацию для Корсаковой она никому не проболталась, хотя неумные восторги молодой актрисы ей чуточку докучали.

Леля и Даня тихо расписались вскоре после премьеры, не предупредив об этом никого. Поговаривали, что даже для Даниной мамы женитьба сына оказалась сюрпризом, и не сказать, что особенно приятным.

Дашка все-таки отказалась брать зарплату в конверте, о чем и сообщила Светлане, не слишком выбирая выражения, как и обычно. Дошло до довольно серьезной ссоры, но уже на следующий день они появились на пороге вместе. Впрочем, обе продолжили верить, что теперь, когда дела театра пошли в гору, скоро все же возникнет вакансия гардеробщицы. Ника не стала пока обнадеживать их, что, возможно, и должность кассира вскоре освободится. Она еще ничего не решила, хотя Кирилл и советовал ей вернуться к тому занятию, для которого она была рождена, – танцевать.

Паша Кифаренко обнаружил, что его Мила втайне от него завела роман с одним из поклонников. Когда Ника прознала об этом, она долго веселилась: вряд ли здесь обойдется одним слабительным, Паше пора пускаться в ход тяжелую артиллерию...

У служебного выхода Бориса Стародумова теперь поджидали поклонницы, их после успеха «Троянской войны» стало намного больше.

Иногда Нике казалось, что там маячит и Катенька. Но сейчас Стародумову было из кого выбирать.

А у Риммы Корсаковой близились съемочные дни, так что Липатовой пришлось-таки постепенно вводить на роль Елены Троянской молоденькую Танечку, недавнюю выпускницу театрального.

– Теперь-то ты можешь мне сказать, что собирался сделать во время премьеры? – не сдавалась Ника. – Как собирался довести Римму до ручки?

– А ты кровожадная, – Кирилл поиграл бровями.

– Да, когда это никому ничем не угрожает. Скажем, я просто люблю детективы и мне не нравится, если я чего-то не знаю!

– Ладно, так уж и быть. Хотя теперь мне стыдно. Это был какой-то морок, бред.

– Не меняй тему! – предостерегла его Ника и смешно наморщила носик. Теперь она могла позволить себе быть и легкомысленной, и счастливой. И даже любимой.

– Помнишь момент, где в первом акте Елена Троянская достает из кармана леденец и начинает его облизывать? Я хотел положить ей в карман пионерский значок. Он хорошо себя показал на генеральной, там, рядом со съеденным платьем. Римма должна была вытащить его, рассмотреть, осознать... А в этот момент моя соседка Нина в костюме пионерки появилась бы в боковой нише за кулисой напротив. В той мизансцене Римме как раз было бы отлично видно эту нишу и пионерку.

– Ее бы точно хватил кондратий, прямо на сцене, перед зрителями... – вздохнула Ника.

– Какое все-таки счастье, что с ней все в порядке и твой актерский этюд оказался лишь этюдом, – пробормотал Кирилл в который раз. Его бархатистый голос ласкал ее слух, и по спине снова бежали сладкие мурашки. – Ты самая удивительная девушка на земле. Ты спасла меня. Твоя вера победила. И не удивлюсь, если на самом деле ты и есть Победа, греческая Ника, та самая, с Олимпа, а тут просто... подрабатываешь.

И он склонился к Нике и принялся целовать. А она отвечала, самозабвенно, пока губы не стало саднить от его отросшей щетины. В эту минуту Ника никого и ничего не боялась. Она действительно чувствовала себя победительницей. Свободной. Крылья за ее спиной шевелились, наливались неведомой силой, обрастали белыми упругими перьями и трепетным пухом поверх розовой кожицы. По первому желанию они были готовы распахнуться, поймать восходящий поток и вознести их двоих в пламенеющее небо, навстречу новому дню.

*Москва*

---

**notes**

# **СНОСКИ**

**1**

Никола Тесла (1856–1943) – изобретатель в области электротехники и радиотехники, физик.

К. С. Станиславский (1863–1938), В. И. Немирович-Данченко (1858–1943), А. Я. Таиров (1885–1950), А. В. Эфрос (1925–1987) – выдающиеся русские театральные режиссеры.

М. Чехов (1891–1955) – русско-американский театральный актер и преподаватель, создатель авторской системы актерского мастерства.

М. Метерлинк (1862–1949), А. Стриндберг (1849–1912),  
Ф. Дюрренматт (1921–1990) – европейские драматурги.

И. Макьюэн (р. 1948) – британский писатель-прозаик.

Отрывок из стихотворения Степана Щипачева «Пионерский галстук».

L'ingénu dramatique (фр.) – инженерно-драматик, актерское амплуа невинной, наивной и одухотворенной девушки в жанре драмы. Также существуют, соответственно по жанрам, инженерно-комик, инженерно-лирик и пр.

Отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник».

Пентеконтор – пятидесятивесельное судно в античной Греции.

# 10

Импетус (от англ. «толчок») – фигура в бальных танцах, быстрый поворот.

**11**

Фурка – приспособление в виде платформы на колесиках.

Слова Нины Заречной Тригорину из пьесы А. П. Чехова «Чайка».

Калиптра – древнегреческий женский головной убор.